СИБИРЬ

3
90

Н. А. Соколов.
Убийство царской семьи

Ростислав Филиппов.
На перепутье

Вячеслав Морозов.
Поэты есенинского круга

90

СИБИРЬ

3'90

Литературно-художественный и общественно-политический двухмесячник

Орган Иркутской и Читинской писательских организаций РСФСР

Основан в 1930 году

— С0061 —

СОДЕРЖАНИЕ

Иркутская областная библиотека
Отдел технической литературы

Иркутск Восточно-Сибирское книжное издательство

Редколлегия:

В. В. КОЗЛОВ (гл. редактор),
А. Г. БАЙБОРОДИН,
Ю. И. БУРЫКИН,
М. Е. ВИШНЯКОВ,
С. Б. КИТАЙСКИЙ,
Е. Е. КУРЕННОЙ,
Б. Ф. ЛАПИН,
В. В. СИДОРЕНКО,
Е. А. СУВОРОВ,
Н. С. ТЕНДИТНИК,
Р. В. ФИЛИППОВ

ISSN 0132-6740

© Восточно-Сибирское
книжное издательство, 1990



Ростислав Филиппов

НА ПЕРЕПУТЬЕ*

Когда я смотрю на вас, пришедших сегодня, в свой воскресный день, сюда, я размышляю, внешняя или внутренняя причина привела вас и меня в это собрание.

Что же заставило или повлекло собраться в одном месте и в одно время нас, таких разных по воззрениям на мир, — христиан, коммунистов, беспартийных?

Только ли тому внешние причины — любопытство, желание развлечься или отвлечься от бытовых забот? Или так называемое стремление к знанию тех предметов, которые обозначены в скромном перечне нашего лектория? Конечно, знание — вещь полезная, но уж стало нам давно ясно, что во многой мудрости — много печали, и кто умножает познания — умножает скорбь. И что не все полезное — обязательно духовно.

Нет, иные, внутренние побуждения зовут и влекут нас к общению. Высказываясь здесь об истории Отечества, его духовных основах и целях, мы будем откровенно, значит, порой и мучительно отвечать на главный вопрос нашей национальной жизни: что случилось с Отечеством? Есть ли за ним будущее? И чем сейчас живо сердце народа?

Послушаем для начала двух великих пророков, которым выпало величайшее в судьбе потрясение — слышать слово Бога, обращенное прямо к ним. Вот свидетельство Исайи:

«Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя каждый закрывал лице свое и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И сказал я: «Горе мне! Погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен.

И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите — и не уразумеете, и очами смотреть будете — и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи сомкнули, и не обратяться, чтобы я исцелил их».

Так ветхозаветный интеллигент Исайя понял свое назначение оправдывать свои нечистые уста тем, что он живет среди народа с нечистыми устами, и попрекать народ тем, что огрубело сердце его и, стало быть, сам народ и виноват в своих бедах.

---

* Это выступление было прочитано автором на открытии Иркутского городского добровольного общества возрождения духовности и русской культуры 28 августа 1989 года.

Но другой пророк понял глас божий совсем по-иному. Томимый духовной жаждой, он тоже встретил на перепутье шестикрылого серафима. Далее Александр Пушкин свидетельствует, что серафим перстами легкими, как сон, коснулся его зениц, затем вырвал грешный его язык, и празднословный и лукавый, и — венец этого ужасного, но прекрасного действа: он сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвигнул. И вот, как чудо, — откровение:

И внял я неба содроганье,
и горний ангелов полет,
и гад морских подводный ход,
и дольней лозы прозябанье.
Как труп, в пустыне я лежал.
И Бога глас ко мне воззвал:
Восстань, пророк!

Да, теперь, отныне он пророк, ибо духовно открылась ему вселенная от космических высот до океанских недр, он теперь видит, как орлица, и в устах его — жало мудрыя змеи.

Восстань, пророк! И вижль, и внемли,
Исполнись волею моей.
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!

Не попрекать людей за их убогую жизнь, не обвинять их во всех грехах, настоящих или надуманных, а именно жечь, воспламенять сердца людей на подвижничество до тех духовных высот, которые открыл пророку с русской душой тот, кто выслал ему навстречу, на перепутье шестикрылого серафима. И эта идея доверия отклику людей, народа на предложение добра и света оплодотворила русскую литературу и искусство, русскую общественную мысль.

Поэтому — да! Россия, русский народ выстрадал революцию, но, выстрадав ее, он захотел остаться самим собой, что означало — сохранить на пути в будущее свою историю, свои традиции размежевания добра и зла, свой национальный хозяйственный опыт, свои устои общежития с другими народами, ближними и дальними.

Это желание нашего народа быть самим собой в любых испытаниях новоявленные вожди приняли за отказ от уготованного ему счастья, и они по-ветхозаветному обвинили его в том, что сердце его огрубело, и оскорбились за себя, что живут среди народа с нечистыми устами. Такой народ не годится для счастливого удела, такой народ должен исчезнуть с лица земли и забыть о себе. Для счастливого удела нужно вырастить и воспитать другой народ, не помнящий родства.

Не мы ли и есть этот другой народ?

Когда-нибудь мы поименно назовем всех своих подвижников, которые с помощью вещей жизненной силы вывели нас из подполья духа на свет. Долго мы бродили по свету с прищуренными глазами, мало видя и на многое не обращая внимания, пока, наконец, глаза не привыкли к свету и не открылись широко. И нет уже нам душевного покоя, ибо увидели мы на русской земле неустройство — и в домах, и в государстве, и в природе. И не только поэтому, а и потому, что даже саму душу свою мы ощущаем неустроенно, словно бы раздвоенно. Видно, не хватило у времени живой воды для оживления всей души, только наполовину ее и досталось, а другая половина до сих пор нема, окропленная когда-то мертвой водой. На огромном пространстве русской истории мы видим сильных и славных людей — строителей народа, его учителей, защитников, мудрецов, из сохранившихся храмов мы слышим удивительные песнопения, в храмах же и домах мы рассматриваем странные изображения — эти знаки давней духовной жизни, и живая часть души рвется к этим людям, песнопениям, изображениям, стараясь понять и принять их в свой бедноватый пока еще мир, и тут же мертвая ее часть исподволь, но привычно остужает этот порыв — чем поможет прошлое настоящему по-житейски, ведь и люди, и песни сейчас другие, жизнь трудна, надо приспособиться к ней, не теряя времени на странную нашу давность.

И разве мы не замечаем одновременный напор многих и многих — имя им легион! — публицистов, которые, обмакивая свои перья в склянки с мертвой водой, брызжут ею со страниц газет и журналов, убеждая, что наши предки — подражатели, что наша история — это рабство и кровь, что люди мы

иные, другие по духу и целям, что общего у нас слишком мало, чтобы брать его во внимание.

Вот и собрались мы здесь и будем собираться еще потому, что хотим делиться друг с другом живыми порывами своих душ, тем самым сужая, уменьшая их омертвелость. Ибо мы не хотим быть другим русским народом! Мы хотим быть и мы будем тем же самым тысячелетним русским народом, сыном многотысячелетнего славянства, плотью от плоти и кровью от крови его. Мы хотим и мы готовы радоваться и страдать со своим народом во все его века, в том числе и в нашем, двадцатом веке, многократно более жестоком, чем тот, в котором пророк Александр Пушкин услышал глас Бога.

Сейчас, во времена перестройки, некоторые наши вожди снова говорят о революции, снова зовут и толкают нас на революционные подвижки. И пока народ размышляет, что ж ему самому необходимо для будущего, уже все громче звучат суждения устроителей нашего экономического и социального счастья: нет, с этим народом не стронешься вперед, что называется с места в карьер, он инертен, он заражен хворью застоя и сталинизма, а потому обречен быть вышвырнутым за ворота заводов и за околицы деревень. Наши ветхозаветные устроители уже кличут новых работников, которые воспитывают новых людей, согласных на общество богатых и бедных.

Мы будем собираться вместе еще и потому, чтобы напомнить себе и другим, что нам уже известны на Руси подобные новые люди, во множестве объявившиеся на клики устроителей всеобщего счастья, что никогда до скончания лет не забудется, к каким страшным, к каким кровавым потрясениям привели они наш народ, что мы поняли, наконец, что только Россия, русский народ мог вынести, не исчезнув с земли, громадные разрушительные последствия этой революции, сохранив ее идеалы, что новая революция, о которой мечтают «новые люди», будет, без сомнения, вконец губительна для израненного народного тела, которое сейчас подает лишь слабые, но обнадеживающие признаки долгожданного выздоровления.

Не могу не сказать здесь о двух случаях, о которых узнал недавно.

К моему товарищу, объявившему как можно шире через знакомых, что создает музей фотографии, пришел мужчина лет пятидесяти и сказал:

— Ты, я слышал, собираешь старинные альбомы фотографий, ну вот у меня есть подходящий, поехали.

И действительно в доме визитера этого мой товарищ увидел альбом старой, доброй, начала века выделки, украшенный металлическими виньетками. Но самым поразительным и редким было содержание альбома: надпись на оборотной стороне крышки альбома: «Сыночки, оставляю вам на память всю нашу родову», и далее несколько десятков фотографий, на специальных картонках с золотым тиснением и с торговыми марками старых иркутских фотосалонов, причем каждая подписана: это ваш прадедушка, это прабабки по матери, это ваши бабки, это дядьки и так далее. Словом, не альбом, а уникальное, редчайшее повествование о родовом русском сибирском гнезде в зримых образах!

— Неужели вы это продаете? — более чем удивился мой товарищ. — Ведь здесь же все ваши предки!

— Заладил — предки! — рассердился хозяин альбома. — Покупаешь, так покупай. А мы решили продать, так и продадим.

— И за сколько ж решился продать? — спросил мой товарищ.

«Я с трудом удержался, чтобы не добавить — Иуда», — признался он.

И тут из соседней комнаты появились еще двое, как оказалось, братья хозяина, только помоложе, с опухшими от пьянства лицами. Строго глядя на старшого, чтоб не продешевил, один из них проговорил:

— Меньше чем за четвертной не отдавай!

Мой товарищ отдал и эти деньги, и все, что у него были с собой. И сказал им так:

— Я беру у вас этот альбом, потому что вы все равно его пропьете, а так он будет в надежных руках. Но запомните — обещаю, что если хотя бы у одного из вас когда-нибудь защемит сердце или хотя бы одного из вас начнет мучить совесть — приходите, вот

мой адрес рабочий, вот домашний — отдам альбом тут же, и никаких денег назад не затребую.

И, рассказав мне эту историю, мой товарищ сообщил печально:

— Прошло с тех пор вот уж пять лет, но никто из братьев не приходил!

Такова история о том, как люди, русские тоже люди, не просто забывают о своем прошлом, но даже торгуют им. Вы скажете — редкий это случай, очень уже оскорбительный для национального чувства, но даже допустим, что не слишком редкий, но характерный все-таки для тех, кто там, внизу общества, где темнота или приблизительная образованность. А среди нас-то, интеллигентов российских, разве возможно подобное?

Я и сам так думал, пока не грянула история с журналом «Октябрь», редактора-интеллигенты которого сначала отдали на поругание и оплевывание Александра Пушкина — величайшее духовное явление русского народа, а затем и сам русский народ оболгали как народ-раб, а Россию — как тысячелетнюю рабу, не способную идти по своему историческому пути. И вот когда эта духовная диверсия не прошла — наступило, наконец-то, время! — когда интеллигенты-патриоты заступились за честь своего Отечества и его пророков, помощь поносителям пришла с самой для меня лично неожиданной стороны. Группа литераторов — народных депутатов страны, во главе с академиком, который сейчас рекламируется как первый ее интеллигент, — заявила в открытом письме, что поношение России и ее гениев — есть демократия и плюрализм, и призвала журнал поднять на корабле пиратский флаг, выйти из подчинения правлению Союза российских литераторов и тогда совсем уж свободно, демократично и в духе перестройки рыскать по литературным волнам, без опасения планируя, где и как расстреливать грязью из пиратских пушек русские национальные святыни.

Мы, конечно, знали и читывали, что интеллигенты случаются и среди литературных пиратов, но, кажется, впервые на Руси нас призывают считать пиратов интеллигентами.

Но не русская интеллигенция, а именно та самая образованщина, которую в наши дни вывел на суд народной совести другой русский пророк Александр — Александр Солженицын, — явила нам в этой истории свой пошлый лик.

И вот очень хочется надеяться, что наши собрания и подобные им в нашем ли городе, в другом поспособствуют хоть малой толикой тому, чтобы блудные братья народной памяти, пусть незначительным числом, а задумались на дороге в никуда о родительских домах, чтобы крикливая каста образованцев и близко не смогла подойти к храмам русского духа.

И в заключение вспомним слова еще одного русского Александра — Александра Невского и повторим за ним, обращаясь ко всем хулителям России, ко всем ее недругам:

Идите и скажите в чужих краях, что Русь жива!

Люди разных воззрений на мир, мы собрались здесь и будем собираться впредь, чтобы понять и поддержать цели и идеалы своего Отечества на его пути в будущее.



Анатолий Парпара

РОССИЯ. 1619 ГОД

А смута не завершена.
И голодом сыта столица.
Духовный пастырь* твой, страна,
Среди схизматиков томится.

На Иоанновом столе
Пять лет мальчишка восседает.
Не ведает пути во мгле
И жизни в мудрости не знает.

Зато вельмож согласный хор.
Тая в душе свои прожекты,
Здоровой мысли вперекор
Навязывают план эффектный.

Народ на гибель обрекая,
Сулят в бессмертие пути.
Ну, а народу не до рая —
В преддверье ада б не войти.

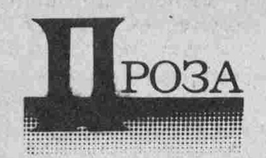
А на дорогах тать лихой,
Или шиши, или казаки...
И кто их знает — слухи ль, враки,
Что Дмитрий все-таки живой.

И на продажу иль внаем
Иноплеменных рать скупая,
Что было создано трудом
Умелых предков,
Все скупает.

И затуманенный зенит,
И воздух над Россией волглый...
И, боже мой, какой же долгий
Путь к славе русской предстоит!

---

* Имеется в виду патриарх Филарет, отец юного Михаила Романова.



Алексей Зверев



ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ

РАССКАЗ

— Погоди-ка, не перебивай,— сказал мне мой гость алтайский Агашкин Кузьма Федорович, третий муж Анны после Васьки-фронтовика, умершего от раны в шею, после Ваньки-пьяницы, попавшего под машину. Этот, третий, мутноглазый, густоморщинистый, лениворотый, и неулыбчивый мужик полюбился мне неутомимостью рассказчика, алтайской живостью речи и какой-то вольной откровенностью.

— Погоди-ка, не перебивай,— повторил он мне, требующему уточнений.— Я по порядку расскажу обо всем, где родился, где крестился. А родом я с Чарыша, слыхал про такую реку? Чарыш! Чарыш! Я ведь из Бийска в Семьтелег в октябре босиком раз прибежал. Деревня наша Семьтелег неспроста так названа. С Волги когда-то сюда приехали семь мужиков на семи телегах. Я в Семьтелеге двадцать годков прожил. Пчеловодил, а меж делом бегал с ружьишком. Зверя было в ранешнее время хоть отбавляй. Коза, марал, медведь, кабарга.

— Волк,— добавляю я, желая смутить рассказчика.

— И волк, хотя скажешь, какой волк в тайге? Был и волк, и хочешь, я и о волке тебе случай расскажу. А вот пока марал. Какой дивный зверь и как он умирает! Пуля в сердце, а он бережет свои рога золотые. Клонит, все клонит так вот свою голову к земле. Смерть рядом, а он боится рог своих изувечить, уж я-то знаю: царапнешь — из ранки кровь брызнет, столь нежны они. И клонит, тихо клонит тяжелую голову, стоя на коленях. Падает на бок, а рога все держит, ну как спать ложится. Потом уж тяжко уронит их, значит, смерть пришла.

Медведя бил много, на пару с Сережкой, помощником по пасеке. Раз пошли с ним побелковать с тозовками. Видим — семья, мать с двумя медвежатами и с «няней»— так прошлогодний медвежонок называется. Няни эти злее матери стерегут малых. Медведи выше нас метров на двести, а круть страшенная. «Давай пугнем!» Вот и пугнул Сережка, взял слегка и задел хребтину матери. Она сразу этак осела на задние лапы и давай кувыркаться к нам, за ней вся семья. За камень мать зацепилась. К ней лезут малыши, нянька крутится. Медведица давай поддевать их, одного лапой поддела, другого. Так вот размахнется, подденет, и тот летит в сторону. Няню так же от себя отшвырнула — бегите, мол, спасайтесь, а самой плохо. Осталась одна тяжкая, головой вот так водит, зад поднять не может, должно, нас видит, а поделать ничего не может. А у нас тозовки, ну как разозлим.

Удрали мы без оглядки. Назавтра пришли — нет медведицы, убрела-таки, накопила силы, растить ведь надо их, малых.

Вот так и жил двадцать лет на пасеке, среди радостей и опасностей и не думал особо ни о чем. Ну, знаю, живут люди лучше, богаче, кино там и телевизоры, да, думаю, такого они не увидят. Ты, поди, ждешь главного рассказа об этом самом, о корне-то. Он мне всю внутренность перевернул, голову замутил

и дурнее, что ли, меня сделал. К тому времени у меня было два сына и дочка. Голодно не жили, и оно бы и ладно. Главное, хлеб и одежка есть. Мед с медом пили.

Раз я шишковал в одном добром уголке, у ручья сидит алтайка и моет какие-то белые коренья. Укрыла их тут же холстинкой от меня.

— Картошку, чо ли, моешь? — прикинувшись, спросил я.

— Хахая картошка? — засмеялась она, но показать отказалась, еще лучше прикрыла корни. Картошкой-то я назвал, чтобы незнайкой показаться. Знал я, слышал, что он золотым называется и польза от него великая, но ведь как до поры с нами бывает — по добру ходишь, а добра не видишь. Этот раз я ружье на плечо и домой, а утречком опять туда. Алтайцы ушли, а след оставили — обрезки разные, цветочки розовые. А по остаточкам этим я поищу корешок. И знаете ли, целые заросли их по речке да ближним косогорам. Этакие белые, то вроде с ручками, то с ножками, иные схлестнулись и промеж себя перевились, иные старые с гнилыми сердечками. Накопал я их целый мешок, а как употребить — сам не знаю. По осени ученая-то как раз и приехала. Не первый она раз ко мне, все за медом охотилась, шибко мед ей мой нравился.

— А корнем не поинтересуетесь? — вспомнил я о своем мешке.

— Какой же такой корень, Кузьма Федорович? — она меня по отечеству знала.

— Золотой,— говорю.

— Вот как! Показывай, какой он есть. Может, по ошибке какой другой собрал.

— Вот уж, говорю, не знаю, ошибка или не ошибка. Доставать только далеко, под картошкой в подполье.

Заставила меня ученая всю картошку переворочать, и вот он, мешок, подопрел, правда, расползается.

— Похож, похож,— говорит она, а сама так и ширит глаза, так и обшаривает, оглаживает корешки, обмыла водицей парочку и на стол положила.

— Он! Ну, говорит, Кузьма Федорович,— торговаться будем. Куда тебе их? Изгниют, а я для науки употреблю. Сколько запросишь?

— Сколько дадите, говорю.

А сам прикинул: мешок картошки — двадцатка. Ляпну, думаю, не обзовет же меня скрягой, все ж таки для науки.

— Пятьдесят, говорю, рублей не жалко?

Она было покраснела, уперлась в меня взглядом и осудительно покачала головой. Думаю, мне краснеть, что ли?

— Я тебе больше заплачу, дорогой Кузьма Федорович. Помой-ка их да в хороший мешок сложи, да отвези-ка меня на автостанцию.

И выняет она патьсот рубликов, я ахнул аж.

— Остальные, говорит, патьсот я по почте пришлю. Только ты не посекретничай — где тебе довелось корешки эти накопать?

Так меня смутили эти деньги, так у меня голова вскружилась и вроде язык отнялся, но соображение сберег и говорю:

— Да этих корней по всему Алтаю хоть лопатой греби.

— Ну-ну, так ли уж, так ли? — сказала ученая Агафья Сидоровна, сама сумочку подхватила и в магазин. Вернулась веселая, примеряет моим сынам и дочке подарки — штанишки, рубашки, ботиночки.

— Спасибо, говорит, Кузьма Федорович, что подарок дорогой науке сделал. Мы людей этим корнем лечить будем. Дорогу бы только к тем корням показал.

И уехала. Покинула меня в смущении. Тысяча рублей! Это при моей-то крохотной зарплате? И детишек обулаодела, как раз к школе. Так бы мне без этого мешка, без ученой и жить — вековечить на пчельнике, оставаться человеком и не видеть этого проваленного тысячеверстного мира. С той поры и стала вползать в башку мою надоедная мыслишка: эко человек прирос к горам, эко мало тебе надо. Под ногами богатство, а ты ходишь по нему, трясешь своими затасканными штанами.

И вот, как в город, так в киосках и книжных магазинах ищу слово об этом корне. Раз наткнулся на «Лекарственные растения»— толстая книжка такая. Я ее всю истер, измозолил. По всем травам, что растут вокруг меня, понятие заимел, а об корне этом, об родиоле розовой, все слово в слово заучил, как песню. И вот мутится и мутится мой разум. Тысяча-то рублей так перед глазами и

стоит, а тут иду раз по нашему алтайскому малому городу и по привычке в книжный киоск заглянул — там тонюсенькая книжечка с розовым цветком на обложке. Пятак цена книжке, я хвать всю стопку, киоскерша аж глаза выпучила —«куда тебе столь?»

— Задумка, говорю, такая живет в башке. Книжки эти во как нужны!

Такая прыть ко мне пришла. Первая в жизни прыть, первая светлость ума, будь она неладная, я такого не чуял в себе никогда.

Как ученый какой задумкой козырнул и на пять-то рублей сколько я книжек купил? Дома Манька меня высмеяла и повелела обратно их сдать, а у меня в глазах заглавьице и цветок розовый так вот и стоят. Да. И ведь учиться был бестолков и ленив к тому же. Всего-то я знал наизусть эту самую «Деревню, вот мой дом родной», а тут в кою пору всю книжицу, как стишок заучил. К чему бы, думаю, толком не возьму — какая сила, какая прыть толкает меня на эту заучку? Когда нет в избе Маньки, позу важную приму, так вот ногу важно отставлю и этак баском:

— В составе корней и корневищ родиолы розовой содержится шестнадцать процентов дубильных веществ, флавоноид, кемпферол, эфирное масло и кислоты: галловая, янтарная...

Ничего же ведь не смыслю, а какой-то тайный замысел движет всей моей натурой. Двигал, двигал да и придвинул к самому делу. Взял я мешок и пошел к тому ручью, где алтайку видел. И за день набил мешок кореньев. Добрые такие, белые, тугие, любо поглядеть. Ну, говорю, хозяйка, собирай меня в отпуск, я этот раз его по-новому проведу. А мне ведь было сорок, можно было похохотать, плюнуть и остановиться. А я уж в Бийске, я уж в Новосибирске, а вот уж и в Киеве — тут остановился, а пошто, и сам не знаю — одно чую, прыть заселилась в меня. Сперва Крещатиком подивовался и решил приступать. В камере вокзальной мешок тот определил, рюкзачок лишь поднагрузил и на рынок. Был я тихий, мирный мужик таежный — откуда лезло, откуда бралось — местов нет, отпихнул лук бабенки, локти расставил, ей же и шепнул: золотым, мол, корнем торгую. У бабы и глаза на лоб полезли. Никакого понятия у ней не было о нашем корне — слово «золото» ее встревожило. Она сгребла свой лучишко и оставила меня на просторе. Я книжки пятикопеечные стопкой сложил, корешок бравый вынул и первому солидному толстобрюху важно и уважительно сказал:

— Алтайская родиола розовая, или по-нашему золотой корень. Вот книжка, есть время, почитайте.

Всю дорогу, пока ехал до Киева, приноравливался, какое такое первое слово сказать — ничего не приходило, кроме как вот это «есть время, почитайте». Потом-то я наловчился, потом-то я — ух! У дядьки время нашлось, к прилавку привалился, с другой стороны я к нему в наклоне и как песню ему:

— Знаменитая родиола розовая растет в трещинах скал, на каменистых и щебнистых склонах, по берегам речек и ручейков во многих местах горного Алтая.

Я опережал. Дядька следил по книжке, поглядывал на меня, шевеля бровками, и удивлялся: я слово в слово, да на своем сибирском, на своем алтайском наречье.

— Н-да,— сказал он,— не тому, что вы заучили, а тому, что речь-то челдонья — вот этому верю, и давай-ка мне парочку корешков на пробу.

У меня с собой весики малые, аптечные, Манька ране в аптеке уборщицей работала. И гирьки в кармане малюсенькие. Я взвешиваю и приговариваю:

— Двадцать грамм свежих корней залить ста граммами водки, настаивать семь-восемь ден. От двадцати до тридцати капель на прием. Сто грамм — шесть рублев.

Ох, речь-то моя, как ни заучивай, такой была и осталась такой, как ты слышишь, корявой да нескладной.

— Шесть рублей? Не много ли? — удивляется мой первый покупатель. Я ровно не слышу его.

— Разрешен к медицинскому употреблению в качестве стимулярующего и адаптогенного средства типа женьшеня.

Я запнулся на слове «адаптогенного»: раза три начинал и пробормотал его совсем кривым, но мой покупатель и не почуял оплошки.

— Женьшеня? Вы сказали типа женьшеня?

Я ткнул пальцем на подчеркнутое слово в книжке.

— «Типа женьшеня»,— пробормотал он.— До двадцати капель?

— Да вот и книжку возьмите — тут все сказано.

Пока я клал в карман первую выручку, ко мне сбежалась очередь. Люди перешептывались и переглядывались, повторяли — женьшень, женьшень. Бабка, что убежала от меня с луком, оказалась первой, взяла полкило, подумала и потребовала еще столько же. На нее зашикали, загудели, гвалт поднялся. Я испугался, огляделся, нет ли поблизости милиционера, и сунул им книжку.

— Вы тут, говорю, поглядите, поизучайте да больше в очередь никого не пущайте. Я в базарком. За место заплатить. Я скорехонько.

Тряскими руками собрал товар, книжки сунул в рюкзак и затерся в народе, а там и на трамвай. Еду и думаю в радости и волнении: Киева мне хватит. Киев мне крестным отцом стал. Куды бы махнуть, в какую украинскую провинцию? Где потише бы, побезопаснее. Хоть и торгую не мылом — натуральным дорогим корнем.

В Полтаве базар, да не тот, мест свободных вдоволь. Я быстро разложился и уже продал с килограмм, и вот он, милиционер:

— Торгуем помалу, говорю.

— Торгуем?

— Что это такое, не редька, не морковь?

— Это золотой корень,— говорю и сую ему книжицу,— лекарственный корень. Можно применять в виде жидкого экстракта в весовом отношении один к одному на сорокаградусном спирте. По пять, десять капель.

— Золотой, значит, говоришь?

— Розовая родиола по-научному. Сестра женьшеню,

— Давай-ка забирай свою сестру, пойдем.

За углом милиционер придвинулся к самым глазам моим, спросил шепотом:

— Родня, значит, женьшеню?

— Да вот написано,— выхватил я книжку из кармана.

Милиционер поводил носом по книжке.

— Тут «собрат» написано. Да ладно, не одно ли то же. Ты мне дай грамм двести и валяй — торгуй.

Дал ему добрый корешок, и мы разошлись. Ну, думаю, торгуй, Кузя, тебя сёдне никто не пошевелит. Опять разложился, и пошло, и пошло у меня. Кричат: по сту грамм на руки! Не боле! Да хватит ли книжек?

— Книжек, говорю, не хватит. Но я-то сам больше книжки знаю. Курс лечения пятнадцать-двадцать дён. В психиатрии дозы поболе, капель до сорока Есть из корня этого лекарство родозин, да где вы его купите?

А в сторонке, замечаю, стоит пожилой человек в добром костюме, смотрит на меня и улыбается, рот закрывает, прячет улыбку. Зашел на мою продавцовую сторону и дернул за рукав.

— Заканчивай.

И вот снова я шагаю за гражданином. Походка тяжелая, стариковская, ноги калачиком, и вовсе не глядит на меня, иду ли я, нет ли меня. Я даже подумал — не сигануть ли в какие ворота, удержался — и вот мы в кабинете с портретом Ленина. Человек бумаги мои посмотрел, спросил о Чарыше, река ему эта знакома, тайменей когда-то в ней ловил. Семьтелег мой знает.

— Ну, ты, брат, как профессор. Говорите складно, торговать умеете. А чем, говорит, докажете, что это золотой корень. Кто у нас тут видел его?

И за телефон. Дарью Егоровну какую-то приглашает.

— Тут у нас профессор появился. Золотым корнем торгует. Поглядели бы, а. Ну спасибо, спасибо!

Профессорша, крепенька старушка, корень мой увидела и воссияла вся, на руке своей сухонькой повзвешивала его, погладила, понюхала.

— Золотой, говорит, самый настоящий. Экий свеженький, ведь не мала дорога.

— Умею, говорю, хранить,— и давай расписывать, как выкапываю, как обихаживаю, как обрезаю застарелые места, чо из книги, чо из опыта своего и тут и выпалил для важности:

— А не знаете вы, Дарья Егоровна, нашу сибирскую ученую Агафью Сидоровну?

— Да как же, говорит, не знать мне Агафью Сидоровну,— и воззрилась на

меня.— Вы-то отколь ее знаете, знаменитого сибирского растениевода?

— Я, говорю, сохатинкой ее угощал. Мед мой славный она покупала каждый год. Да и корешка ей подбрасывал.

Вижу, начальник мой затылок чешет.

— Что же мы будем делать с ним, Дарья Егоровна? Дадим, что ли, ему поторговать? Ну, раз только, больше не позволим. Разохотишь, еще приедешь, беды на себя накличешь. Ты, поди, уж буржуем стал?

— Да рублей сто у вас наторговал, говорю.

— Торгуй, да только не на центральном рынке. И без этих самых лекций. Вот профессор! Гляньте-ка, Дарья Егоровна, не сам ли он эту книжку склеил.

Книжечку пятикопеечную ученая полистала.

— Подарите, говорит, мне эту брошюрочку. Я такую,— говорит,— не имею.

— И книжку, говорю, подарю и корешков вам дам бесплатно.

Парочку корешков добреньких сама отобрала, взвесить попросила и деньги подает мне.

— Не возьму и не возьму! Как я буду глядеть в глаза Агафье Сидоровне?

— И я без денег не возьму. А как я буду глядеть в глаза ей, если свидимся где-нибудь?— и деньги мне в грудной карман сунула.

— Дай-ка мне два корешка, да взвесь-ка их,— сказал майор.

— С вас ни копейки, только отпустите за ради бога, говорю, день на исходе, а я с ночлегом не устроился.

Старичок будто не слышит, деньги сунул в руки, а сам за телефон:

— Макар Иваныч! Загляни ко мне.

Вошел жирненький, кругленький капитан с лысиной во всю голову. Гладит лысину, уперся бойкими глазками в старика.

— Я слушаю вас, товарищ майор.

— Корешка тебе золотого не надо, собрата женьшеня?

— Ого. Золотой! Слышать слышал, видеть не видывал.

Этот тоже купил. Спрашивал словом, глазами и всей верткой натурой, что делать с корешком. Ученая только рот разинула, хотела, видно, рецептик подбросить, я грудь расправил и на целую страницу разрядился.

— Н-ну, дает! — с некоей насмешкой, но и удивлением сказал старичок майор.— Дай нам по книжечке, и ладно. Спасибо, распорядись машиной, капитан. Профессора — в институт, этого ученого — в Ленинский район.

Так вот мы и покатили рядышком с Дарьей Егоровной и побеседовали хорошо о горах алтайских, о зверях и реках.

И ведь еще раз, уже назавтра, довелось свидеться с товарищем майором. Этот базарный милиционер оказался сердитый, ни в какой сговор не идет, орет по улице и в тот же дом, к тому же начальнику. Увидел майор меня, махнул рукой на милиционера, ступай, мол, на свой пост. Наедине улыбнулся, спросил — много ли еще товару, почесал затылок и посоветовал ехать в Шевченковский район.

Ну вот, так и началась моя веселая жизнь. Все ведь зависит от начала, потом держись. А теперь вот пришла пора итог делать.

Есть, думаю, люди, которые ошиблись раз в молодости и всю жизнь потом казнятся, излечиваются, выправляются. Как у проволоки завиток, трудно выправить ошибку, а всю жизнь правят, поколачивают по той проволоке деревянным молоточком. И уж выправили под конец жизни и глазу постороннему незаметна изгибка та, а сам-то все видишь ее, сам-то зрячее. Есть ведь такие люди?

— Я такой, Кузьма Федорович,— сказал я.

— Тоже выпрямлялся? А ведь один изгиб, одна петелька. Моя же проволока вся извита, попробуй выправь. Годы прошли, старость рядом, тошно глядеть на эти сукрутины и охота бы снова жить, по-иному, как-то не так.

— Это хорошо, Кузьма Федорович, что хоть муки пришли, — сказал я.

— Что и говорить, к иным они не приходят вовеки. А есть, поди, жизни без ошибок и мук. Красивая, поди, эта жизнь? А? Несут, поди, они в себе красоту, не замечая ее, как тот марал мой несет свои рога. И умирал и оберегал красоту свою.

Ну вот. Приехал я домой с немалы-

ми деньгами. Манька моя до смерти испугалась, когда я показал их.

— Иди ты, говорит, к черту с имя. Такие деньги только воровскими руками добывают. Я профессоршиным деньгам ума не приложу, а ты новую заботу принес. Куда ты их употребишь?

— Дыр-то, Маня, вон сколь.

— Дыры такие же, как у всех. А ты выделиться хошь. Дом, поди, новый построишь. Диваны да стенки. В лесу-то зачем это? Очухался бы!

— Мы, говорю, Маня, в город переберемся. Кооперативную квартиру закажем. Ребятишек в институтах учить будем. Нынче у всех ковры да наряды разные. Ты разве не хочешь ходить по-городскому? На тебе шубка черная, каблучки, причесочка.

Маня моя притихла, и слезы уж на глазах. А на плечах узкая, в грудях распертая, закапанная и замасленная кофтенка.

— Ты говоришь, квартиру закажешь? Так и жди ее десять годов.

— Деньги все сделают, Маня. В лапу дать надо. Денежка, Маня, гору своротит. Я почуял силу в них! Ого! Нынче весь народ с ума сходит от них. Что же мы-то с тобой в лесу сидим, как отшельники?

Маня моя вовсе переменилась, какой-то особый, решительный блеск в глазах появился. Оглядела себя, мечтательно ощипываться принялась.

— Вот так, говорю, надо только решительно рвать со старым.

И перевез я семью в городишко наш. Развалюшку подрядили и в кооператив тут же вступили. Марью на хлебопекарню, детишек в школу устроил. А сам в тайгу. Едем с одним, он орехами хвалится: «Насобираю мешков пять». Я про себя думаю: «А я насобираю два мешка корней и перекрою тебя с лихвой». Ну-ка, шестью шесть — тридцать шесть! Три тысячи шестьсот за мешочек!

Прошла зима, и надо бы отпуска дождаться. Нет, тянет в лес, тянет к корням этим. И ведь уволился, сходил и насобирал мешка два да мешок прикупил у алтайца. Нагрузился — во! И план у меня не украинский, план курортный, крымский. «Что ты,— подсказал мне дружок,— ездишь по здоровым местам. Ты по курортам, к больным поближе. Там базар ненадобен и милиционера обойдешь». Как начать, я еще дорогой обмозговал — пляж мне в башку все лез. Мне и курорт виделся в этом пляже, потому что никогда на нем не бывал. Пассажир вагонный посоветовал — в Алупку катни. Я в давнем детстве, как читать начал, плакат на стене видел, один парень в воде плещется, другой стакан у белых зубов держит и надпись веселая:

Слесарь Ванька Голопупкин
На купании в Алупке,
А текстильщик Митрофан
В Кисловодске пьет нарзан.

Дай в эту Алупку покачу. Что это такое, Алупка, в голове столь время сидит. В этот раз какая-то смелость шаловливая возносилась во мне. В одних трусах на жарком солнышке и на локотке лежа, держу в руках лекарственную книгу и удивляюсь будто самым натуральным образом, так, чтобы слышали меня распаренные голыши. Приухиваю, прихохатываю.

— Ух ты! Растет в районе озера Байкал, на Хамар-Дабане. Во как! Не только на Алтае. Гляди-ка! И от желудка, и от малярии. От упадка сил и от импотенции. Что это за болезнь такая?— спросил я гладкого верзилу.

— Это, браток, болезнь такая, которую лечат только на курортах,— говорит он под хохот дружков,— а что за интерес у те? Что за книга такая? «Лекарственные травы Сибири». Дает мужик! Тут стишки чатают, а он! Вот дает!

— Да не моя книжка, хитрю я, парень в туалет ушагал, велел покараулить рюкзак да книжку эту сунул в руки. Заглянул — и хохот взял.

— А в рюкзаке-то что у него?

Как я сказал «золотые», ко мне на брюхе, на коленях, на четвереньках поползли прожаренные дочерна курортники. Я толкую про парня, что отлучился на минуту. Ну сказал еще этот парень, говорю, если кому без него, продай по шести рублей стограммовку.

Толстячок нос уткнул в книгу да как заорет:

— Братцы! Корень-то брат женьшеню!

И держит, и вцепился в один корешок.

— Только без шуму, только шепотом, говорю.

Зашептались, зашикали друг на друга. К штанам поползли, деньгами хрустят —«мне пачечку, мне две».

Как разновес мой кончился, подле меня вертелось аж сотня голышей. Требуют продавать и не бояться никакого милиционера, они сильнее всякой милиции.

— Не могу, говорю, без хозяина.

— Сам, поди, и хозяин.

Я штаны натянул, рюкзак на загорбок, скажу прямо, испужался маленько.

— Пойду искать того...

Тут женщина ко мне подходит, под зонтиком, жиденькая, тонкая, на татарочку похожа и так тихо и доверительно шепчет:

— Улица Егорова, дом пятнадцать. Приходите.

— Ага, говорю, пойду Ваньку искать. Поедем с ним в столовку.

— У меня есть что покушать,— говорит женщина шепотливо.

Отбился-таки от голышей, отмахался. Сошел с песочка — никто за мной не тащится, зоркого глаза милицейского, кабыть, не вижу. Слава те господи! Хожу по Егоровской улице, раза три мимо пятнадцатого номера прошмыгнул и уж подался от него подальше, потому что черт знает, что меня в нем ждет, а мой товар и без этого номера ходкий. Уж пошел напрямик в столовку, а татарочка вот она, и глазки такие ласковые.

— Пойдемте скорехонько. У меня гуляш уже сварился.

Двор у татарки тесный, весь застроен избенками, курортниками забит каждый угол. У самой хозяйки веранда да комнатка.

— Как звать? Откуда? Это где-то в Сибири? Корешок-то от чего применяется?— завалила меня хозяйка вопросами.

Я было бросился читать мою лекцию, татарка перебила, вижу, говорит, что мастеровит в этом деле, но все это потом, а сейчас садись-ка за стол. Это вот она, татарка, эта самая Дурамила, видишь как, дура и мила — первая сбила меня с панталыку. Я знал до нее лес, лосей да медведей. Да Маньку свою и детишек, и остаться бы навеки там и быть бы человеком. Ох, этот золотой корень. Сколько влил в меня отравы. Я ведь тут с ней, с Дурамилой, ну хоть бы на неделю — на два годика обосновался. Вроде мужа заделался. Тайно от Маньки в тайгу нашу съездил разок. И знаешь, татарка доверяет. Уедет куда к родне, хозяином меня оставляет. Тому простыню смени, тому одеяло, того выдвори и на место его другого поставь. Спирту где-то дагового доставала, меня поила, сама же и лекарства на нем делала и продавала сама, на все руки была мастерица. Деньги показывала и пополам делила. Твои корешки, мой спирт, говорит. Я уж и тосковать по Маньке перестал, а она раз говорит:

— Кузя! Ступай домой. Навести свою Маню, детишек. А главное, не забудь корешков привезти поболе. У, мы с твоим золотым да с моим спиртом, мы таких лекарств наделаем! Аптеку тайную откроем. Держись меня. Ведь я тоже корешок добрый. Корешок на корешок — и денег мешок, так вот, дорогой. А без меня что бы ты сделал? Так себе мелочился бы. Много бы ты на пляже-то наторговал. Нашел же, дурачок, способ для продажи. Тут надо тонко-тонко, ловко-ловко. А скажу, сжились мы с тобой, ты мне понравился. Такой простенький, деревенский, а башковитый. Гляди, теперь у тебя какие костюмы, какие рубашки. А там и машину купишь.

— Постоянной прописки нет, говорю, прописала бы постоянно, Дурамила?

— Нет, говорит, на постоянную нельзя. Твоя законная прописка — тайга, тебе надо поближе к корешку. Не знаю уж теперь, как у тебя с Маней получится. Два ведь годика. А у меня свой татарин есть. Из тюрьмы скоро выйдет. Вернется мой татарин, а у меня все есть, с твоим корешком хорошо у меня получилось, не чаяла не гадала, а наткнулась на тебя.

И рассчитала меня, вывалила на стол кучу денег. Пополам, говорит, остаток поделим. Считай говорит, да думай, выгода — дело иметь со мной. Ну, правда. Марья моя такой хозяйственной бабенке и в подметки не годится. Все у нее вьется, все крутится, и сама как заведенная. Потом спала как убитая. Рот откроет и шурует без просыпу до солнышка. Побледнеет во сне, осунется, на мертвячку похожа, я даже пужался и уходил покурить, а то страшно глядеть. Колдовка не колдовка, а чую, заколдовала меня. Ну

вот, денег куча, ладно, думаю, а костюмы и рубахи оставлю тут. Явлюсь к Марье-таежнице, к детишкам босым в новых нарядах — что скажут они. Рюкзак добрый подарков привез, разложил их на столе — никто не подходит и на меня исподлобья глядят. Особо дочка, ей уж семнадцать, поклала все мое добро обратно и дверь мне открыла. Валяй, говорит, на все четыре стороны. Я, говорит, работаю, мама работает, Васька работает, нам не надо от тебя подачек.

— И денег не надо? — выворотил я из кармана горсть сотенных, думаю, поверну я семью к себе, не может быть такого, мне-то ведь деньги душу разворочали.

— И денег не надо,— добавила мать, не глядя на них.— Загребай их обратно. Взнос вон кооператив требует. Плати да и залезай в свою трехкомнатную. И живи в ней, как барсук, коврами обвешайся. Хошь, и кралю свою вези. Поди, завелся-таки добром за два-то года?

Ну, не выталкивают из угла, но и дальше мне ходу нет -- жду перемен. А перемены вон какие. Все большие стали, все с работы да на работу. Ванька один в школу ходит. Говорю ему:

— Хоть бы ты, что ли, от меня не отворачивался. Давай в тайгу съездим. В Семьтелеге поживем. На пчельник устроимся. Помощником будешь мне.

Так хорошо засияли глаза Ванькины, разулыбался, но и бухнул мне правду:

— Да, так и есть. Будешь ты работать теперь. Ты корень добывать пойдешь.

Верно, Ванька, подумал я. Пчельник пришел в голову для утешения. Какой там пчельник. Одна жадность шевелилась во мне. Сижу в углу, а думаю — вагон бы корней накопал, потому что дарма богатство в руки лезет. Хорошо бы вот Ваньку или уж дружка какого. С дружком надежным веселей бы. Сижу, мозгую, а тут и Марья с работы пришла. Я и говорю:

— Марья, поедешь со мной в лес за корнем?

В Марье за эти дни копилась и копилась слеза. А тут она как заплачет, как завоет. Да я, говорит, с тобой куда угодно поеду. Ты измучил меня. Ты иссушил меня окончательно за эти годы. Поедем и поедем в наш Семьтелег. Начнем там робить по-старому. Ну, навещать детишек будем. Ваньку с собой возьмем. Только не надо этого проклятого корня. Очумел ты окончательно с им. Вон и седой уж стал. Куда тебе эти деньжищи? Солить, что ли, ты их собрался? А в Семьтелеге-то как бы мы зажили. Как бы зажили-и-и! — завыла моя Марья.

— Ну ладно. Собирайся.

И уманил ведь я Маньку в Семьтелег. Расчет взяла, и я на такси их с Ванькой утартал в лес. Ну, там старые знакомые, устроились.

Я не забыл еще пчеловодное дело, и как будто дело пошло. Но как пьяницу к вину тянет, так и меня к корню этому. Не выдержал. Весной опять к морю, опять на пляж, опять подходец старый, подготовлюсь, мол, к главному. И пошел потом по старому адресу, подхожу к тому дому и не пойму, он ли? Ворота перекрашены, избушки подремонтированы, собака другая рвет с цепи, а с веранды глядит борода черная. Спрашиваю:

— Тут я, дядя, лечился дикарем, место снимал. Где-ка хозяйка Дурамила, не вижу ее?

— Дурамила-то. Ого, говорит, Дурамила! Ее теперь тут нет. Она к мужу уехала. За решетку.

— Что стряслось-то? — тревожусь я и рюкзак на плечах поправляю.

— Да то и получилось — аптеку тайную открыла. Каким-то сибирским корнем на спирту торговала. Хлюст какой-то ей эти корешки подбрасывал. А хлюста-то не нашли.

— Ну спасибо, говорю, дядька, поищу квартиру в другом месте.

— У меня, говорит, место есть.

— Нет! Не надо мне вашего места, — и за угол, и приурезал я от опасного места да на вокзал, в вагон и только тут увидел, что билет у меня до Ташкента.

От пугливости и тревожности я сам себе не рад стал. От покойного таежного характера ничего не осталось. Не вор ведь я, а подрал вон куда. Отвлечешься и начнешь философствовать — какой я нарушитель. Зачем мне стала по ночам мерещиться тюрьма? Какой я злодей, если людей врачую? Скрытно, незаконно, частнособственнически, а где же, не слышно, государственно-то лечат этим корешком? Слышал, изобрели лекарство, а где оно, покажите, хоть понюхать бы его? Какой

простой человек его купит? А я вроде народного лекаря. Вот мой дедушка, лекарь Ефим Васильевич — так его все и называли. Чем он только не лечил людей в проклятую войну. Травами разными, тем же золотым. И помогал, слава такая шла: лучше докторов помогал от болей телесных и душевных. Меня излечил от лихорадки. Рубли, рубли, а как стану за базарный прилавок, не одни рубли чуялись в душе, а что совершаю доброе дело, без обмана, честно. И не все забыли, поди, меня, торгашишку, а все, поди, как сердце схватит, к корешку этому тянутся и мордаху мою челдонью вспоминают. Такие сурьезные мысли приходили в голову, пока я до жаркого края добирался.

В одном только я смелости набрался — в разговоре с женщинами. Открытие совершил в себе и в них. Были у меня бабы, были и окромя Дурамилы, на моем торговом пути. И в Ташкенте Катя нашлась, с квартиркой, с чаем-хлебом. В нашем деле все надо тонко, с оглядкой. Баба в этом случае самый верный адрес.

— Как вас звать, дорогая? — спрашиваю.

— А вам что?

— Да квартиру бы дня на два. С товаришком я.

— С чем вы тут?

— Да с золотым корнем. Слыхала?

Это слово заставляло вспыхнуть взор, задуматься и вглядеться в человека.

— Слыхать-то слыхала, да сколь нынче надувал и фальшивиков?

— Неужели похож?

Катя пожимает плечами. Я сажусь на ближайшую скамейку, приглашаю ее присесть. Из рюкзака вынимаю сочный образцовый корешок, поглаживаю по нему и веду научный разговор.

— Вы учились где-то этому?

— Два класса и три коридора прошел.

— А как гладко у вас получается?

Я вынимаю брошюрку и прошу проследить. Женщина смеется, читая и поглядывая на меня, слушая мой выразительный рассказ.

— Не знаю, не знаю, где вам на два дня устроиться. Ну, я в магазин. Спросите Колыванова, сорок два. Там мама хозяйничает.

Так в Ташкенте я остановился на год не по своей вине. На Украине ко мне отнеслись с пониманием и даже с научным интересом. Тут с меня попросили мешок. По совету Кати на базаре я обосновался на добром месте и торговал дня четыре тихо-мирно. Но вот в сокрытой одежде, в тюбетейке красивой, загорелый знойный малыш повелел товар скласть в рюкзак, за углом толкнул меня поперед, и так показалось мне долго идти мимо садов, низких лачуг в знакомый отдел.

— Хаким-то золотым корнем торгует,— сказал малыш и упал на диван, вытирая жаркий пот.

— О-о! Золотым! Хе-хе! Откуда? Алтай! Бродяга! Ну, понимээшь, охотников этих, понимээшь, погреться на нашем солнышке. Кажи корень! — кричал этот малыш, наряженный в лейтенантову форму, застегнутый и приглаженный. Долго глядит на корень, крутит его в руках, смотрит на меня хитрым прищуром узких глаз и вдруг как заорет, пужая:

— Паспорт — на стол! Нет, понимээшь, паспорта! Бродяжка, значит. Сибирячок-охотничек. В КПЗ бродягу! До выяснения! Рюкзак оставить. Деньги на стол. Шагом арш!

Крутенько меня взял в оборот лейтенант, так он пузырился, так надувался, с таким интересом поднял и повзвешивал рюкзак и так он был недоволен, когда я положил на стол пятьдесят рублей.

— Все, все!

— Тут все.

Катя была со мной на базаре, ей успел передать главные деньги. Сейчас она сидела против окошка и глядела в газету, и я ей говорил «спасибо». И потом, когда я на десятый день, выведенный стелить асфальт, увидел Катю с узелком в руках. Она пришла покормить меня.

— Кто она? — спросил милиционер, когда я обратился за разрешением отойти на минуту.

— Жена, говорю.

Я ел лепешки и бормотал ей, похохатывая для маскировки. Я говорил ей, что просят мешок, что надо спрятать его подальше.

Держали два месяца и все мешок требовали, будто этот мешок им во сне приснился. Не боле не мене — мешок. И напоследок, когда меня отправили рыбку ловить, кричали:

— Мешок!! Сгноим тут тебя, потому как ты, может, бандит и убил кого.

— Да ведь рюкзак тоже немало, говорю.

— Тогда ловить тебе рыбу не переловить.

Я ловил рыбу до новой осени. Там у них озеро такое, не мене нашего, Телецкого, только мелкое, все в островах. Ну и рыбное — я те дам. Ребята собрались все свои и не знаем, кто мы — арестованные или заключенные. А рыбку забирали милиционеры, зарплаты нам никакой, да мы и не просили. Какая уж там зарплата. Правда: мы тоже научились хитрить и половину улова сбывали на сторону, да все в глотку уходило. Через год бумажки нам дали освободительные. Я, разумеется, к Кате. А Катя разводит руками.

— Какие, Кузя, корни? Они все дыры обшарили. Нашли ведь, окаянные.

— Так ни одного корешка для себя не спасла?

— Я так истряслась за них, так набоялась, что богу помолилась, как унесли.

— А деньги, которые тебе передал?

— Я сколь раз ходила к тебе? Посылки-то носила?

— Ладно. Может, говорю, мне поработать где? Денег на дорогу заработать? Не бог знает какую работу. Банщиком бы, проводником бы. Так бы до дому-то и доехал.

— У нас тут не так просто на работу-то, говорит, банщиком — дай в лапу тысячу, проводником — две тысячи. И милиционером тебя сделают, дай пять тысяч.

— У вас тут, говорю, какое-то другое государство. Сколько же ты платила за буфетчицу?

— Платила, говорит, не без того.

Дала мне все-таки денег на дорогу.

Вот на этом пока моя точка. Манька не пустила меня в дом, да я и сам не особо рвался к ней. С того прошло немало годов. Раз встретил Ваньку-сына. Мужик! Я глаза в одну сторону, он в другую. Встречал и Маньку. Она как от шального убежала на другую сторону улицы. А потом слышу: с детьми и с внуками уехала в другой город. Как медведица, помнишь, спрятала с глаз моих семью, и квартиру мою трехкомнатную не пожалела, полученную от кооператива. А мне-то жилья не нужно, потому как мои временные связи с квартирами были.

Ну вот, может, остановлюсь на Нюре, на твоей свояченице. Дай-то бог не сорваться, дай-то бог устоять от того корня. А как ты думаешь? Не съездить ли с ним в прибалтийские республики?

В ДАЛЬНЕЙ ШКОЛЕ

РАССКАЗ

— Да, как это было давно со мной,— думал Иван Игнатьевич, проводя беспокойную ночь перед началом учебного года.— Что ни год — новые учителя, а я все тут, как тот камень, который обрастает. Чем я обрастаю? Что во мне прибавилось? Да вот ведь когда-то и я приехал.

Это случилось давно. Тогда он, не побывав у родителей, уехал в дальний глухой район, в село Никулино, к тетке Пелаге, квартирной хозяйке, в соседство теленка, кошки и собаки.

Избенка мала, тетка стара и приняла квартиранта, рассчитывая на учительский бесплатный керосин и дрова. Ни матраца у него, ни одеяла. Подушку и матрацовку сбросила с печки старая Пелага. Вот он и в учителях, словно кто его тянул в эту сторону, за веревочку. Был на заводе рабочим, потом метнуло в геологи, а тут вон что выкинул...

Долго не мог уснуть Иван Игнатьевич. Все думал о тех давних днях, которые виделись одним долгим-долгим днем, бесцветным и суетным. Сколько времени с тех пор пробежало? И опять новый учебный, опять новые учителя. Как он будет ладить с ними? Какими они узнаются?

При каждом движении пешкой Виктор Васильевич Басов повторяет слово «каррамба». Похоже, что парень не глу-

–С006I–

пый, себе на уме. Лицо у него красное и веселые голубые глаза. Он любит смеяться, так от здоровья, видать. При этом лицо краснеет еще больше, короткая шея прячется в плечах. Входит он в учительскую, привстряхиваясь, бросает на стол книги, журнал и сообщает какой-нибудь потешный случай на уроке — кратко, очередями, не меняя интонации — ждет, кто-то подключится к его веселому разговору. Учителя молчат, не свыкнувшись. Глаза Басова ищут собеседника. Он найдет его, может, в этом историке, Шемакове, в человеке с мокрыми глазами, с отболевшими ресницами, глаза неприятны, но в них чувствуется власть. Он намеренно медлителен, двери открывает неторопливо, городской хромовый пиджак и кепку вешает на самый близкий и видный гвоздь. Жиденькие потные волосы, стоя перед зеркалом, причесывает осторожно и бережливо. У него жилистая, какая-то голодная шея, зубы почерневшие, продымленные. Он важно топорщит слабые плечи, говоря этим: «Я силен, ловок, я могу многое».

Он прерывает молчание и затяжными паузами говорит о школе, в которой работал в прошлом году. Тоном он подсказывает, что слово его так, ни о чем, лишь не молчать, но в речи — он, Шемаков.

— Я за каждый урок оценку себе ставил. Минус, плюс, плюс с вопросом или восклицанием.

— Это зачем? — спрашивает его Пикунов.

— А чтобы не повторять ошибки. Минус — значит на другой год сделай этот урок плюсовым.

— Через год вы помните, в чем промахнулись?

— Непременно.

Пикунов Николай Николаевич его сосед по квартире. Узкоплечий, остроносый. У него низко поставлены брови над лукавыми глазами. Одет в старомодный синий пиджак. Часы в грудном кармане, прицепленные к массивной черненой цепочке. У него не гнется указательный палец, он им сталкивает пешки и под нос извиняется. Говорит мало и тихо и улыбается. Если коллега сходит пешкой ошибочно, он дождется его взгляда и потом уж попросит переходить. Походка его пряма и несуетна, даже вкрадчива, кажется, это лишь форма сокрытия силы и ловкости. Что-то кошачье есть в его мягкости и телесной расслабленности. Он прячет огрубевшие руки в карманы — он только что от хозяйства. Он очень недоделывает по школе и страшно боится директорских посещений.

— Иван Игнатьевич! Вы посмотрели на меня. Не на урок ли ко мне? Не ходите, прошу, не надо этот раз.— Молоденькая учительница Тося только что кончила училище. Тося — красивая, высокая девушка с вьющимися отцветшими волосами. Она смущена неожиданным назначением — подумать только, биолог. Она не знает, чему учить, учебник только и знает. И так молода, моложе всех молодых, что кажется ученицей. Она очень стесняется и как-то разом настораживается, когда шутят с ней или говорят серьезно. Она раскрылась скорее всех, потому что не перестала быть подростком.

Учебный год только начался, а Тося плакала не один раз. Обижают ее ребята, выводят из строя, она бежит из класса, красная, круглоглазая. Директор уговаривает ее, бывает, мол, это со всяким, идет с ней в класс и наводит порядок.

— Ничего. Привыкните,— утешает он Тосю и ухмыляется: утеха-то горькая, привычка-то вон к чему...

Иван Игнатьевич старше всех на три десятка лет. Он живет в школьной квартире из двух комнат. У него два сына и красивая жена — Наташа. Язык Ивана Игнатьевича крепко приморожен, он пришепетывает, воротит его с мертвого места, издавая какие-то приплюснутые звуки, сродни мягкому знаку. Он краснеет от самого обычного распоряжения, которое сообщает с подчеркнутым пристрастием. Сквозь строгость так и рисуется добродушие и слабость характера. Он в этой школе старожил и измучен ежегодными конфликтами, бог знает из чего зарождающимися, после них, как ветром, подметает учителей. Август собирает под крышей новеньких, как нынче этих.

Иван Игнатьевич слегка сутуловат, суетен. Как мячик, закатится на кривых ногах в учительскую, маленький куток, отгороженный от класса заборкой. День разыгрывается, все учителя налицо. Что же Марья звонка не дает?

— Марья! — кричит Иван Игнатьевич в коридор.. Там идет ребячье столпотворение, едкая пыль проникает в учительскую.— Давай звонок, Марья, смотри, уж пять минут девятого.

— На ходиках без пяти!— кричит Марья из коридора.

— На моих без десяти! — заглядывает на свои часы Басов и передвигает пешку.

— Убегают, стало быть, мои,— соглашается Иван Игнатьевич.

— На моих ровно восемь,— важно заявляет Шемаков, будто ничьи часы, кроме его, точно идти не могут.

— Марья, звони!

Когда учителя разбредутся по классам, Иван Игнатьевич присядет и вздохнет, будто уж и устал. Стуча скалкой по стене, его зовет Наташа есть блины.

И умывался, и рубашку свежую надел Иван Игнатьевич, а, сунувшись к зеркалу, увидел небритое лицо. Трещит жесткая борода под лезвием, а Наташа зудит:

— Завсегда сразу ничего не сделает. Рубахи только мнет да рвет. Снимай да надевай! Ни дома, ни в школе у тебя порядку нет.

Сторожиха Марья всем новеньким рассказала уж, что Наташа намного младше мужа и не любит его.

— Иван! Вот непутный! Опять дров не наколол. Что, я за тебя колоть буду!

Она не стесняется учителей и кричит на него:

— Слышь-ка! Садись да почини ботинки Мишке. Не шибко, поди, устал, рот пяля.

Ивану Игнатьевичу надо в сельсовет сходить — дрова пока не все вывезли. Он по-скорому ест блины и крутит в руках распоротый ботинок.

— Ладно, потом,— бормочет он и идет в сельсовет.

Там Волков, председатель, встречает его с песней:

— Обещал класса два на картошку подбросить. Что же тянешь, директор?

— Сколько же раз подбрасывать? — возражает Иван Игнатьевич. — Нам и учить надо, программу выполнять.

— Это не программа, картошка-то? Без какой программы жить можно? Без моей или без твоей? Обещал еще дать докладчика по международному вопросу. Где он у те?

— С этим вопросом может один историк справиться, но у него квартиры нет. Он скоро убежит от нас. Семейный. Квартиренку бы какую ему.

— Секретарь сельсоветский скоро освободит, в свой дом перебирается. А ты не торгуйся. Есть, нет у него квартиры, пусть идет на ферму, пусть что-нибудь расскажет. На то он и учитель.

— Так тоже не резон. Если учитель, то иди. Уж и так все на учителе. Он и докладчик, и агитатор, он и на картошку, и на жатву.

— Эти разговорчики твои никуда не годные. Посылай, и сегодня же.

— Я о дровах пришел,— говорит Иван Игнатьевич.— Хватит не дальше декабря.

— Ну и живи пока. По снегу вывезем. Легче по снегу-то.

—А как по прошлому году получится? И по снегу не вывезете. Разворуют наши дрова.

— Эка паникер. Эка как он рассуждает. Я сказал—по снегу, стало быть, по снегу.

С Волковым-председателем толку нет говорить, когда он заупрямится. Но и Иван Игнатьевич резковат, затем чтобы тот знал, что директор озабочен, за дело болеет и, стало быть, человек на месте. В прошлогодний конфликт Волков стал на сторону директора и прогнал главного заводилу неурядицы. Учителя другого найдут, попробуй найти директора. На нее никакой черт не пойдет, на эту страшную нервотрепку.

Иван Игнатьевич вышел из сельсовета, когда прозвенел звонок на занятия. Бежали последние ученики из уборной. Через дорогу прошла Тося с портфельчиком: учительская в одном здании, класс ее — в другом. Иван Игнатьевич улыбнулся, глядя на нее., на опущенные плечи, поникшую голову. Ей, знает он, тяжко идти в класс, в этот содом, на каторгу эту. Не удержался директор, подбодрил ее:

— Таисия Степановна! Смелее! Чего голову повесила? Тверже, тверже себя держи!

На это Тося пожала плечами и улыбнулась. Иван же Игнатьевич остановился на протоптанной в траве дорожке, между «корпусами» — так называет в шутку Волков два приземленных соору-

жения школы. Вроде бы и привык Иван Игнатьевич к узким коридорам и маломерным классам, к раскачанным, вываливающимся из гнезд партам, к серым щелястым доскам, к засиженным мухами ветхим пособиям. Ничего не прибавилось к школе за много лет, а только детишек все больше и больше и в классах все теснее.

К одному «корпусу» лоб в лоб приделывается прируб. Бревна успели потемнеть, а пола нет и рам нет, и стекла никак не добудут, а так прибавилось бы всего два класса. И пришла бы малая разрядочка, может, избавились бы от третьей смены. Иван Игнатьевич, подходя к плотникам, о том о сем посудачит, и хоть малая, да надежда заживет в голове. Но вот полгода плотников не видать, а теперь и вовсе некуда торопиться — учеба началась, как-нибудь и кончится.

Вернуться бы сейчас Ивану Игнатьевичу к Волкову и напомнить о постройке, но ведь напоминал и спорил и себя предлагал командировать в город, к какому-нибудь большому начальнику в ноги поклониться, что в Никулине-селе школа стоит без стекол, и на крышу железа бы добыть, нарисовать бы ему картину, как детишки в полумгле, при керосиновых лампах пишут ли, спят ли. Эти размышления оборвались вскриком коротким, хлопком двери, и с крылечка сбежала Тося. Она прямо к директору устремилась, бледная, с дико бегающими глазами, и вот-вот разразится слезами, бранью и проклятьями, и даже руки вознесла, ровно ударить кого хотела, да сникла, упали руки на плечи Ивана Игнатьевича, а голова на грудь его, словно не директор был перед ней — отец родной.

— Ой, ой, что он сказал! Ой, какой он негодник, какой безобразник! Ой, Фокин! Ой, ведь как он меня назвал! Он... «Милочкой» назвал меня! Ой, ведь он на весь класс запел.

— Что он там запел?

— Ой, «У моей у милочки красненьки ботиночки...»

— Ну успокойся, успокойся, Кто не носит красных ботинок,— уговаривал Иван Игнатьевич.

— И не буду, не буду я больше биологию вести. Дайте мне начальный класс. И училась я для начального. Зачем же вы это, Иван Игнатьевич?

Иван Игнатьевич не тревожил рук Тосиных на своих плечах, сам положил на плечо ее руку и поглядел ей на ноги. Верно, на ногах были дешевенькие из свиной кожи красные — не красные, какие-то рыженькие, хоть и новые, ботинки. Тут же поглядел на окна класса — там, толкая друг друга и смеясь, пялились семиклассники. Визг и хохот был слышен на середине улицы.

— Ладно,— сказал Иван Игнатьевич и погрозил пальцем на окна.—Ладно, я поговорю с ними, а пока не ходите. Этот урок пусть будет на их стороне. А пойдемте-ка к нам. У нас блины нынче. Посидите, чаю попьете.

Иван Игнатьевич осторожно, под локоток, взял Тосю и привел домой. Конечно, ни до чаю, ни до блинов Тося не дотронулась, а разразилась каким-то девчоночьим плачем, и как унялась, Иван Игнатьевич повел осторожную беседу.

— Вы мне говорили, Таисья Степановна: вы любите биологию больше других предметов? Так ведь?

— И любила и люблю, а учить не стану,— капризно вскрикнула Тося.

— Слышьте. Если любите, то придет время — все пойдет на лад. Кто так не начинал, как вы. О-о! Да я, девка, криком кричал, да, скажу, не сразу и взял себя в руки — а пошло дело, и вот уж тридцать годков. А! Пойдет, пойдет и у вас, а там в институт поступите и настоящим биологом станете, во-оот. Нынче не поступила — на прок поступишь, простите меня за «ты», Таисья Степановна, а вот сердиться и убегать с урока — воздержитесь, это можно, попробуйте, Отмолчитесь, журналом займитесь, они все понимают и замолчат, а потом опять из-под тиха, за объяснение беритесь.

— Да что мне объяснять!— жалобно застонала Тося.— Я совсем пуста. Я ничего не знаю. О, господи! Я мучаю их и себя!

— И за объяснение,— продолжал Иван Игнатьевич, будто и не слушал слов Тоси. — И не выгоняйте никого, это у вас не получится. Ты ведь так молоденька, ведь они и побить могут. Гнева не показывай, а показывай терпение, будто его у вас на тысячу учеников. Терпение — это главная сила учителя. А как научишься терпе-

нию — и других потом станешь учить ему, как вот я сейчас учу вас. Надо постичь науку терпения. Терпение и учитель — это одно и то же, это слова — братья. Через терпение ваше и к детишкам придет терпение. Мы ведь не артисты и не фокусники, не спектакли ставить решились, — так вот, сидя рядом на скамье, объяснял Иван Игнатьевич по-своему таинство дела, путая притом «ты» и «вы», как всегда бывало с ним, когда он во что-то углублялся.

Тося унялась окончательно и чай попила с блинами. С какой-то решительностью в глазах, будто она обдумала все и собралась идти на приступ, поднялась и вышла от Ивана Игнатьевича.

А тут сторожиха к директору идет, как только звонок подала.

— Уж мелу-то, мелу, ваше дело учительское, вы должны иметь или нет?— Лишь порог перешагнула, напористо заговорила Марья.— Я из дому всю известку перетаскала. Дак на меня и за то учителя бранятся: жесткая, говорят, все доски исцарапаны. Не мел, говорят, а наждак, стеклорез настоящий.

Тут поймал себя на мысли Иван Игнатьевич, что, верно, ленив стал, куль кулем, пустяка этого не приобретет, да и то надо помнить, что город-то от них за сто верст стоит, там-то можно было к какому-нибудь городскому школьному директору подъехать, подсвататься. «Мог бы или не мог?» — спрашивает он себя, осуждая.

— Сходи-ка, Марья, в Чиргуши. Попроси у Захара Егорыча. У него хороший мел должен быть. Сходишь?

— За мелом семь верст мерять? Ну, схожу, так и быть, а даст?

— Даст. Я тебе записку напишу. Кому не даст, мне даст. Сам с нуждой ходит.

С тем и поторопил Марью в школу, а сам пошел в сельпо — все было в кучке, все близко. Широкой улыбкой встретила его продавщица, она скучала по причине отсутствия покупателей. Тотчас она полезла под прилавок и достала красного вина.

— Давай по стаканчику чикнем, Иван Игнатьевич. Пока никого нет,— предложила она.

— Давай, пока звонка не слышно.

Они выпили по стакану вина и скоренько спрятали четверть.

Марья звонить выходит на улицу, чтобы звонок слышался в обоих «корпусах». В сельпо набежали ребятишки, и Иван Игнатьевич сердито заговорил о тетрадях, что в сельпо долго не привозят их, да и книги все залежалые и запыленные, и школьный уголок самый темный и неприглядный. Этот уголок Иван Игнатьевич изучил хорошо: не пятый ли год в нем все без перемен, не прибавляется, не убавляется. Книга с названием «Гневная душа» так все и стоит на своем месте, прикрывая собою какие-то коробки с пластилином, что ли. Пыли на книге много, и можно прочитать «Главная душа» и «Главная дума». Рядом с этой книгой — стопа фолиантов с названием «Горная металлургия». Как залетели эти тяжелые книги в деревенскую лавку?

Вино взбодрило Ивана Игнатьевича, щеки его слегка заалели, и как позвал звонок ребятишек, он и другой стакан попросил, и больше ему не надо. Напыжившись, налившись маскировочной серьезностью, стал расспрашивать продавщицу о важных делах.

— За сентябрь ведь ты не выдавала учителям ни мыла, ни керосину.

— Мне не везут — и я не даю,— отвечала та.

— Мыла, знаю, привезли,— стоял на своем Иван Игнатьевич.— Выдай, пока не рассовала куда попало. Сколько раз в прошлом году оставляла без мыла?

— Да раз или два только и оставила, и то не по моей вине.

— Керосин никуда не девай, без керосину учителю вовсе никуда.

— День пока велик, и без керосину обойдутся. Это что такое? Никому ничего, а им и керосин, и мыло, и масло, и ситец. Что за господа, батюшки.

— И квартиры бесплатные,— осудительно подхватывает Иван Игнатьевич и качает головой.

— И дрова! — прижимает продавщица палец на руке.

— Ты скажи, Луша, у Найдиных не сдается комната? Для историка бы.

— Будто поминали они. Да что это за комната. В этой комнате поросятам жить и то будет тесно. Он ведь детный?

— Двое детишек. А у Саблиных?

— У Саблиных получше. Но ведь какие эти Саблины. Они дрова-то получат

да и заморозят твоего учителя.

После разговоров с продавщицей Иван Игнатьевич в школу не шел, а возвращался домой и там попадал под огонь жены.

— Я ей волосы выдеру, Лушке этой. Вот в роно поеду и о тебе все расскажу. И вытурят тебя с треском.

— Куда же мы тогда с тобой? — виновато спрашивал Иван Игнатьевич.

— И что я привязалась к этому распроклятому Никулину. В городе бы на заводе работала. Денежки бы свои зарабатывала. А тут оглядывайся на твои крохи. Вот так, доживешь, доприглядываешься, пьяница!

— Эка! Стакан красного — и пьяница,— показно огорчался Иван Игнатьевич.

— А на какие злыдни? Гляди, и этих новеньких привадишь, поди, уж приметили твои интересы. Вон они какие прыткие, эти Шемаковы да Басовы. Поди уж и целятся на твое шаткое директорское место.

— Ну уж! Сразу и целятся,— возражал муж.

— Целятся. Вижу по ухмылкам ихним. Да и слышала разговор: теперь директор непременно должен иметь высшее образование.

— Да перебери десяток сел, много ли с высшим-то? — защищался, как мог, Иван Игнатьевич.

— Зато заочно учатся, а ты и заочно бросил учиться.

В таком взбодренном состоянии Иван Игнатьевич охотно вел диспут с женой. Понимал он этот спор как тренировку на грядущее и видел себя через то смелым и твердым в учительской. А получалось, что тренировка такая приходилась без пользы, в школе он больше кивал и соглашался. Досадовал на себя Иван Игнатьевич, что вялый, не боевитый он, что не тот у него характер, слабость и мягкость живут в нем. Ему бы какую покойную, не суетную работу, секретарем, что ли, сельсоветским, бухгалтером ли в сельпо, фельдшером бы мог быть, если бы образование поиметь другое. Слово «директор» его пугает столько лет, сколько он директорствует. По леності он все еще не определил круг своих дел и утром, проснувшись, думает, что же ему сделать сегодня. А! Сходит он на урок к тому-то, у такой-то план посмотрит, пожалуй, переведет звонок с восьми на девять, потому что день становится меньше, ну, в сельсовет заглянет и еще раз поговорит о недоделанном прирубе. И тут же зевнет от мысли, что все это уже делалось, а новое в голову не приходило, и тут же подумает, не бросить ли все это? Приехать в роно и сказать, что никуда он не годен, что давайте на то место Басова или Шемакова, а ему достаточно учителя математики. Отвел уроки — ты хозяин себе на весь день, и зарабатывал бы не меньше. Но тут же и погасит эту мыслишку. Что ты, парень, придумал, должность-то делает тебя как бы умнее и солидность придает, позволяет шагнуть пошире, сказать погромче, первому стоять в ведомости на зарплату — вон ведь какой пустяк лезет в голову. Тщета — тут же и подумает, и на минуту думка отважная прибежит; а не уехать ли, не вырваться ли из этого проклятого Никулина в город, на завод, в слесари. Ведь слесарем был когда-то, так хорошо дело пошло, и надо же было метнуться в учителя, что-то увидел в том солидное, важное, идея какая-то жила в голове. Капали, капали ему, и вправду зажил в душе какой-то ореол подвижника, а тут еще была и правдашняя любовь к математике. Так его взяли круто тангенсы и катангенсы, так они ловко прикладывались к разным умствованиям и размышлениям. Друзья по работе сказали — тебе прямая дорога в учителя.

С этими думами Иван Игнатьевич лег на диван и задремал было, но уснуть что-то не давало: то ли ребячий гвалт за стеной, то ли забота о новом, каком уж по счету сближении с учителями, а затем о новых огорчениях и разочарованиях. Как много побывало их с высшим и неполным высшим, со средним и неполным средним, дерзких и робких, разумных и неразумных, дельных и бездельников — и привыкнуть бы надо Ивану Игнатьевичу, везде так. А пришли вот новые, и опять забота, и опять скорее бы узнать о них, раскусить, разведать и уж действовать, как может он, согласно их характеру.

С застолья начинал он каждое такое узнавание. С него нынче и начнет....

Собрались учителя, одетые в свежие

рубахи и костюмы. Иван Игнатьевич не мог унять волнение, все поджидал и все поторапливал Наташу и помогавшую ей Тосю, чтобы поскорей накрывали стол. Как выпьет он первую рюмку, так и успокоится и все пойдет ровно, и веселым он станет, и умно возглавит застолье. А пока пусть шумит, пусть владычествует Наташа. Красивая, в расшитом фартуке и в голубом платье, выглядела она еще моложе. Иван Игнатьевич тут же прогнал мысль, что скорее дочка она ему, не жена. А пока не знал он, чем заняться, и схватился протирать рюмки, но Наташа сама бойко исполнила это дело. Иван Игнатьевич кивнул на жену и покачал головой, и гости посочувствовали.

— Ну все, поди, Наташа, садиться, поди, можно,— подмигнул Иван Игнатьевич и мягкой шепелявостью и добротой огляда и легкой загребистостью руки пригласил сесть, сам первый усаживаясь в торце стола. Вздрагивающей рукой наполнял рюмки, недоливая — и переливая, и косилась на него и ворчала Наташа, Тося поглядела на свой перегруженный стаканчик, хлопнула руками и пропела: «Иван Игнатьевич». Басов посоветовал отпить поскорей, что она тут же исполнила и по-детски открылась кривеньким зубиком.

— Хо-хо-хо! Молодец! — похвалил ее Басов.

С каким-то усердием Иван Игнатьевич чокнулся со всеми, торопливо пожелал добра и успехов, заикнувшись на первом неудобном слове, и выпил скоренько. Попридержался дольше всех Шемаков, видно, речь хотел сказать, видно, любитель речей, но понял, что не ко времени, выпил и сморщился, собрав личико в кулак и потянувшись за стаканом с морсом. Все бойко заедали горькую, он отряхивался, искал на столе ложку и дождался — ложкою, перед носом лежащею, побрякала Наташа — вот, мол, она, чего потерял. Может, потерял-то он нароком, потому что тотчас все поглядели на него.

— Ух и крепка, Иван Игнатьевич! — стараясь говорить басовито, похвалил Шемаков.— Это вы где такую отхватили?

— Это с непривычки вам показалось, — сказал Иван Игнатьевич.— Это вы давно не пользовались — оттого, — пытал он.

— Мне когда пользоваться-то,— нездорово румянясь, засмеялся Шемаков и сбоченился важно, стараясь казаться шире и сильнее,— я ведь в Груздевке завучем был и сколько уроков, столько же часов общественной работы вел.

— Это на какую больше тему вы беседы-то проводили? — спросил Басов, уже понявший что-то в Шемакове.

— У меня главная тема — политика. Это уж так, по главной необходимости. А так — спросят, я про любое государство рассказать могу. Что-то вот такое у меня в характере,— прищелкнул он перстами — так и тянет меня к людям. Приду в бригаду какую: «О чем, ребята, вам рассказать? — Давай сегодня о Японии!— Ну что о Японии, говорю. О ней в каждой газете нынче говорят. Давайте о Мадагаскаре». И сыплю о Мадагаскаре целый час. Работать надо им, а я со всех сторон эту страну обсасываю. Сидят, дивуются чудесами заморскими, иной и придремлет, ну, думаю, пусть подремлет. Ну что этот Мадагаскар для него, далекий неведомый островок. Сидит, мило и покойно глазками моргает, голову на локти устроит. Глядишь — и слюнка изо рта подалась. Я его эдак за нос-то хвачу. Егор, говорю, Иванович, вставай, приехали! Это, скажу я вам, такая страсть у меня среди людей вращаться. Спрашиваю, приходить ли завтра? Они во весь-то голос: приходи в это же времячко. Ну, говорю, завтра к вам Денис Михайлович придет. Это директор прежней школы, такой... заика и малообразованный человек. Так они в голос кричат: не надо нам никакого Дениса Михайловича, сам приходи.

— Это пошто же малообразованный, Денис-то Михайлович? — спросил Иван Игнатьевич невоздержанно. И Шемаков как-то разом обострился, важно локтем в стол оперся и уставился на своего нового директора.

— А вот такой он и есть, дорогой Иван Игнатьевич. Я вам одну смешную историю расскажу.

— Это про Дениса Михайловича-то историю! — поднимается в голосе Иван Игнатьевич.— Это плохое-то о нем что говорить? Он же каждую августовскую конференцию такие дельные доклады делает.

— Доклады докладами, а вы послушайте, что он городит на уроках своих!

— И слушать не станем!

— Иван! — дернула за рукав Наташа, но тут Пикунов поддержал директора.

— Ты бы, Владимир Николаевич, поведал, что случилось-то у вас с тамошним директором.

Умел этот учитель спросить негромко, даже вежливо, дотронуться до руки человека и перед тем покашлять для внимания, пригласить выпить очередную рюмочку.

— Говорят, из-за табуретки какой-то сыр-бор разгорелся,— вставил Басов.

— Э! — махнул рукой Шемаков и зашарился по карманам.— Я закурю?

— Курите,— разрешила Наташа.

— Курите и рассказывайте,— попросила Тося. Она все помалкивала, и эти слова словно вывалила откуда, произнесла натужно и громко и тут же заела их кусочком мяса.

— Расскажите! — иронически отмахнулся Шемаков.— Рассказывать, так по очереди. А вы-то, тут некоторые, откуда сюда прибыли? Не табуретка ли и у вас была, не конфликтик ли какой у вас там разыгрался?

— Каррамба! Хо-хо! — захохотал Басов и плечиком толкнул Тосю. — Вот дает мужик!

— Вы спросите в роно, как я там работал,— отойдя от стола и разгуливая по комнате, заговорил Шемаков.— На мне там вся общественная работа лежала. Шемаков туда, Шемаков сюда. Вся дисциплина на мне держалась. Выйду в коридор и гаркну: «Тихо!» Только что ад был, только что на полу возился целый свиток шпанят, а тут все вскочили и оцепенели и от глаза моего прячутся. Ну глаз и глаз, а вот какой-то он у меня особенный. Не хвалясь скажу — что-то есть во мне природно-педагогическое. Вот я у вас неделю, а что обо мне говорят ученики?

— Говорят — сила! — сказал Пикунов тихим голосом, и не понять, похвалил или похаял.

— Сила или не сила, но ко мне на урок не ходи, не проверяй меня, напрасно не трать время, директор. У меня все катится как по маслу: десять минут на опрос, тридцать — на сообщение нового материала, пять минут на задание, тютелька в тютельку — и вон из класса, хоть и звонка не давай. А тот умник-то, прежний-то мой, Денис-то Михайлович, говорит: «Вы сильно кричите, говорит, вы криком своим мешаете всей школе». Да что я могу поделать с собой, коли голос у меня такой громкий.

— Нет, голос у нас глухой, хрипловатый,— заметил Пикунов.

— Потом, говорит, глаголы неверно выговариваю: «читат, играт». Это я-то глаголы? Это я-то «читат, играт»! Да если, говорю, дело пошло до глаголов, то и вы, говорю, в час триста раз повторяете свои «знаете, понимаете»,— не унимался Шемаков.

— Да, он любит эти слова. И вообще он порядочный, интеллигентный человек, — как бы для себя сказал Иван Игнатьевич.

— Вот-вот — интеллигентный. А самые крепкие табуретки взял да унес из классов к себе в квартиру. Это как понимать?

— Да не украл же. Может, вот так собрал вас погостевать. Вот и у нас табуретки и стулья из учительской... И забыл, поди, сразу-то вернуть.

— Забыл он, на полгода.

— И вы в отместку-то и давай про эти табуретки. О господи! — вздохнул Иван Игнатьевич.

— Да и не я вовсе, другая напомнила. Я только как предместкома.

— А! Ну-ну! С этого, с этого начинается.

— Да разве главное-то в этом? — уже закричал Шемаков каким-то трубным, бубукающим голосом, будто издали давал знак о себе.— Разве главное-то в мелочах этих! Главное — учитель и ученики, как они взаимоусердствуют и взаимопроникаются. У меня тут все в порядке. Ты пришел учиться и учись, и душа из тебя вон — так, по-моему, надо ставить вопрос. Или это не согласно с наукой? Или учитель — не главная фигура в процессе?

Шемаков сел, тощая длиннопалая рука его потянулась за вином, полез он чокаться и полой кожанки уронил рюмку

— Ладно. Где пьют, там и льют,— сказала Наташа, и лицо ее выразило неудовольствие. Шемаков выпил и как-то расслабленно, мешковато осел весь. Лицо посерело, шея ожилилась, он махнул рукой, отыскал на диване кепку и ушел.

— Слабачок,— сказал Басов,— пусть идет баиньки. Выспаться ему надо перед

уроками. А я ведь уж года два слышу: Шемаков, Шемаков, опытный историк, этакая слава о нем, а пробкой выскочил из Груздевки. Да, вот так вот и живем и кочуем из школы в школу, двигатели культуры.

— И о вас слышно было, и вы, Виктор Васильевич, математик добрый. И с вами что-то стряслось.

— Дак и мне рассказывать про себя? Вот, каррамба! — наигранно и как бы с глупинки начал Басов.

«И что это за слово такое выкопал он,— думал Иван Игнатьевич.— Что он значит, этот молодой свежий с лица, упитанный человек, с каким-то неоконченным носом. Вот так шел нос и срезался и посеял на лице чудинку. Приклей к тому месту заплатку, как бы выиграл он».

Но что-то приятное увидела Тося в учителе и преобразилась, затерялась девчоночья робость, и даже прыть явилась в разговоре с ним. Очень живы и подвижны были руки его. Они что-то поправляли в наряде, что-то переставляли на столе, то и дело гладили светлые и пышные волосы, наконец, усердно махнули, как зачеркнули только вышедшего Шемакова.

— По-моему, не умеешь играть в шашки, не садись. Он как в учительскую, так сразу «давай поиграем, поди, успеем партию сгонять». Решительно ничего не соображает и сам так-таки и норовит мою пешку в дамки пропихнуть. Я его в перемену раза два обыгрываю. Я говорю: «Ты давай не об уроке, не о тряпке с мелом, ты забудь о том, ты на доску гляди, вишь, что на ней деется».

Все глядели на Басова с душевным интересом, видели блеск синих глаз, оглядывали играющую на закатном солнце синюю шелковую рубаху, прислушивались к рассказу, как он в «той» школе открыл шашечную борьбу, положил всех на лопатки.

— С тобой вот надо бы схватиться, Пикунов. Слышал, здорово играешь. Вот погоди, сразимся, но, признаюсь, робею: вдруг проиграю. А я не люблю этого, я люблю верх держать.

— А как не получится? — спросил Пикунов.

— Убегу в другую школу,— сказал Басов, громко захохотал и совлек всех посмеяться.

— Вам бежать и надо. В город бежать. Такой ловкий, такой симпатичный,— улыбаясь, заговорила Наташа.— И что в нашей дыре торчать? Ни детей, ни семьи. О-о! Если бы я была свободнехонькая, я бы тут и часа не осталась.

— А меня-то с кем оставите? — пьяненько растягивая слова, с искренним недоумением спросила Тося и тут же засмеялась, придавая словам шутливый смысл.

Басов разметнул руки и обнял девушку.

— Город? Зачем мне город, когда тут живет такая девчоночка? «Живет моя отрада в высоком терему»,— запел Басов, и голос у него правильный, тенористый.

— Люблю августовские конференции,— запел сладостным голосом Басов,— там всегда встретишь какую-нибудь свеженькую, этакую миленькую мордашку. Такую образованную, такую недоступочку. Так и охота покружиться подле нее, понять ее лучше, увидеть тот самый простачок, который так вот тебе и откроется на второй же день. Сядешь подле где-то в заднем углу, подальше от ораторов и разгонишь ее тоску-печаль. Спросишь невзначай: «Вы свеженький человек тут? Вы, поди, рады убежать отсюда? Это бывает с каждым. Сокращайте скорее срок тяжкой неопределенности, поищите вокруг комическое, смешное. Его тут предостаточно. К примеру, гляньте на оратора. Это наш завроно. Гляньте, как горячится, как распекает нашего брата, как старается казаться умным, хотя все зают, что он никуда не годится, и в душе смеются над ним. А вот пара, гусь да гагара, Симон Симонович и Марья Петровна. Их называют передвижниками. В году их раз пять передвигают. Та в декрет, этот на курсы — они чемоданы в руки — и пошла наша пара на вакантное место. Никакого возражения, даже с радостью, представьте, с хохотком, с улыбочкой явятся на новое место и чемодан-то развяжут ли, поджидая передвижки. А вот этот типоха пятый раз женится...».

Тут Басов немного осекся и поерзал глазами по столу.

— И вот новенькая-то уже и простенькая, уж и спрашивает, что это за село Куделькино, ах, ах, как оно далеко. А не близко ли село ваше? Ах, близко! Ну, приезжайте, приезжайте, разгоните

мою печаль. И о маме готова сказать, и о папе, обо всем, обо всем.

— И вы, конечно, поедете в избранный час,— заметил Иван Игнатьевич.

— И поеду, если не задержит кто иной своими рассказами,— засмеялся Басов и игриво оглядел пушистую и юную шейку Тоси.

На Басова с особым вниманием глядел Пикунов. Прищур глаз его уменьшался, сквозь узкую щелку их сочился неприязненный блеск черных зрачков. Тонкий и гибкий, он вывернулся из-за стола, и в кухне раздался его несильный, хорошо услышанный всеми голос:

— Виктор Васильевич! Сгоняем партию.

— Не время же для этого,— возразила Наташа.

— Как раз подходящее. Прошу.

— Ну что же, давай,— согласился Басов и оглядел всех снисходительным, но и добрым взглядом. С минуту не слышно было игроков, Пикунов вернулся за стол, буркнув:

— Вы проиграли.

Басов откачнулся от доски, чтобы возразить.

— Вы теряете сразу три пешки,— сказал Пикунов.

— Я не сдаюсь. Мы продолжаем.

— Я вам сортир сделаю.

— Это вам не удастся.

— Попробую.

Такой пустяк — проиграть в шашки, но встревожил Басова. Он покосился на загнанную в угол пешку, сказал «каррамба» и стер со лба пот. Как-то разом кончилось застолье, все заторопились; кто к тетрадям, кто к корове, да и на дворе наступали сумерки. Тося потопталась под окнами и тихо пошла в свой край. Ее догнал Басов. Синяя его рубаха в темноте казалась широкой и черной. Они скрылись за углом избы, провожаемые пристальным взглядом Ивана Игнатьевича и Наташи.

Час после гостей супруги спорили и перебранивались. Наконец, Наташа, как делала всегда, повысила голос. Иван Игнатьевич махнул рукой и ушел спать. Нервы его были встревожены гостями, и долго тянулась полудрема. Ему все накатывалась и накатывалась то плачущая, то смеющаяся Тося, то рокотливый и вкрадчивый голос Басова. Голоса сливались глумливо и тревожно, и Иван Игнатьевич переворачивался на другой бок. И сон его взял, полный близкой яви. В толкотне зажили перед ним новые учителя. Они спорили, грозились пальцами, старались друг друга перекричать. Шло как бы собрание, на нем делили и не могли поделить часы-уроки. Их было мало, поделить поровну было невозможно. Тогда придумали разыграть лотерею. Бросил Иван Игнатьевич бумажки в шапку и попросил «тянуть». Ходит по кругу с шапкой, подсовывает ее учителям — и все пуста и пуста бумажка. И, кажется, уж одна осталась, но и человек остался один — Шемаков. Он вытягивает бумажку. Машет ею перед носом Ивана Игнатьевича и кричит:

— Все, Иван Игнатьевич! Тебе конец директорствовать. Видишь, что написано?

Так явственно, так четко написано на бумажке: «Быть Шемакову директором в никулинской школе».

— Это что же теперь мне-то делать? — спрашивает Иван Игнатьевич учителей.— Я-то к какому делу теперь приложусь? Без меня не достроится прируб, не привезут дрова. Кто Тосю приободрит, приласкает, на верный путь направит?

А ему Шемаков отвечает:

— Она замужем. Муж и направлять ее станет.

— Замужем! А как это без меня?

Так ясно повиделась ему синяя рубаха, и голосом знакомым похихикал человек. Вышел из тесного и душного класса Иван Игнатьевич, успокоенный и порожний, будто видит: дров перед школой гора навалена, и стучат на срубе плотники, и окна застеклены, и крылечко покрашено.

— Ну вот, Шемаков,— сказал он,— я сделал свое, я не в долгу перед собой, а сам в город. Наташа! Собирайся! Ты ведь хотела уехать. Спокойно и хорошо теперь нам будет. Собирайся, я к Волкову за конем!..

В ранний привычный час Иван Игнатьевич проснулся и облегченно вздохнул. Но не уходила из головы дума о Шемакове. Какая-то неприязнь к нему осталась ото сна. Он наколол дров и беремя занес в квартиру. Когда пил чай, мимо окна бежали ребята, прошла Тося, по-

том Басов. Раздался звонок, и Иван Игнатьевич решил, что и сельпо открыто. По росной тропинке, по задам добрался он до крылечка и скрылся в дверях. После стакана красного Иван Игнатьевич хотел было поговорить о тетрадях и карандашах, но какая-то сила оторвала его от прилавка. Размашистым шагом он пошел в школу. В учительской сидел Шемаков, при виде директора он поморщился и схватился за голову.

— Иди! Иди к продавщице,— прошептал ему Иван Игнатьевич.

— Да нет,— отозвался тот,— я так непривычен, ничего. Пройдет.

— Вы знаете, я хотел сказать вам...— начал Иван Игнатьевич.

С этими словами и торопился в учительскую, так вот в одиночестве он и хотел застать Шемакова и сказать: «Давай на мое место, давай директорствуй. Характера нет у меня. Как я мог столько лет?» Но тут же испугался, и все в нем застопорилось, затормозилось.

— Что же сказать-то хотели, Иван Игнатьевич? — спросил Шемаков.

— Сходи тяпни стаканчик,— шепнул Иван Игнатьевич на ухо учителю, словно доверил какую-то тайну.

Алексей Васильевич Зверев родился в 1913 г. в с. Усть-Куда. Окончил Иркутский педагогический институт.

Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР.

Автор книг «Далеко в стране Иркутской», «Гарусный платок», «Раны», «Выздоровление» и др.

Живет в г. Иркутске.



Леонид Лебедев

В РОДНОЙ ДЕРЕВНЕ

Кругом народ, но радостных улыбок
Не вижу в самый теплый день весны.
И смотрят звезды красные с калиток
Глазами не вернувшихся с войны.

Они глядят отзывчиво и строго
Из тех непоправимых лет и снов.
Не знаю я ни одного порога
Без слез, без похоронок и без вдов.

И потому в минуты непокоя,
Когда раздумья растревожат грудь,
Я прихожу к могилам за рекою,
Чтоб в лица земляков взглянуть.

Здесь, где цветы алеют на погостах,
Где сердцу ближе боль родной земли,
Я понимаю, что совсем непросто
На белом свете выжить мы смогли.

БАЙКАЛ

Уснуло в горной колыбели
Голубоглазое дитя.
Над ним пронзительно метели
Полгода плачут и свистят.

Когда ж на склоны гор поднимет
Весною солнце жаркий луч,
И сквозь покровы ледяные
Тепло пробьется из-за туч,

И сбросит радостно природа
Наряды стужи и снегов,
В немолчном шуме ледохода
Услышишь звуки первых слов.

И голоса глухих селений,
И эхо дальних городов
Байкал заглушит громким пеньем
Волн исполинских и ветров.

ПРЕДМОРОЗНОЕ

Вспыхнет даль разноцветными красками.
Гром не грянет с лазурных небес.
И приду я с последними сказками
Погрустить в засыпающий лес.

И в шуршании листьев березовых,
Как в обрывках пророческих слов,
Мне послышится песнь предморозная
Беспризорных осенних ветров.

Призадумавшись, весны далекие
Вспомню вдруг, улыбнувшись слегка.
И такая, как небо, глубокая
Овладеет всем сердцем тоска.

ПЕСНЯ

Опять с березы опадают листья.
Протяжно стонет ветер за окном.
Горят, горят рябиновые кисти
И жгут мне душу розовым огнем.

Как много мыслей пасмурных и грозных
Проносят надо мною облака!
Близка пора ветров и бурь морозных.
Пора дождей и радуг далека.

Но вижу я все краски зорь весенних,
И слышу песни птиц и родников.
Глядит в окно приветливый Есенин.
Глядит в окно задумчивый Рубцов.

Пускай с березы опадают листья.
Они воскреснут после зимних снов.
Не отгорят рябиновые кисти
В краю берез, черемух и цветов!

О СЕБЕ

Я не мечтал пройти полсвета,
И не ругал чужих земель.
И вскормлен был не в Назарете,
В краю Иванов и Емель.

Мой род никак не марсианский.
Во мне бурлит земная кровь.
Я верный сыл дорог славянских
Наследник северных лугов.

Бываю грустным и веселым.
Стучусь в глухие стены лбом.
Мне достается хлеб тяжелый
Умом природным и горбом.

И неподдельной страстной лирой
Я славлю отчий свой народ
И отчий край, что спас полмира
От всяких дьявольских невзгод.

И я своей доволен долей.
И не страшусь ни бурь, ни гроз.
Цвети, цвети, родное поле!
И, сердце, слушай шум берез!





Николай Нагорнов

СУПЕРСТЕНА*

РОМАН

— Ты куда это в такую рань?

— Дела, отец. Общественные нагрузки. Едем обезвреживать всяких опасных спекулянтов.

— А, ну тогда ладно.

Знал бы ты, дорогой мой, как я недалек и вместе с тем далек от истины. Впрочем, это тебя вовсе не касается. будь благодарен судьбе за то, что я не взыскал два года назад твою жизнь за жизни моих, ни в чем не повинных дедов и прадедов, которых ты принес в жертву развитому социализму. Я изменил тогда свой приговор тебе — ты сделаешь для нас с бабушкой все, что в силах твоих, и уже через год мы с нею навсегда покинем эту Империю Зла с голубыми мундирами и преданным им народом. И уедем в далекую страну за океаном, где солнце пурпурное погружается в море лазурное и где не заставит меня никто изучать в университете всякий диамат, истмат и прочий мат... А ты... Ты останешься здесь и будешь достраивать ваш земной рай со штыками и колючей проволокой.

Два года назад, в тот достопамятный день, после встречи с Полем...

Поль... Ведь ты уже начал догадываться? От тебя трудно что-либо скрыть... Да — я создал собственную корпорацию, автономную от нашей с тобою. И ты не можешь расценивать это как неблагодарность и обман — ведь ты все два года сих нещадно эксплуатируешь меня. Этот чудовищный процент, самая черная работа, а ты лишь сливки снимаешь. Такова цена твоей дружеской заботе обо мне... Жаль, слишком поздно познал я ее. Точнее, вначале считал это само собой разумеющимся. Но — темпора мутантур, Поль! Ты ведь знаешь — более всего на свете я ценю независимость. Ты знал это еще тогда, два года назад, и ты словно намеренно подавлял ее во мне, очень любезно подавлял, даже элегантно. Ты утратил меру, Поль.

А знал бы ты, отец-иуда мой, как ты все же наивен и простодушен. Ты думаешь, я перековался, покаялся и решил стать правоверным комсомольцем? У меня, отец, уже давным-давно есть и комсомольский билет, где проставлены взносы за три года, и учетная карточка с огромным списком общественной работы и благодарностями за нее... Я могу уже и сам принять кого-нибудь в комсомол — хоть тебя или бабушку — пачка незаполненных комсомольских билетов в моем столе ждет своего времени.

И если бы ты узнал об этом, ты бы возмутился со всей партийной принципиальностью, и тебе даже не пришла бы в героическую твою голову мысль, что ты сам сделал возможным такой модус вивенди. Все продается и покупается — от комсомольских билетов и рекомендаций в партию до дипломов и жен. Ты сам и начал это еще тридцать лет назад, при

* Продолжение. Начало см. Сибирь № 2, 1990.

отце всех народов.

А с тобою, Кэт, мы сегодня проведем вечер в ресторане, и любезный мой приятель Витя будет заботливо ухаживать за нами и угождать нам тем, что в его силах. И потом я провожу тебя в твое университетское общежитие, а уж там... Вторая неделя, как идет наш поединок. Игра. Стратегические маневры. Моя цель — как можно скорее и с меньшими жертвами победить тебя, твоя — как можно дольше, изощреннее, искуснее сопротивляться. И в былые времена мне был важен результат, но позднее стал гораздо интереснее сам процесс поединка двух воль, двух характеров, двух умов, само чувство движения к победе, само разыгрывание стратегии и тактики, чередование ходов, смена фаз от дебюта до эндшпиля, разгадка замыслов противной стороны и своевременное упреждение их.

Но игра близится к концу, Кэт. Ты хочешь постепенно, плавно, неощутимо привязать меня к себе. Я нужен тебе. Чисто инстинктивная цель всех женщин... Но у меня вовсе нет желания видеть тебя во все дни жизни моей. Победа всегда скучна — цель пропадает.

А завтра я проведу вечер и ночь с тобой, Элен. Порция белого порошка, и ты снова полна жизни, ты снова непредсказуема, очаровательна, остроумна и весела... до утра, пока тебя не начнет ломать кумар.. Здесь игра тоньше, дольше, сложнее. Между тем все более начинает мне казаться, Элен, что я для тебя уже не Микрокосм со своими законами, мелодиями и красками, но словно лишь механический поставщик белого порошка животворного. Тем ты приближаешь финал.

Толпа сжимает со всех сторон, подхватывает и несет мимо старинных избушек и некрашеных заборов. Все как всегда — город пустеет воскресным утром. Ты рассказывала, бабушка,— до революции с воскресным рассветом Старый Город наш тоже пустел: все люди расходились по церквам. И если бы сейчас сторонний наблюдатель оказался в центре Старого Города и спросил бы кого-нибудь: «Почему такое безлюдье? Где полмиллиона ваших жителей?», любой ему ответил бы: «Ты что — с луны свалился? Сегодня же воскресенье — весь город на барахолке».

Лица раскраспелись, рты жадно ловят воздух, локти работают, как весла, пот градом — словно здесь, на берегу маленькой речки, на самой глухой окраине Старого Города раздают бесплатные билеты в Царство Божие. Сверхъестественное творение Столпа Вавилонского... Смешение языков и наречий...

Напрасно вы здесь не бываете, господа идеалисты. Взглянули бы, чем люди живы — вовсе не бесплотными идеями и верованиями вашими...

Прячут глаза под зеркальными темными очками. Униформа. Дубленка. Кожаный плащ. Джинсы. Шотландский шарф. Все на одно лицо. Где-то здесь Левченко должен работать. Надо понаблюдать за ним.

— ...нет, мужик. Гнилой базар! Два и два — не хочешь, не бери.

Тот мнется, чешется, раздумывает, но все-таки лезет за бумажником. «Рэнглер»! Молодец, Левченко. Научил я тебя, за два-то года. Два и два. Из них один и восемь — Полю, ноль тридцать пять — мне, и ноль ноль пять самому Левченко. Итого с двадцати пар — семь. Но ты, Поль, с каждой пары получаешь не менее ноль восьми — в два раза больше, чем я. Если не в три раза. Я ведь не знаю, по какой цене они тебе достаются.

— А, Артист! Поздравь — дела идут в гору.

— Сколько уже сдал?

— Восемь пар.

— Прекрасно. Давай отойдем — я тебе еще десять пар принес.

Подходим к забору, поворачиваемся спинами к толчее. Распечатываю пачку «Мальборо» — надо тебя материально поощрить. Кадры решают все, как говорили Генри Форд и Дейл Карнеги.

Берешь десять пачек «Рэнглеров», заклеенных в полиэтиленовые пакеты, и перегружаешь из моей сумки в свою. Неповторимая сине-белая ткань с лейблами.

— Ладно, пойдем. Время не ждет. Сейчас начинается самый разгар. Не зевай. Ниже двух и двух не сбавляй. Выше — сколько хочешь. Все твои будут.

— Понял, Артист. Усек и схватил.

...Красно-зеленый мохеровый шарф с белой этикеткой «Мак-Грегор» торчит из-за отворота волковской шубы. Накрашенная по-ресторанному девица замечает

этот шотландский ворс, останавливается, подходит.

Пачка зеленых и малиновых банкнот перекочевывает из ее кошелька с подмигивающей японкой в его карман. За отворотом шубы тут же появляется новый шарф. Ты прирожденный коммерсант, Волков. Хвалю за службу. И тут ты, Поль, грабишь меня. Волкову с каждого — ноль ноль пять, мне — ноль четыре, тебе — все остальное. Ты сам, Поль, и ведешь нашу дружбу к кризису.

— Артист, привет. Дело на мази — хватают с руками. Еще привез?

Хандаеву я держал в секрете от тебя, Поль, все это время. Но сейчас — пора. Завтра поеду к ней и предложу автономное сотрудничество — отец ничего не должен знать.

— Конечно. Давай отойдем. Больше одного и восьми не дают?

— Нет, Артист. Глухо, как в танке.

— Вот тебе еще пятнадцать штук. Действуй. Аут Цезарь аут нигил.

— Служу «Орлов Корпорейшн»!

Пачка шарфов перекочевала за пазуху волковской шубы, он развернулся и нырнул в толпу.

Такие «Рэнглеры» и «Мак-Грегоры» должны быть у вас на базе, госпожа Хандаева. По госцене ноль семь и ноль шесть соответственно. Тогда вам пойдет с «Рэнглеров» ноль пять с пары, мне — один, Левченко — ноль ноль пять, с «Мак-Грегоров» вам — ноль пять, мне — ноль шестьдесят пять, Волкову — ноль ноль пять. Вот это будет честный бизнес, Поль.

Где же сегодня Бейкер расположился? Теперь искать его... А времени уже 9 ч. 11 м ВС 6 АПР 1981 — светятся зеленые цифры. Время всегда летит здесь со сверхзвуковой. И какой небывалый наплыв сегодня. Весна... Если до конца все пройдет успешно, чистой будет около двух штук. Двух тысяч... А тебе, Поль, из моих рук — четыре четыреста. Нет, так больше нельзя. Надо что-то решать.

Смешно вспомнить, с чего начинал два года назад. Пленки, фотографии... Сначала по сотне за воскресенье, потом — по две, по три... Потом пошли джинсы, шарфы...

Вокруг Бейкера, как всегда, целая толпа.

— ...«Арабески» — это «диско», да?

— Да, — кивает Бейкер с достоинством. — Бери, не пожалеешь. Последний концерт, ни у кого еще нет.

Зёма с бычком в зубах дает Бейкеру три смятые пятерки и прячет в карман коробку с пленкой.

— Как дела, меломан? Сеем разумное, доброе, вечное?

— Сеем, Артист. Мы трудимся, чтобы жить, а не живем, чтобы трудиться, точно?

— Да. Ты неплохо усвоил философию. Диплом тебе подарить, что ли? Как себя чувствуешь в этих «Леви Страусах»?

— Ну, Артист! Чего говорить — как белый человек! Да если б не ты! Где бы я их взял всего за полторы? А с полсотней ты подождешь маленько, а, Артист?

— Лучше отдавать все сразу. А частями — дурной тон. Запомни это. Ладно, об этом потом. Как там у вас, во вверенном Тафисе партией заведении?

— Ну, ты чо... Такой шум. Настя Зосимову трясет — чтоб она тебя в комсомол принимала. А та ей: «Я его никогда не приму! Он... этот, как его? буржуазный капиталист!» Настя ее осадила: «Ты, мол, не выступай, принимай его живо и не рыпайся. Левченко с Труфаном пусть рекомендации пишут. А то кто его будет перевоспитывать в советском духе?» Зосимова тогда к Тафисе бегом: «Чо делать? Настя велит принимать!» Я там под дверью встал, сам понимаешь — чтоб знать все дело. Тафиса ей: «Принимай! Кто же воспитает Орлова коммунистическим борцом за идеалы ленинизма!» А она: «Нет, мол, Тамара Филипповна, таким не место в наших стройных рядах, и моя идейная принципиальность мне не позволяет, он всю школу растлил своим индивидуализмом...» Тафиса ей: «Да ты какой комсорг после этого! Я поставлю вопрос о твоем... как его?.. перевыборах». «Ну, Зосимова говорит, пойду в райком комсомола. Я, говорит, этого Орлова со света сживу». На том и разошлись.

— Отлично. Объявляю тебе благодарность за ценную информацию.

Настя в моих руках. У нее взрослые дочери, им надо одеваться, обуваться, импортной косметикой мазаться и так далее. Настя против меня и слова не скажет. Тафиса тоже повязана. Она уже, наверное, догадывается о моей папке, где собраны все материалы о том, как она распоряжается средствами, отпущенными на

ремонт школы и куда идет шифер, известь, доски и все остальное... Хотя у нее и муж в горкоме, это тоже не преграда. Если отдам эти документы отцу, он передаст их в областной народный контроль или — того лучше — в прокуратуру, тогда никакой горкомовский муж не поможет — сам слетит. А ты, правоверная комсомолка, страж ислама, решила начать войну против меня? И все твои обличения на собраниях: «Доколе, Катилина, будешь ты злоупотреблять терпением нашим?! Карфаген, построенный Орловым, должен быть разрушен!»

Поверь мне, Зосимова,— если бы вы, коммунисты, жили хотя бы по Моисееву закону, а то вышибаете глаз за взгляд и зуб за звук. Но я все же не стану опускаться до вашей каннибальской морали: «Если буржуй сожрал большевика — это очень плохо! А если большевик сожрал буржуя — это очень хорошо!» Но если подставить щеку под лобзания коммунистического кулака, то тогда... Так что не обессудь, мисс комсорг.

Бейкер поглаживает мои старые джинсы на своих коротких ногах и улыбается преданно, как верный пес. Ликование на глупом твоем челе. Помнишь ли, как под маузером на коленях стоял? Так-то, мон шер... Ты тогда понял некую истину. И теперь ты уже никуда не денешься от меня. Твой долг на сегодня уже полторы сотни.

И не один ты — все вы, «Орлов Корпорейшн», повязаны сотенными долгами. И если кто-либо из вас вдруг решит выйти из корпорации, он сможет это сделать лишь после расплаты по счетам. А для этого нужно опять же работать на меня. Вы в замкнутом кругу, моншеры мои. И вам никогда не расплатиться со мной — ведь для этого нужно экономить, откладывать, отказывать себе в маленьких радостях жизни вроде водки, сигарет, такси, кассет, походов в ресторан... А отказывать себе в этом ни у кого из вас не хватит сил. Для этого нужно быть хозяином своих страстей. А на сие способны лишь немногие. Вы — отнюдь не из их числа.

Сколь смешна эта нищета духа... Французский коньяк, черная икра, разряженные куртизанки — и вы уже на седьмом небе. Сколь же легко вам продать души ваши в обмен на этот иллюзорный блеск. И вы сами лишь жаждете найти покупателя своим душам и запродаться ему навеки. Но спрос на вас невелик, моншеры. Конъюнктура рынка в XX веке такова, что этого товара ныне избыток.

Через толчею продираться все труднее. Воистину, афинский рынок рабов. Что изменилось в жизни вашей, люди, за тридцать веков? Лишь форма торговли — раньше торговали захваченными в плен и обращенными в рабство, ныне — сами ми собой. Скучно... И смешно.

Вокруг тебя, Труфан, тоже толпа. Вертят в руках цветные фотографии Донны Саммер, «Бони М», Демиса Руссоса... Расхватывают «Мальборо», не замечая даже маленьких букв сбоку на пачке: «Изготовлено по лицензии фирмы «Филипп Моррис», табачная фабрика «Ява», Москва»... Царь Голод и три наложницы его: Царица Похоть, Царица Гордость, Царица Тоска... Пружинка за циферблатом жизни.

— Труфан, вот тебе еще сто штук и пять блоков. Как торговля идет?

— Отлично идет, по шершавому берут любую фотку. Можно и больше драть.

— Так не скромничай: устанавливай два. А «Мальборо»?

— По четыре.

— Взвинти до пяти. Сегодня его больше нет ни у кого.

На цветных глянцевых открытках полуголая Донна Саммер соблазнительно изгибается. Жадные руки покупателей мнут ее сладострастное тело и прелюбодействуют с нею взглядами. Спрос порождает предложения.

Полчаса одиннадцатого. Деловая часть окончена. Теперь можно и с вами поговорить, Шеф.

Странный вы человек... Все в вас странное. И это прозвище, и стиль жизни, и образ мыслей... Вы не укладываетесь ни в какой тип, ни в какую схему. А между тем стоит лишь пять минут провести с кем угодно на грешной Земле, и можно уже разложить всю его душу как интегральное уравнение: 1) мотивы, 2) философия жизни, 3) комплексы, 4) система ценностей, 5) маска, 6) основные слабости и пороки, 7) уровень развития и так далее, и так далее. Но с вами, Шеф, все обстоит куда сложнее. Тем вы и интересны мне. А более все-

го — тем, что у нас с вами много общего, хотя противоположного еще больше.

Вижу издали — говорите с кем-то, тот берет у вас книгу, отдает свою, вы склоняетесь над потертой сумкой, вытаскиваете другую, кладете на прилавок перед собой... Золотая восточная вязь на обложке: «Бхагавадгита».

И вы ведь могли бы неплохо выручать за всю эту языческую премудрость, но вы только меняете ненужное вам на нужное, и то — себе в убыток. Да и весь вид ваш совершенно не вяжется с этим окружением: трехрублевая кроличья шапка, суконные боты «Прощай, молодость!», облезлое пальтецо...

Замечаете меня, оборачиваетесь, улыбаетесь:

— Сегодня ты стал еще могущественнее, не правда ли?

— А вы сегодня стали еще мудрее?

— Во многая мудрости много печали...

Молча разглядываете свои разложенные книги. Дарите легкую улыбку толкающейся мимо нас между рядами толпе— всем вместе и никому особо. Обычную вашу улыбку... Вы улыбаетесь почти всегда. И улыбка ваша ни к кому не обращена — она не по поводу чего-то, а исходит откуда-то изнутри вас и вовнутрь себя же обращена, что-то в ней и горькое, и доброжелательное, и слегка насмешливое, и словно сожалеющее о чем-то, оставленном за горизонтом лет...

Странно... Рядом с вами так хорошо молчать и думать о своем... И в вас есть что-то сходное с Полем, как ни удивительно... Это особая уверенность в себе... Спокойствие ироническое, в котором кроется тонкая проницательность и несомненное знание... Усы, борода и аскетическая худоба отделяют вас от мирской толпы, и вы обозреваете всю эту торговую суету словно мудрый, седой орел с поднебесных высот.

— Вкалывай, энтузиаст, как велел Екклезиаст? Но Брахман, исходя из законов всеобщих, не должен жалеть ни живых, ни усопших. Так сказано вот в этой книге. О чем же печалиться, если никого и ничего не жаль?

— Это мудрость ветхого человека. Если она и годилась, так только до того времени, когда мир получил Откровение от Самого Бога. «И Слово стало плотию, и обитало с нами, но мир не познал Его». Люби мир, но не будь привязан к нему. Будь готов в любую минуту расстаться навсегда с теми и с тем, что дорого тебе. Вот о чем идет речь.

— Тогда зачем и жить, если ничто не дорого? И никто не дорог?

— Твое любимое слово — Брахман, аристократ. Что же отличает истинного аристократа от обывателя? Творчество, Андрей. В чем бы оно ни проявлялось. Духовный человек не потребляет — производит.

— Это все — прошлый век. А сейчас, когда творчество ценится ниже подметания улиц? Надо вначале утвердить себя в жизни, а уж потом, если позволяет время и достаточно средств, заниматься творчеством —чисто любительским, нисколько не надеясь, что кто-то его оценит...

— Ты не прав — все времена одинаковы. Если б былые аристократы духа чрезмерно заботились о материальном, они превратились бы в купцов. А если бы их волновало столь дорогое твоему сердцу могущество, то они стали бы чиновниками — в мундирах, в рясах, в сюртуках. «Волхвы не боятся могучих владык, а княжеский дар им не нужен... Правдив и свободен их вещий язык и с волей небесною дружен». Поучения Сократа не нравились властителям Афин — они присудили его к смерти. Он добровольно принял чашу с цикутой и спокойно отошел в мир иной. Без горечи и обиды. Без отчаяния и злобы.

— Но ведь главное условие творчества — уверенность в себе. А для этого надо оградить себя от посягательств черни снизу и от давления власть имущих сверху.

— На это уйдет вся жизнь, и никогда ни у кого не будет гарантии, что он полностью достиг такого мóдуса вивенди.

— Правой рукой творить, левой отбиваться от врагов, имя которым легион? И пусть правая не знает, что делает левая, как учил ваш Христос?

— Но враги бывают лишь у того, кто сам видит врагов в других людях.

— А, ну-ну! Молитесь за ненавидящих вас, благословляйте убивающих вас! Сами же говорите: «Мир не познал Его»! Как будто стоит мне перестать считать своих врагов врагами, и они возлюбят меня?

— Напрасно ты усмехаешься. Может

быть, они и не возлюбят тебя в сей же момент, но постепенно их ненависть к тебе выветрится. Против ненависти мира есть лишь одно средство — прекращение собственной ненависти к нему. Ты, очевидно, чувствовал не раз — встречаешься с незнакомым человеком и сразу понимаешь его желания и его отношение к тебе, а он еще и слова не сказал?

— Да, сразу чувствую. И обычно все низменные такие намерения.

— Проницательность у вас — на зависть. Не грех и поучиться...

— Так ты и сам тогда, наверное, уже догадываешься, что чувства и мысли передаются от человека к человеку помимо слов, жестов и даже взглядов. Недаром одних зовут чуткими — они могут сразу и без слов понять состояние души другого. А иных толстокожими или глухими, у них сердце слепо и глухо.

— Вы правы. Я давно подозреваю, что телепатия — не миф. Только у каждого к ней разная способность. Наверное, мысли и чувства излучаются из нас, как радиоволны, и припимаются нами от других...

— Вот ты и ответил, что будет, если ты свою ненависть и презрение погасишь в своем сердце...

— Ну да, выключу их в сердце, как диапазон на транзисторе, и включу «милость к падшим»! Как все просто у вас!

Снова все то же, что и Наташка два года назад: все человечество в далеком лучезарном Утре Завтрашнего Дня, ослепительная гармония, вот и надо возлюбить и пожертвовать... Там — коммунизм, здесь — Тысячелетнее Царство Христово при Втором Пришествии, вот и вся разница.

— Мы с вами уже говорили о цене прогресса, и вы соглашались, что сейчас идет невиданная деградация рода людского — до уровня обезьян, задний ход эволюции. На вашу или мою любовь они ответят камнями. Да и ненависть я могу заменить на полное равнодушие. Вот йог сидит в медитации — и хоть вся Земля провались, он и бровью не поведет. Да и сами вы не идете же в детдом пеленки стирать или мыть горшки в доме престарелых.

— Ты один не в силах спасти всех. Но вот идешь ты по городу, и из твоего сердца исходит любовь. Сто человек пройдут мимо и станут от этого немного чище и милосерднее.

— И к своим ближним отнесутся помягче? И совесть в них пробудится? И пойдут помогать вдовам и сиротам? Опять утопия...

— Но на равнодушие тебе ответят тем же. И на ненависть — ею же. Как ты разорвешь этот порочный круг, если сам, первый, не станешь любить людей, не дожидаясь взаимности?

Да, железный аргумент... Сразу и не ответишь. Нет, куда там Наташке. Тут уровень мысли совсем другой...

— Допустим, вы правы. Но разве не должен я тогда позаботиться о самозащите? Ведь любящий человек — самый уязвимый. Вот когда я буду так силен духом, что никому и в голову не придет в ответ на мою любовь подарить мне плевок — тогда и возлюблю. А пока такой силы у меня нет. Вот потому и моя цель теперь в том, чтобы навсегда оградить себя от чьих бы то ни было посягательств на мою честь и свободу. «Счастья нет, но есть покой и воля», помните? А наше время таково, что покой и воля есть вещи почти недостижимые. Вы достигли покоя и воли. Но какой ценой. Работаете сторожем за сто двадцать рублей в месяц. А я эту сумму зарабатываю за полчаса. Правда, и расплачиваюсь за нее беспокойством и несвободой... Но дайте срок — буду и я свободен и спокоен, как вы сейчас. И при этом не пожертвую ничем из того, чем пожертвовали вы. Ведь любой пьяный скот может оскорбить вас, и вы проглотите эту обиду. Любая женщина вам откажет, потому что вы просто не в состоянии прокормить ее и одеть. У вас нет денег даже на необходимые вам книги, наверное... Впрочем, все это мелочи... К чему мне любить кого-то, если будет атомная война и все погибнет? А не будет войны — люди сами выродятся в обезьян, что сейчас уже и идет полным ходом, и тогда все равно ничего не останется.

— И ты закатываешь пир во время чумы?

— А что же? Выпить цикуту, как ваш Сократ? А если он это сделал в рекламных целях? Чтобы прославиться в веках своим якобы мужеством и стойкостью? А если бы он точно знал, что всем бу-

дет наплевать на его смерть? Вы скажете, он поступил бы так же, поскольку он — духовный человек. Но что он изменил этим? Все равно ведь сейчас ни у кого не осталось ничего святого... Таких людей, как вы, во всем мире найдется едва ли тысяча. И вы к тому же никак не влияете на общее состояние мира. Так что эту тысячу можно и вовсе не принимать в расчет. А Бога нет. Если бы Он был, то откуда же явиться сталинским и гитлеровским концлагерям? Вот Дьявол, может быть, есть... А если нет Бога, то нет и загробной жизни — кто же будет там нас карать и награждать? И ничего святого нет, что и доказал двадцатый век. Хотя святое есть в душах таких людей, как вы. Но эти люди, как и вы, не в состоянии ничего изменить... И для того, чтоб хотя бы просто выжить в этом содоме, они должны отгородиться от всех мерзостей жизни десятислойными стенами. А такую Стену возвести непросто. Вот этим я сейчас и занимаюсь.

— И незаметно для себя становишься рабом. Привяжи руку к телу и проживи так год — потом отвяжешь, а она атрофируется. Так же и с душой, и с духом, и с разумом. Пока ты будешь возводить свои оборонные укрепления, все высшие начала заглохнут в тебе, и твоя Стена тебе просто не понадобится, когда будет готова. Но она никогда не будет готова,— это строительство перерастет в дурную бесконечность. Чем больше будет вырастать твоя Стена, тем сильнее будет оружие твоих врагов. А они у тебя будут всегда, поскольку ты не вырвал ненависть из своей души. И ты не можешь построить эту Стену в одиночку — тебе нужны помощники, строители, каменщики. Раньше ты сам стоял за прилавком рядом со мной, теперь они за тебя торгуют. Все это ты где-то добываешь, тоже небезвозмездно, надо полагать. И твои торговые операции все сильнее и сильнее затягивают тебя в сеть взаимных обязанностей, долгов, договоров, сделок... Ты уже сейчас не можешь обходиться без них, а со временем увязнешь навсегда. Вот ты сам себя и сделал рабом.

— Я — рабом?! Да я свободнее вас! Вы говорите о непривязанности — так я и не привязан ни к кому и ни к чему! Нет, вы ошибаетесь... Вы очень сильно ошибаетесь... Да, я принужден был отдавать часть своих доходов... Но теперь этому будет положен конец. Я к ним привязан?.. Вот что. Сегодня начало новой жизни. Я бросаю вызов всем и всему! Всему, перед чем люди испуганно тряслись веками. Я бросаю вызов самой Немезиде, Року, Фатуму, Богу! Я абсолютно свободен ото всех и ото всего! И я берусь доказать своей собственной жизнью — я не раб обстоятельств, времени, условий и людей! Я — господин! И никто не поставил и не поставит никаких пределов моей свободной воле! Никакие заветы, законы, предрассудки и условности! Я сам преступаю какой угодно завет и создам свой собственный! Боги, слышите мой вызов?

Десять секунд абсолютной всепроникающей тишины.

Синхронный звук наших пульсов.

Та же суета вокруг.

Где Твоя молния, Перун-Зевс-Юпитер-Иегова?!

— Вот! Вслушайтесь в эту тишину Неба! Их — нет.

Взгляд ваш пристален и серьезен. Вы ничего не отвечаете мне.

— ... так ты говоришь, Зосимова вчера билеты в драмтеатр распространяла?

— Ну. Да кто пойдет на этого ее Пауста или как там его...

Значит, сама она непременно пойдет... Вот тут и начать все... «Пауста». Да, Бейкер... Рожденный ползать летать не может.

— Когда спектакль?

— Сегодня, Артист. В семь тридцать,.

— Прекрасно. Сейчас ты поедешь к ней домой и под любым предлогом узнаешь ее ряд и место. Потом приедешь ко мне и доложишь. Если меня не будет дома, оставишь записку. Все понял?

Бейкер отдал пачку денег — всю выручку за вычетом положенной ему доли, подхватил пустую сумку и рванулся к выходу.

Стоп. Надо узнать, есть ли у нее поклонник... Если есть, то кто он, что собой представляет и как лучше вывести его из игры. Я вам всем покажу, какой я раб! Обличители...

— Артист, все путем.

Левченко затягивает молнию на своей сумке и отдает пачку банкнот.

— Слушай, у Зосимовой есть кто-нибудь?

— Есть один хмырь — Степанов из десятого «Г».

— Отлично, Левченко. Сегодня вечером нам нужно вывести его из игры. Он должен позвонить Зосимовой, оскорбить ее и сказать, что больше знать ее не желает. Действуем все вместе.

— А-а... Понятно и схвачено, Артист! Если чо, мы его малость заглушим!

— Да, ты все верно понял.

— Кого глушить будем, Артист?

Вот и Волков с Труфаном подтянулись.

— Зосимовского хахаля будем глушить, мужики.

— Да. Левченко ввел вас в курс дела. Встречаемся в двадцать три часа тридцать минут у его дома. Уж к этому времени он у себя будет. Сколько сегодня заработали, господа бизнесмены?

— На водяру хватит, Артист. Держи.

И еще две пачки купюр перекочевали в мою сумку. Вот и окончен очередной трудовой день, 14 ч 27 м ВС 26 АПР — светятся зеленые электроцифры.

Так что мы еще поглядим, Шеф, кто из нас раб, а кто — господин в мире сем... И ты, Поль, сегодня почувствуешь это... Пришло время! Я догнал тебя всего за год. Ты не ожидал такого натиска? Да, Поль... Главная опасность после разрыва с тобой — крыши не останется. Твоей крыши. Некий майор Шахнович из ОБХСС. По протекции которого никто не трогает здесь ни меня, ни мою четверку. Но и это не опасность, а лишь иллюзия — мой достопочтенный отец есть крыша куда более надежная. И если она почему-либо не сработает, я просто-напросто перекуплю у тебя твоего Шахновича или даже весь этот ОБХСС. Жребий брошен! Рубикон — за спиной!

— Благодарю за службу, господа.

— Зиг хайль «Орлов Корпорейшн»! — взрываются приглушенным хором три глотки.

— Да, Бейкера найдите и передадите — в двадцать три тридцать.

Сейчас скинутся и пойдут в ближайший винно-водочный. Но пить будут в меру. Хорошо понимают — если к вечеру будут невменяемыми, я их разжалую и они останутся безработными с сотенными долгами передо мной. За которые им никогда не рассчитаться без моей же помощи...

А вы, Шеф, говорили...

Милиция у выхода расслабленно покуривает. И вы тоже, стражи порядка, еще будете мне честь отдавать. Наступит время, дайте срок... Впрочем, скоро эти четверо — персонал мой — станут здесь действовать и без меня. Лишь чисто спортивный азарт приводит еще меня сюда. Но это — как привычка, как еженедельный ритуал.

Жребий брошен. Пора рвать и с тобой, Элен. Не рабство ли поставлять тебе каждую неделю этот белый порошок, без которого ты уже не можешь жить? Да и жаль мне тебя... Сейчас тебе, быть может, еще не поздно завязать, но скоро, думаю, будет уже поздно. И этот твой апломб, и эти неудовлетворенные амбиции... Нет, ты, безусловно, весьма талантлива, но чем я могу помочь тебе? Если бы у меня были знакомства в московских театрах... А ты не успокоишься, пока не доберешься до московской сцены. Но ты туда ни за что не доберешься, пока не завяжешь с этими укольчиками. И твои пассии, Элен. Ты думаешь, я не знаю, что ты делишь ложе не только, и не столько, замечу в скобках, со мной, сколько с твоим главрежем и одновременно с директором театра? Финита ля комедиа, Элен. Переполнилась чаша сия. Сегодня же и поставлю тебя перед фактом. Тебе будет чудовищно тяжело первые дни, но если ты сейчас не отвыкнешь от него, то потом уже...

Опять эта старушка сидит тут, у забора. Толпа прошла, и хоть бы кто ломаный грош подал... Сфотографировать бы ее, сморщенную, трясущуюся, от земли два вершка, с протянутой рукой... Нет, она просто держит сжатой свою крошечную руку, а когда кто-нибудь проходит мимо, она разжимает ладонь, где лежит копеечка. Но никто ей на хлеб не подает... Сфотографировать бы и отправить фото тем, кто каждый день воспевает мощь наших несокрушимых успехов... «Все во имя человека, все во благо человека»... Сволочи.

— Возьмите. Бог вам в помощь.

Старушка принимает мою двадцатипятирублевку, в глазах удивление, и слезы вдруг выкатываются из глаз ее.

— Спаси тебя Господи, добрый чело-

век...— говорит она тихонько плачущим голосом.

Ты меня спаси, старушка... Увидел вот вдруг тебя, и так на душе горько... Сам-то я не так же ли... Давно ли, кажется, был тот день, когда ждал Поля в парке... И если бы нашелся тогда кто-нибудь и сказал мне слово... Одно лишь слово. Но никто не нашелся.

Разве только Шеф... Если Шеф прошел мимо старушки, то он, конечно, дал ей что-нибудь... Кроме него, некому было, просто не заметили здесь ее.

Все. Хватит. Ловить такси и ехать к Полю.

Сумка приземляется на заднее сиденье. Таксист в зеркало не увидит? Нет. Сейчас — пересчитать всю выручку...

Нет, Шеф,— жребий брошен, вызов принят. Рубикон — за спиной.

Да, Поль, потребовать увеличения процента. И ты, конечно же, не согласишься, тогда я скажу тебе... Скажу тебе... «Поль, это несправедливо». Ты улыбнешься и ответишь что-нибудь вроде: «Отчего же? Со временем — увеличу, а пока — учись, развивайся...» Тогда скажу тебе: «Я учусь у тебя уже два года и научился всему. Если ты отказываешь, я вынужден выйти из игры». Ты отвернешься, щелкнешь зажигалкой, закуришь и ответишь: «Глуп ты еще, Орлов... И неблагодарен». И заломишь неустойку... Тысячи в три... Или в пять... Но я тебе отдам ее. Ты ведь не знаешь, что мне не составит труда выплатить тебе любую неустойку. В пределах реального любую. До десяти тысяч.

Звонок внутри твоей квартиры — и шаги за дверью. Неторопливые шаги.

Улыбка. Галантный жест: от двери — вглубь:

— Прошу, мой юный друг, мой друг бесценный. Каковы наши успехи??

— Успехи велики, Поль. Твои успехи всегда велики — получи. Семь двести. А вот мои успехи...

— Присаживайся вот сюда, мой друг. Сигарету бери. Тебе водки или коньяка?

Подходишь к «стенке», открываешь зеркальный бар, твоя японская аппаратура отражается полированными гранями в туманном блеске стекла, достаешь плоский флакон «Уайт хорс», щелкаешь клавишей сониевского кассетника, цветные прожектора под потолком вспыхивают световсплесками в такт электронному пульсу синтезаторов...

Все идет своим чередом. Все — как всегда. Вот сейчас ты обернешься, металлический отблеск мелькнет во взгляде твоем. Столь притягательный для меня некогда... Словно летящий поток огня проникал в душу с отблеском этим, и титаническая твоя энергия, несокрушимая в силе своей, вливалась в меня и переполняла каким-то неизъяснимым восторгом, восхищением и порывом...

Вот сейчас ты обернешься...— но бессильной окажется уже магия взгляда твоего, и ничто, ничто во мне не взметнется в ответ.

Ты прав, Шеф. Я впал в худший вид рабства — в добровольный. И перед кем? Перед этим сверхсамоуверенным и беспредельно убежденным в моей преданности человеком, что наполняет в этот миг бокалы...

— Прошу, мон шер ами.

— Нет, благодарю. Я себя неважно чувствую.

Что изобразилось на лице твоем? Словно легкое недоумение? Что за нарушение ритуала? Ты уже догадываешься, какой разговор собираюсь начать с тобой? Разумеется. Но ты — непревзойденный лицедей. Куда там Элен... Ты будешь разыгрывать недоумение, если это понадобится тебе. Смешно это, Поль. Любезнейшая улыбка для маскировки акульих клыков.

И сам, и сам попадаю в эту паутину — сам изображаю любезную улыбку вместо того, чтобы сказать тебе без риторических фигур...

Раб! Раб! Раб!

Улыбаетесь, Шеф, усмехаетесь, рассмеиваетесь... Улыбка вне протяжений отделяется от лица, взмывает ввысь в плавном полете, растягивается резиново в воздухе километровой презрительно-извилистой линией — исполинские раздутые буквы выплывают из улыбки, пузырятся:

Раб!

— Как хочешь, мон шер. Итак, ты не удовлетворен своими успехами. Я верно понял?

— Абсолютно верно.

— Расширяй рынок. Поднимай цены. Это не торговля — это творчество. Зачем

повторять прописи... Что стряслось с тобой?

Вот она, эта минута. Если упущу ее сейчас...

— Дело не в этом, Поль. Целых два года я учился у тебя. И сейчас уже умею все. Но ты словно не замечаешь этого. Теперь мне по силам уже гораздо большее.

— Я понимаю тебя. Но ты преувеличиваешь свои способности. Тебе многого еще недостает.

— Чего же?

Разговор раба с господином... Еще не хватает разве лишь встать перед тобой навытяжку и заслушать список собственных несовершенств... Вассал преклоняет колени перед сюзереном... «Благослови, отче!» И в ответ благостное: «Абсольво тэ...»

— Проницательности. Ты не умеешь еще быстро и точно определить мотив поступка. Не можешь верно понять ситуацию и найти единственно подходящий способ ее разрешения. Плохо разбираешься в людях. Путаешь сумму абстрактных знаний со способностью принимать верные решения в сложных ситуациях. Умом называется второе, а не первое. Тебе надо еще учиться и учиться этому. Ты хочешь, чтобы я прибавил тебе процент? Хорошо. Бери с «Рэнглеров» и «Мак-Грегоров» на десять больше.

Какое великодушие! Барин дарит лакею поеденную молью шубу со своего плеча. Лакей должен выражать ликование в виде аплодисментов и криков «Ура!»... Нет, Поль, ликования не будет.

— Поль, ты получаешь с каждой пары в два раза больше меня. Я думаю, пришло время уравнять доходы.

Ты медленно отпиваешь из своего бокала. Щелкаешь зажигалкой — облачко ароматного дыма наплывает на меня. Ты молчишь. Я ввел тебя в сильное замешательство? Вот и видно, кто из нас лучше принимает решения в сложных ситуациях.

— Что с тобой случилось, либер фройнд? Тебе понадобилась крупная сумма? Я могу предоставить ее тебе в долг.

— Нет, дело вовсе не в этом.

— В чем же?

Ты взглянул мне в глаза — вот он, этот металлический отблеск взгляда твоего! Но... Поздно, Поль. Ты утратил свою магическую власть надо мной.

Но что-то подталкивает меня, встаю, подхожу к книжным полкам. Ряды суперобложек с латинскими буквами на корешках. Жан-Поль Сартр. «Летр э неан». «Бытие и ничто». Стекло отражает мое сосредоточенное лицо. Бытие... и ничто, в которое низвергнусь, если не отвечу тебе сейчас то, что должен ответить. Спокойно, сдержанно, без вульгарной аффектации.

— Ты не ответил мне, Поль.

Неплохо. Хотя, можно было и лучше. Но — твердость и сдержанность есть.

— Странно, откуда в тебе такая жадность? Ты счел унизительными для тебя наши отношения?

Ты тоже встаешь, подходишь ко мне... Ставишь бокал на журнальный столик, стряхиваешь пепел. Автоматически повторяю твое движение, но пепел моей сигареты падает мимо — на полированную поверхность столика. Ты — не замечаешь. А может быть, делаешь вид, что не замечаешь... Если не смогу сейчас достойно ответить тебе... Неан. Вечное НЕАН!

— Значит, ты отказываешь мне, Поль. Что же... Значит, у меня один выход — отделяться от тебя.

Или я воистину недостаточно проницателен? Этот наш диалог представлял себе гораздо примитивнее... Урок на будущее. Ты много тоньше, нежели думал о тебе.

— Хорошо, мон шер. Но после того, как ты выполнишь последний долг.

Достаешь из «стенки» пачку пакетов «Рэнглер», протягиваешь мне. Ты абсолютно спокоен. В чем-то я просчитался.

— Вот. Всю сумму — мне. И можешь отделяться.

Не изменилась ничуть твоя любезнейшая улыбка. Не изменилась даже интонация голоса твоего. Воистину, не мешало бы мне еще и еще поучиться у тебя такому блестящему владению собой... Но что теперь! Жребий брошен!

Надо брать.

— Да, Поль. В следующее воскресенье я отдам тебе всю сумму за них.

А не отдать ли прямо сейчас — из своих? Нет, ни в коем случае... В этой пачке двадцать пар, тогда за нее — четыре четыреста... И у тебя сразу появится

вопрос: откуда такая сумма при себе? И ты поймешь, что я... Нет, надо брать. Именно так — в следующее воскресенье.

— Благодарю тебя за все, Поль.

Идешь в прихожую проводить меня. Как всегда.

Пачка падает в сумку. Молния застегивается. Позади дверь твоя щелкает автоматическим замком.

Теперь — расслабиться, расслабиться... Отпустить все тормоза, выкинуть из памяти эти два часа... Предстоит великолепный вечер с нимфой-Зосимовой. И — разрыв с Элен. Хотя перед спектаклем было бы, пожалуй, несколько жестоко с моей стороны... Вот — снова эти реликтовые понятия! Жестокость есть необходимое и неизбежное средство для достижения цели. И — кончено с этим. Далее — вывести из игры твоего Ромео, Зосимова. А перед этим с Кэт... Нет, ресторан отменяется — пора ставить тебе мат, Кэт. Ты уже готова к этому.

Теперь вы видите. Шеф? Вы катастрофически ошиблись во мне. Вот если кто не разбирается в людях — так это вы!

— Андрюшенька? Ты где же так долго был?

— Дела, бабушка. Надо обеспечивать наше с тобой будущее. Вот тебе — на хозяйство. И на свечи.

— Пятьдесят рублей... Откуда, Андрюша?

— В спортлото выиграл.

— Оставь себе, у меня есть.

— Нет, это тебе. Молебен закажи...

— Спасибо тебе, милый... Ты такой заботливый у меня. Благослови тебя Господь. К тебе твой приятель приходил, записку оставил...

Бейкер. Объявляю тебе благодарность за успешное выполнение операции. Вот она: «У Зосимовой шыстой рят портера. место четырнацать». Ты в моих руках, обличительница.

Телефон выжидательно глядит циклопическим глазом своим. Сейчас.

— Элен, это я. Мне нужны контрамарки на сегодня в ложу.

— Что же ты так поздно, мой друг? Две? Хорошо, я постараюсь.

— Окей, Элен. Зайду к тебе перед спектаклем.

А это кто почтил нас своим появлением?

— Труфан? Ты что это? Снова под градусом?.. Брат, говоришь, приехал? Ивок? Наверное, йог? Ты что, ничего о йогах не знаешь? Темнота... Ну и что он?.. Йогнутый? Как и ты? Ха-ха... Водки? Нельзя же в день по полсотни пропивать. Мне такие не нужны. Уволю тебя, и ступай на все четыре стороны... Ладно, держи. Но если в одиннадцать тридцать тебя не будет у дома Степанова, пеняй на себя..

Труфан, Труфан... Несчастное существо... Что от тебя осталось за два года? Спиваешься на глазах. Надо будет как-нибудь встретиться с твоим братом-йогом. Если он действительно йог, найдется чему поучиться у него.

Итак, Кэт, белые начинают. Еду в твой дортуар.

Продираюсь сквозь буйство дискотечной толпы, беру тебя за руку, ты оборачиваешься.

— Пойдем, Кэт. Разговор есть.

Послушно следуешь за мной, вцепившись в мою руку.

Университетское общежитие. Раньше были пансионы благородных девиц, а ныне подготовительные курсы для комсомольских гейш.

— Что нового в вашем благородном заведении, Кэт?

— Все старое... Историю средневековую грызем. Такая тоска...

— Отчего же? Нель меццо дель каммин ди ностра вита ми ретровай пер уна сельва скуре... Суровый Лант не презирал сонета... Золотое время.

Впрочем, чего это я разглагольствую? Ты торговка, Кэт. Купеческая дочь. Вайшья, как сказал бы я два года назад. И в вашем университете все такие. Литература — дело партии. Нечего тут всякий реакционный символизм разводить...

Дверь второй комнаты захлопнулась за спиной. Жалкая каморка на четверых, как и все комнаты во всех общежитиях. Как и та достопамятная сто шестьдесят четвертая в инязовском, где некогда Истомина...

— Ладно, шутки в сторону. Я сегодня приеду к тебе около двенадцати, спою серенаду под твоим окном, прочту тебе монолог Ромео, и мы удалимся под сень благоухающих струй...

— Ах, поручик Орлов, не говорите красиво. Легко вам беззащитных деву-

шек соблазнять. Вы ведь щедры, господин поручик, не правда ли?

Ясно, куда ты клонишь. Не скрою, еще прошлой весной меня опьяняла такая доступность, такая простота средств... Какие там монологи Ромео — флакон французской «Шанели» или шарф «МакГрегор», и распахиваются любые врата стыдливости. Но сейчас это уже прискучило... Но — не подам вида, Кэт. Игра продолжается. Мне лишь интересно, какую цену ты заломишь.

— И вы не откажете бедной девушке в ее мечте, мистер Орлов?

— Ради твоей красоты я готов на все.

Сейчас не выдержу и рассмеюсь над тобой и сам над собой.

— Какая же у тебя мечта, милое дитя?

— Всего лишь скромные «Рэнглеры» для бедной студентки...

Вот ты и раскололась.

— У меня с собой, к сожалению, джинсов нет, но наличными найдется. Вот твои двести двадцать. Раздевайся.

Господи... Только бы не рассмеяться... До того все правдоподобно... Ты смотришь на совершенно реальную пачку денег в моей руке, переводишь взгляд на меня, снова на пачку денег, берешь, наконец, ее из моих рук и прячешь к себе в сумочку. И совершенно реально снимаешь кофточку через голову, не отводя глаз. Игривая улыбка танцует на лице твоем как гурия райская перед персидским шахом. Плакать мне над тобой или смеяться?

— Я пошутил, Кэт. Одевайся. Оставь эти деньги себе как подарок.

Танцующие руки замирают на застежке бюстгалтера. Улыбка слетает с лица твоего. Ты растерянно глядишь на меня и словно что-то сказать хочешь, но не можешь выговорить.

Не понять тебе этого, Кэт...

Но я уже подхожу к двери и открываю замок.

Нель меццо дель каммин ди ностра вита, я очутился в сумрачном лесу. Вот кто раб, Шеф. Вот кто одержим Люцифером, Поль. Ты прав, старик Шекспир: мир — театр, люди — актеры. Блестящая развязка игры. «Змей соблазнил меня, и я ела...»

Женщину можно оскорбить только одним — отринуть ее, когда она предлагает себя, Амен, Кэт. Абсольво тэ.

— Добрый вечер.

Вахтерша в театральной проходной приветливо улыбается. Смешно и вспомнить, как приходилось два года назад продираться и прорываться через привратников.

— Вы к Елене Анатольевне, Андрей? Добро пожаловать! Она у себя.

Надо же было оказаться тому шприцу с героином два года назад, когда пришел к тебе после бара, после Истоминой... Никто тебя не принуждал ширяться, никто не соблазнял. Женское любопытство неуемное. «Змей соблазнил меня, и я ела»... С того все и началось.

Нежная Гретхен сидит перед зеркалом и грустно улыбается сама себе. Контрамарки лежат на столике. Благодарю, Элен.

— Мой юный друг? Наконец-то... Я уже беспокоиться начала. Вот — как ты просил. Два в ложу. Принес?

Первый твой вопрос всегда. Вот истинное рабство, Шеф. Не перед человеком даже — перед белым порошком.

— Служитель муз обязан быть сдвинутым по фазе, не правда ли, Элен? Человек с нормальной психикой к творчеству не способен. Человек — поганый царь природы, всякое глубокое чувство, всякая серьезная мысль для него аномалия...

— Что с тобой, мой Ромео? С чего это вдруг ты пустился философствовать?

— Почему ты никогда не рассказываешь, что ты там видишь, когда вколешь эту белую смерть?

— Разве можно передать слепому цвет неба на закате или блеск искристого снега под солнцем?

— Может быть, мне тоже попробовать? Устали глаза видеть одну и ту же пьесу о жизни человеческой...

— Нет, лучше и не пробуй. Потом не отвяжешься от этого, как я не смогла. Тебе ли о чем-то жалеть, милый друг мой? Все в твоих руках пока еще...

То, что надо. Разговор выстраивается как бы сам собой к тому, к чему мне нужно его привести.

— Так ты раскаиваешься? Ты считаешь, у тебя уже не хватит сил бросить шприц навсегда?

— Наверное... Но чего теперь стоят мои раскаяния?

— Элен. Ты видишь меня сегодня

в последний раз. Никогда больше ты не получишь от меня этого дьявольского порошка.

— Ты в своем уме?

Словно током тебя ударило. Ты вскочила из-за зеркала, подошла ко мне, побледнела...

— Я умру без него, слышишь?

— Скорее ты умрешь от него.

Да, Элен, это жестоко, я знаю. Но иного выхода нет. Ты стала рабой порошка, а я — рабом твоей страсти к нему. Собери последние силы, Элен.

— Ты перестрадаешь неделю, зато потом...

Твой взгляд остановился. Ты не веришь... Ты не ожидала...

— Успокойся. Тебе скоро на сцену. Так надо. Вот тебе последняя порция. Прощай.

Гримерная выписывает в глазах моих параболу сверху вниз, слева направо. И ты вместе с гримерной отъезжаешь куда-то вбок и назад, как отъезжает перрон с провожающими от поезда.

— Постой...

Твой голос прозвучал, огибая полузакрытую уже дверь, и унесся вдаль по бесконечным коридорам, переходам, лестницам, запутался в них среди каменных извилистых плоскостей и исчез...

Никто не сопровождает тебя, нимфа-Зосимова. В гордом одиночестве пришла ты в этот Храм Искусства. Тем лучше.

Берешь билет из рук пожилой контролерши, идешь к гардеробу, лицо совершенно безоблачное. Никаких забот и тревог, никаких мучительных сомнений и дурных предчувствий не видно на нем. Вечный сон души...

— Добрый вечер, Мари. Вот уж не ожидал увидеть вас здесь.

Обернулась. И, кажется, даже слегка вздрогнула. Такой сюрприз, такое невероятное совпадение, такое случайное столкновение, еще бы... Лишь вчера ты вершила мою судьбу, а сейчас...

— Какая встреча! Я-то думала, ты, Орлов, только на барахолке бываешь.

Глупый укол самолюбия. Ты прекрасно знаешь, чем я живу. Но парирую:

— А я думал, ты только классиков марксизма-ленинизма зубришь, а со всякими реакционными дворянскими драматургами идейно борешься, поскольку они проповедуют махровую мистику вроде появления Дьявола в пентаграмме. А мистика существует, Мари. Объективно, то есть вне нашего сознания. В чем я дам тебе возможность убедиться через пять минут. А пока позволь поухаживать за тобой.

Вежливо отнимаю твое пальто, шарф, шапку и подхожу к гардеробщице.

— Какой галантный рыцарь,— слышу за спиной твой насмешливо-независимый голос. Снова в десятку. Это интонация — лишь вид пассивной обороны. Ты уже, быть может, не в состоянии нападать первой. Берешь из рук моих номерок. Что-то новое мелькает во взгляде твоем.

— Пойдем, Мари. Здесь рядом очень уютный зал — посидим там.

А лучше, пожалуй, и не хиромантию, а по глазам твоим прочесть.

Устраиваемся на диване в пустом зале, увешанном портретами.

— Глаза — зеркало души, Мари. По твоим глазам я могу прочесть все, что на сердце у тебя. А глаза твои — удивительны. Как, впрочем, и вся ты удивительна сегодня... Где та прежняя Мари — комсомолка и активистка в стандартной коричневой форме?

Откуда появилась эта чарующая фея, каждое движение которой пронизано необычайной грацией? Откуда это сияние в глазах твоих? Сосредоточься, Мари. Думай о своем билете. Вспомни ряд и место, на котором ты сегодня должна сидеть.

Беру твою ладонь, но гляжу тебе в глаза.

И снова твой взгляд слегка изменился. Ты не ожидала такого поворота? Надо как можно скорее и сильнее выбить тебя из привычного твоего состояния и отношения ко мне, разбить одним ударом твои стереотипы. Меня уже подхватила волна вдохновения — теперь только держись, Мари!

— Сегодня ты сидишь в партере на шестом ряду. Место номер четырнадцать. А генитура твоя плохая, Мари... Ты нарушила великий закон природы. Поэтому в ближайшие дни тебя ждут крупные разочарования в близких тебе людях. Но вместе с тем тебя ожидает и великое счастье, если ты осознаешь свою роковую

ошибку и перестанешь противиться Небесной Воле.

— Странный ты сегодня, Орлов...

Это все? Да, ход рассчитан верно. Я выцарапал тебя из панциря. Ты думаешь, я должен относиться к тебе, как к злейшему врагу. Стереотип. Я же веду себя как раз наоборот. У тебя нет сейчас никакой программы по отношению ко мне. И чтобы она появилась, требуется известное время. Но ты в цейтноте. Который я к тому же усиливаю с каждой минутой. Ты ждешь от меня хода пешкой на Е-4, я иду ферзем на С-5.

— Я думаю, мы устроимся в директорской ложе, Мари. Оттуда тебе лучше будет видно, не правда ли? Идем, Мари. Почему у тебя такой удивленный взгляд? Ты привыкла относиться ко мне как к врагу. Но напрасно, поверь... Я очень сожалею, что между нами возникло такое странное недоумение. И антракт мы проведем с тобою вдвоем. Мы устроимся в буфете, выпьем немного шампанского и поговорим обо всем совершенно откровенно.

Не спеша идем по коридору ко входу в ложу. Ты взглянула на меня, потом опустила взгляд, снова взглянула мне в глаза и кивнула:

— Ладно, Андрей.

Три-ноль в мою пользу. Видел бы ты меня сейчас, Поль... В людях я не разбираюсь, ты говорил? Смотри... Не умею принимать единственно верного решения в сложной ситуации? Убедись сам. А вы, Шеф, и вовсе просчитались...

Старец обложен фолиантами. Старец сокрушен. Старец чертит на полу пентаграмму — знак Микрокосма. Знак Внутренней Вселенной.

Клубы дыма вырываются из пентаграммы...

Микрокосм... Внутренняя Вселенная внутри меня... Сотни людей связаны между собой причудливыми переплетениями, сотни событий... Каждый день, каждый час происходит нечто между ними, и я влияю явно и неявно на эти переплетения... Но ничего неожиданного не происходит ни в Микрокосме, ни в Макрокосме — все идет установленным изначально чередом. По колее — ни шагу влево, ни шагу вправо. Как же все это приелось и прискучило... Что за дьявольская насмешка: с каждым днем душа жаждет новых и новых чувств, неизведанных и свежих впечатлений, расширяется уже сверх всякого предела — вбирать в себя неслыханную еще музыку, впитывать невиданные пьесы и фильмы, неведомые повести и романы, лики юных дев, нецелованные, неизведанные... И чем более душа жаждет нового, тем менее находит... И уже всякий раз ясно до боли — подобные книги уже читал, сходную музыку уже слышал, похожую юную леди уже встречал... Кажется, весь Макрокосм удивительно мал и... до такой степени похож сам на себя, что челюсти сводит от скуки... Вот и все твое патентованное счастье, Поль. Вот и все, чего я достиг под твоим гениальным руководством за целых два года — скуки мертвяще-свинцовой. Как сам ты не устал от бесконечных импровизаций на одну и ту же тему?

Весь Макрокосм со всем его искусством, людьми и историей... Кому-то, быть может, и не надоедает переставлять раз за разом в новых сочетаниях какие-то десять мыслей, десять характеров, десять страстей, семь нот, семь цветов радуги, три жанра, пять амплуа, двадцать четыре тональности, а другим — наслаждаться одной лишь новизной сочетаний и перестановок одного и того же... Но я уже насыщен — дайте новые тональности, тембры, цвета, характеры, мысли! Нет, нет, бедна у вас фантазия, сыны человеческие... Слишком человеческие... Слишком... Почти все, почти все уже познал, испытал, увидел, услышал, изведал... Что же дальше? Чем жить потом? И для чего? Иной раз какие ведь только мысли в голову не лезут — лишь от скуки... Хоть, как Клеопатра, золотые булавки втыкай в груди нагих невольниц и следи за игрой чувств на их лицах... Черт знает даже что такое...

Вот и эта игра с тобою, дерзкая девочка...

— Выпьем за искренность и взаимопонимание. Надеюсь, устав ВЛКСМ шампанское не запрещает?

— Андрей, почему в тебе столько шутовства?

Отпиваешь шампанское, не отводя взгляда.

— Ты замечала, что в пьесах Шекспира шуты — самые проницательные и умные люди? Потому они и актерствуют, чтобы никто этого не понял. Шуты, к несчастью своему, наделены способностью под оболочкой событий и людей видеть их истинную сущность... Под лицемерным наименованием... Вот, например, человек. С чего он начал? «Я — сын Бога». А кончил? «Я — обезьяна, у которой случайно переразвился мозг». Есть тут над чем задуматься, не правда ли? Или вот этот бутерброд с ветчиной. Ведь это кусочек вареного трупа коровы. Или наша советская свобода-равенство-братство...

— Ну, это не так...

— Что — не так? Слуги народа — и на черных «Волгах»? Мне вот часто такая картина мерещится: грязный сифилисный наркоман, с гнойной пеной на губах, хватает за ногу чинного обкомовского работничка: «Спаси! Я твой брат!» А тот его отпинывает ботиночком лакированным. Кругом московские небоскребы, реклама бесится, неон сверкает, «Мерседесы», стриптиз, блеск мишуры, и тут — ураган плазмы, смерч огня, рев, стоны, атомный гриб вырастает в небе, и люди — растоптанные, обгорелые, мясо с костей отваливается... И вдруг — Великая Улыбка в Небе — Человек в Белых Одеждах идет по облакам, и от взгляда Его никто не может укрыться: «Истинно, истинно говорил Я вам: не пройдет род сей, как сбудется все, реченное Мною». И тут... Тут я таким горьким смехом засмеюсь...

— Ты знаешь, Андрей, я как-то не думала... Что ты за человек, вообще...

— Кто знает, Мари, что я за человек... Ты любишь равенство, Мари. Веришь в него... Но оглянись вокруг — не кажется ли тебе, что сама Природа совершает каждый день величайшую несправедливость и сама устанавливает неравенство? Одного производит на свет умным, другого — глупым, одного — сильным, другого — слабым, одного — благородным, другого — подлецом? Как же такие люди могут быть равны в жизни? И зачем их искусственно уравнивать? Из этого и выходит один только хаос и развал. Что мы и видим вокруг. А если искусственно уравнять, скажем, Элен Ветрову и гардеробщицу в этом театре...

— Но ведь все равно они... А ты откуда знаешь, что из себя представляет Ветрова?

— Я знаком с ней давным-давно. Могу и тебя познакомить. Хоть сейчас. Пойдем? Она у себя в гримерной.

— Нет, Андрей, не сейчас. Спасибо за приглашение, конечно...

— Вот, Мари. Самой природой установлено, чтобы сильный повелевал, слабый — подчинялся. На примитивном уровне это физическая сила. А в цивилизованном обществе — сила воли, сила духа, сила интеллекта, сила характера.

Все вы, женщины, начинаете млеть, когда слышите о силе, когда чувствуете силу... И вы начинаете сперва противиться этой силе, но сопротивление это лишь для того, чтобы сила увеличилась. Чем она выше, тем более наслаждаетесь вы ею, дочери Евины. И высшее наслаждение ваше — мгновенно сдаться силе, отпустить всякие тормоза в момент высшего напряжения силы этой завоевательной. Вот — вся ваша скрытая механика, вот — все ваши внутренние пружины и механизмы.

— Идем, Мари. Уже второй звонок. Проследим до конца мытарства Фауста.

Бейкер подбегает к машине и открывает дверцу:

— А мы уже ждем тебя, Артист.

Тусклый желтый свет из окон охватывает часть тротуара и телефонную будку с разбитыми стеклами.

— Добрый вечер, господа. Приступаем. Ты, Волков, идешь к нему и под любым предлогом вызываешь его сюда. Ты, Левченко, вводишь его в курс дела. Если он отказывается, тогда применяете меры принуждения. Всем все ясно?

— Так точно, Артист.

— Вперед, Волков.

Он скрывается за углом серого бетонного дома.

Труфан, Бейкер, Левченко выжидательно глядят, не решаясь нарушить торжественное молчание. Предвкушают удовольствие, очевидно...

Это лишь начало, Шеф... Это только предлог, Поль... Корпорацию со временем можно будет увеличить, если в том возникнет надобность. И они пойдут девятым валом, сокрушая и сметая на своем пути все и вся, расчищая путь мне — впе-

ред и вверх. О каких границах ты говорил, Шеф? Нет границ моей свободной воле. И не может быть. Кто устоит передо мною, Поль? Никто. Жаль, нет вас обоих здесь в эту минуту... Взглянули бы вы на мою гвардию...

Что должен развивать в себе сверхчеловек?

— Фашизьм! — радостно рапортует Бейкер.

— Садизьм! — подхватывает Левченко.

И овчарка мрачно сосредоточенного Труфана рычит в знак согласия.

Звук шагов приносит ветер из-за угла. Идут.

Юноша бледный со взором горящим останавливается перед ними. Молча переводит взгляд с одного невозмутимого лица на другое. Я останусь здесь в тени и буду молчать. Полководец лично не участвует в битве, это моветон.

Левченко делает шаг вперед, как солист из хора:

— Вот что, корифан. Такое, значит, дело. Короче, ты, корифан, мешаешь одному бла-ародному человеку. А ему надо помочь. Схватил? Надо позвонить энной даме и сказать пару слов — видал, мол, ты ее в гробу в белых тапочках.

— Ха-а-а-а-а! — взорвался трехголосый хор.

— Тихо, мужики, — обернулся к ним Левченко, потом снова к нему. — И сказать... Труфан, придержи собачку... Что она — самая последняя падла. Усек, корифан?

Ты молчишь, юноша. Ты ничего не отвечаешь им. Хотя все понял. И ты... Ах! Что же ты натворил? Зачем ты побежал от них?

— Держи его, мужики! Пинай его, падлу!

Ничего не поделаешь. Если враг не сдается, его уничтожают, как говорил какой-то великий кшатрий. Товарищ Ленин, кажется.

Умелая подножка сбила тебя с ног, ты пролетел по асфальту, они с разбега начали пинать тебя.. Ты молча принимаешь свою судьбу. Значит, ты не совсем пешка. Но и не фигура. Тогда ты начал бы сражение против моей гвардии. Мужественный кшатрий сражается до конца. Если даже и обречен. Шудра — сразу сдается на милость победителя. А убегает — вайшья.

— Хорош, мужики. Вставай, корифан. Телефон рядом. Во, молоток. Так и надо было сразу. Номер ее помнишь или подсказать?

Встаешь кое-как, взгляд опущен. Трусость всегда позорна, юноша. Бейкер с Волковым скручивают тебе руки за спину и так ведут к телефонной будке.

— Руссиш партизанен! — смеется довольный Бейкер.— Мы тебя маненько стреляйт!

И вы, гвардия моя, ничем не лучше его... Как бы каждый из вас вел себя на его месте? Очевидно, так же, как и он. Вчетвером одного не боитесь. Смельчаки...

Выходишь из будки с трясущимися руками. Кончено.

— Во! Молоток, корифан! Вот так сразу и надо было. Все, мужики. Завязали. А ты, корифан, смотри у нас — одно слово, и будешь всю жизнь на аптеку пахать. Гуляй!

И — пинок под зад со всего маху.

Подходят довольные, закуривают...

— На сегодня все. Благодарю всех.

— Зиг хайль «Орлов Корпорейшн»?!

Нет, тошно вас видеть сейчас... Тошно... Сгиньте с глаз моих долой...

Вы еще сомневаетесь в моей свободе, Шеф? Или уже достаточно? Не пойти ли сейчас к вам, Шеф?

.

Открываете дверь с удивлением.

— Рад тебя видеть. Проходи. Наконец-то...

Ни разу еще не был у вас, хотя вы давно уже приглашаете. Несомненное сходство между моей комнатой и вашей. У меня — своя Суперстена, у вас — своя: бескрайние стеллажи от пола до потолка, от стены до стены. Древние темные переплеты... Господи, и взглядом не охватить. Иконы старинные, без окладов... И лампады горят... Амбарные книги, толстые тетради, какие-то переплетенные листы... Очевидно, то же самое, что и первая моя Суперстена, рухнувшая два года назад. И вы так же отгораживаетесь ею от живой жизни со всеми ее гадостями, абсурдом и пошлостью. Так что мы с вами еще поговорим о Стенах — вы сегодня утром не признали моей Стены, я не признаю вашей.

Появляетесь из кухни со всегдашней своей улыбкой.

— Мы знакомы уже несколько меся-

цев, но я до сих пор не знаю вашего имени и отчества. Почему вас там все называют Шефом?

— Потому что я никогда и никем не управлял. Оксюморон. А зовут меня Сергей Петрович.

— Смотрю я на ваши стеллажи... Вам бы кафедрой философии заведовать или преподавать в Духовной Академии, публиковать труды, иметь учеников...

— А где Сократ работал? И где преподавали Апостолы?

— Но ваша жена — не сократовская Ксантиппа?

— «Не внимай льстивой женщине, ибо мед источают уста ее и мягче елея речь ее, но последствия ее горьки, как полынь, остры, как меч... Держи дальше от нее путь свой...»

— Что-то из Ветхого Завета... Да, из принципа не женаты, так и думал. А если проще, Сергей Петрович? Претендуете за владение истиной в последней инстанции, но при этом вовсе не сражаетесь за эту истину? Облагородить женщину, сделать ее духовной в вашем понимании, взять на себя ответственность за нее — это ведь тяжкое бремя. И вы — боитесь?

— Беспросветный вы пессимист. Разумеется, почти невозможно найти сейчас действительно одухотворенную женщину... Интеллигенции сейчас нет. Это образованцы, а не интеллигенты. Приспособленцы и фарисеи... И слова этого я не люблю. Брахман — куда точнее и объемнее.

— Ты сказал — одухотворенная женщина. Что ты понимаешь под этим?

— В двух словах и не сказать... Это способность чувствовать искусство, это любовь к классической музыке и литературе, это мечтательность, романтичность, это, наконец, такт и деликатность и литературная речь без вульгаризмов, это клавиши рояля и хотя бы один европейский язык...

— Стандартный советский набор? Таких женщин — миллион.

— Постойте, я не сказал самого главного — такая женщина должна тонко понимать близкого человека, чувствовать каждое движение его души, самое неощутимое, малейшую смену настроения, и отзываться на это, она должна быть внутренне свободной, а потому и готовой на жертву ради ближнего...

— Махамайя — есть такая категория в индийской адвайта-веданте. Если по-православному сказать, духовное прельщение. Стойкая субъективная иллюзия. Можно ведь всю жизнь, Андрей, так и растратить на мечты о несбыточном. Такие мечты лишь заставляют человека кружиться всю жизнь на одном месте и страдать невесть из-за чего... Я это пережил в юности...

Ставите на стол чашки чая среди книг, журналов, отпечатанных листов. Усаживаетесь в ветхое кресло-качалку напротив меня, помешиваете ложечкой чай и говорите как бы между прочим:

— Все знают, как звучит хлопок двумя ладонями. А как звучит хлопок одной ладонью?

— Смеетесь надо мной?

— Ничуть. Ты подумай все же.

— Опять смеетесь. К чему вы это говорите, Сергей Петрович?

— Не понял ты... Жаль.

Нет, это уж слишком! Зачем я пришел к вам? Чтоб сокрушить ваши умственные конструкции и доказать вам, что раб — это как раз вы, или ваши насмешки выслушивать?! Впрочем, вы все это говорили совершенно серьезно, без тени насмешки... Чего вы хотите от меня?!

Ставлю на стол свой чай — он выплескивается. Встаю и прохожу мимо стеллажей ваших бескрайних.

Хватит вилять вокруг главного. Сейчас я вам скажу...

— Вы мне говорили сегодня, что я сам себя превратил в раба. Так это у вас нет фантазии, нет абстрактного мышления, раз вы не способны понять, что у Брахмана сейчас нет иного пути оставаться свободным, кроме как заниматься бизнесом. Плотские радости и деньги — ничто! Но свобода, свобода!.. Ведь просто смешно и постыдно жить в мире Моцарта, Канта, Фета и при этом быть вынужденным кланяться любому плебею! Вы сказали о себе, что вы были в юности мечтателем, а разве сейчас вы не мечтатель? Только в ином виде? Реальной жизнью вы не живете, да и не знаете ее, наверное. И сегодня вы заявили, что, пока я буду строить свою Стену, я превращусь в раба. А у вас разве не Стена? Да вот же она — стена книжной премудрости, замшелой премудрости, которая сейчас никому не может помочь. Сами же

вы сегодня вспоминали: «Бог пришел в мир, но мир не познал Его». А что, Христос заранее не знал, что мир Его не примет? Какова же тогда цена Его учению? И какова цена миру сему?.. Знаете, я и сам некогда боготворил всех этих титанов духа, но что они дали мне? Именно лишь Вселенскую Иллюзию, Махамайю, бесовское прельщение. Так вот вы — раб вашей иллюзии. Вы просто, наверное, никогда еще не сталкивались с жестокостью, с обманом, с предательством, и вам кажется, что они существуют где-то далеко, а вы от них застрахованы. Отнюдь нет, Сергей Петрович. Рано или поздно рухнет и ваша Стена, как рухнула в свое время моя, и вы окажетесь с миром один на один, как черепаха, вытащенная из панциря. И я посмотрю тогда, поможет ли вам ваш Бог. Если бы у нас с вами были родовые поместья и наследственный капитал, как у Аксакова, например, тогда мы могли бы отдаваться искусствам и наукам, рассуждать о православии и народности... Милость к падшим хороша, когда сами падшие смиренны и добросердечны, как в старое доброе время, но сейчас — двадцатый век, какая-то темная сила заразила холопов идеей равенства, они возгордились. И как этих холопов в руках держать? Только посредством денег. Они ведь действительно построили новое общество — в нем все можно купить и продать — честь, совесть, ум, душу, тело...

— Ты все об одном и том же говоришь. Знаешь, о чем? О страхе лишиться чего-то. Свободы, жизни, чести, достоинства, независимости. Это можно понять лишь так — тобою движет страх. И страх этот — тоже лишь иллюзия. Настоящая любовь к людям изгоняет страх. Люди не понимают своих поступков, не ведают причин и следствий, не знают, что — добро, а что — зло. Лишь поэтому они впадают в страсти, а страсти ослепляют их еще сильнее. Потому и вызывают люди лишь жалость, и хочется помочь им.

Вы вне логики. Ваша логика — сплошные парадоксы. Из одних и тех же исходных точек мы делаем противоположные выводы. С какой же стороны к вам подойти? Где секрет этих логических извращений? Где ключ к ним?

— Вы говорите, страх... Я ведь знаю наперед все, что вы мне скажете. Вы вспомните Самого Христа, Апостолов, мучеников, которых римские императоры кидали львам на съедение, а они не отрекались... Так на них-то Святой Дух снизошел, потому они верили в свою особую миссию, знали эту миссию... А сейчас? Когда у нас православие большевики срубили под корень, а на Западе оно само собой угасает, без всякого насилия? Значит, напрасно Христос приходил на Землю. Так в чем же тогда сейчас может быть наша миссия? Мы-де, носители духовности, хранители культуры, наша миссия — утверждать Истину, Веру, Красоту, Любовь, Духовность... Да кому она сейчас нужна, эта миссия? Инстинкт муравьев — возводить Храм, чтобы его тут же растоптал какой-нибудь Сталин или Гитлер, тут же снова возводить, чтобы снова кто-нибудь растоптал... И при этом свою ползучую деятельность считать верхом благородства, жертвенности, духовности и видеть в ней смысл земной истории... Ведь иначе вся земная жизнь — абсурд... Вы ведь согласились со мной, что сейчас идет химическое разложение всей культуры и цивилизации и Земля уже труп, лишь запах тления веет в пустоте. И вы начнете все сначала, снова настроите храмов, музеев, библиотек, соберете туда тысячи людей, зажжете в их душах огонь Прометея, факел духовности. А тут придет новый Атилла и раздавит вас всех своей железной пятой и даже объяснения не удостоит! Тысяча лет пролетела даром... А чтобы защищать этот муравейник, надо воевать, а чтобы воевать — развивать в себе силу и ненависть. А вы что говорите? Без ненависти благословить такого Атиллу, возлюбить его за то, что он разрушил ваш двухтысячелетний муравейник, и начать все сначала? Так вот вы и есть раб муравьиного инстинкта.

Что же вы молчите?

Нашел, нашел все-таки... Вот теперь победа за мной. Крыть вам нечем, Шеф.

Но вы — улыбнулись. Наконец, улыбнулись именно сейчас. И взгляд ваш вовсе не зол, не оскорблен, а добродушен и насмешлив. Ладно, последний аргумент.

— И атомная война. Она все снесет. Тогда нечего будет восстанавливать. И некому. Позвольте с вами попрощаться, Сергей Петрович. Надеюсь, я убедил вас в тщетности ваших целей и иллюзорнос-

ти ваших взглядов. Благодарю за чай, всего доброго.

Спускаюсь по лестнице. Глядите мне вслед, стоя в дверях. Задумчиво и будто бы грустно глядите...

Стыдно ведь вам сознаться, что прожили сорок лет во власти иллюзии? Гордость вам не дает признать. Но ничего. Я и гордость вашу сломлю.

27 апр 1981 14.58 ПН. Вот и Хандаева — в моих руках. Со всем ее горпромторгом. Через три дня съездим с ней на склад и первая партия «Рэнглеров» и «Мак-Грегоров» готова к реализации. И ведь согласилась сразу же. Кому помешает получать каждую неделю три куска ни за что?

Теперь переходим к тебе, Мари. Утром мы с тобой обо всем договорились по телефону, так что сейчас остается лишь заехать к тебе...

Такси выписывает круг по узким улицам центра, солнце прячется за старыми домами, я все говорю с тобой о чем-то, и слова уже не имеют никакого значения — все уже предрешено. Ты смотришь на меня блуждающими от шампанского глазами — все известно заранее, оттого мне и скучно, так скучно сейчас... И грустно... Нет, конечно же, ничего не брошу на полдороге, это глупо, не стоило тогда и начинать, и все доведу до конца... Но чувствую себя своим же собственным роботом, набором программ, блоков, шаблонов, типовых реакций на все заранее предугаданные процессы и... и даже не злюсь на себя.

Поднимаемся по широкой лестнице в зал ресторана, и Витя уже спешит навстречу со своими вечными приветствиями и любезностями, раскланивается, приглашает, усаживает, улыбается...

Ты все больше и больше пьянеешь, тебе это так непривычно, так удивительно. Воистину, пришелец из Мира Богов поднял вдруг тебя, простую смертную, на Олимп...

Смешон я сам себе — Санта-Клаус с приклеенной бородой и мешком подарков. Смешна мне и ты — Золушка, раз в жизни удостоенная присутствовать на придворном балу. И Витя смешон с его приглашениями провести у него дома Первое мая. О чем говорить с тобой, милый Витя? О ценах? О клиентах? О чаевых? Ты знаешь все сплетни об артистах и певцах и перебор этих сплетен считаешь, со всей искренностью, очевидно, духовной жизнью?

Ты уже тащишь нам целый поднос снеди, шампанского, водки. А ты, Мари, отказываешься от водки, но видно, что протест твой деланный. Разве не завлекательно оказаться вдруг впервые в жизни в ресторане, где тебя принимают как английскую королеву, и напиться до полного самозабвения в компании с таким джентльменом, ха-ха?

А ты, Мари, вот уже и пьешь водку с деланным опять же стеснением, но я уже наперед знаю, что и это усиленно изображаемое стеснение тоже скоро пройдет... У таких-то натур, как ты, у этаких-то вот скромниц и активисток, как правило, и сдают тормоза — начисто, до беспредела, до забвения всяких границ и рамок. Или я людей не знаю? Слишком хорошо знаю... В том и дело. Слишком хорошо. Это и скучно.

Публики в зале прибавляется, ансамбль уже заиграл, и видно, что ты очень хочешь танцевать. Что ж, если устраиваю тебе праздник, пусть это будет праздник до конца.

Странное состояние, очень странное... Словно воистину какой-то робот болтает с тобой, слушает тебя, подливает тебе водки, ухаживает за тобой, говорит всякие глупости, комплименты, каламбуры, а сам я вовсе не участвую во всем этом — лишь наблюдаю сейчас за собой и за нею со стороны...

Кто-то подходит к нему, моему роботу, приглашает оскорбительным тоном «выйти поговорить», указывает на какую-то юную леди в глубине зала, которая оказывается Кэт, требует, по всей очевидности, сатисфакции за ее оскорбление вчерашним вечером, и тот я спокойно и с достоинством передает его в руки Вити на предмет сдачи в вытрезвитель, Кэт подходит, приглашает отойти и поговорить, она, очевидно, раскаивается в том, что натравила своего спутника на меня, говорит, что у нее нет денег и нечем расплатиться, между тем ее спутника Витя уже передал в руки дежурных милиционеров в фойе, а те, очевидно,уже в вытрезвитель, но я галантно отказываю ей, отдавая себе отчет в том, что и ей в

таком случае придется провести ночь в вытрезвителе, за коим последует «сигнал» в ее деканат, исключение из комсомола и из университета, я вежливо напоминаю ей о вчерашней сумме и объясняю, что бестактно просить снова, к тому же будучи виновной перед ним...

Все это совершается автоматически, рефлекторно, программно, но подлинный я в этом вовсе не участвую, а лишь созерцаю все это откуда-то со стороны.

Вот я танцую с Мари, она жалуется на грубую выходку того бедного юноши вчера вечером, я успокаиваю ее, тот я... А электрозвуки бьются в зале запертыми в стеклянном вольере птицами, женские вскрики и смех, цветной полумрак, звон, легкие блики по резным стенам...

Он внимательно смотрит в ее глаза, и в глазах ее грусть, радость и надежда. Он решает — кондиция достигнута, пора уходить.

Волна пошлого самодовольства поднимается в нем. Он выжал, выдавил, вытолкал меня из этого тела, Кибер-Орлов, верный ученик Поля... Оставить бы его здесь, на этой несчастной планете, навсегда в этом теле моем, захваченном им со всей подлостью, на какую он оказался способен, и улететь отсюда навсегда... Но тело держит, держит, хотя и не мое уже, и не подвластное мне... Оно не отпускает меня, это тело-Орлов, и я не в силах оторваться от него.

Она появляется, подходит к нему. Обычно женщины в таких состояниях начинают капризничать, разыгрывать какую-то оскорбленную добродетель, высокомерное целомудрие и попранную великосветскость, но она... Впрочем, ситуация в его руках, что бы она ни чувствовала сейчас.

Улыбка вдруг. Виноватая и преданная? беспомощная? просящая?

— С тобою все хорошо, малышка? — спрашивает он ее покровительственно.

— Да, Андрей... Пойдем... Пойдем...

Сыны человеческие, дочери человеческие... До чего же напоминаете вы каких-то моллюсков! До чего же легко вынуть ваше мягонькое беззащитное тельце из створок вашей лишь на вид крепкой раковины и засунуть в мясорубку, чтобы оттуда кровавые червячки вылезли... А потом из фарша, оставшегося от вас, уже и слепить самому что угодно... Что угодно... Просто обидно за вас как-то даже... Будто бы жалко.

По бетонным ступеням — навстречу безлистым деревьям, тянущим осиротело к небу ветви свои. Темнота заливает со всех сторон. Ты поворачиваешься ко мне, замедляешь шаги свои. Кровь прилила к лицу твоему.

— Андрей, я знаю, я не должна говорить тебе первая... Это давно уже... Ты, наверное, ничего не понимаешь... Так часто я видела тебя в центре, ты подсаживал в такси каких-то женщин, они смеялись, ты уезжал с ними... И все наши мальчики вьются вокруг тебя... словно ты им царь и бог... И меня ты не замечал, совсем не замечал... Ты не знал, как я жду... Ну что ты молчишь? Ты же все понимаешь! Ведь я все знаю про тебя! И что было у тебя тогда с практиканткой, и вообще... Ну не молчи, скажи хоть что-нибудь... Знаешь, чего мне это стоило? Ведь я...

Да, этого и следовало ожидать. Потому ты каждый день и провозглашала гневные филиппики против меня. А ларчик-то... Но — я молчу.

— ...тебя люблю уже столько лет, слышишь? Что ты молчишь?

Обнимаю тебя и целую. И как же безропотно, как даже жадно отдаешь ты свои губы, нимфа-Офелия.

Не хочу бросаться словами, которые имеют ведь еще для меня некоторую цену. Смешны такие иллюзии, но вот же ведь, однако...

Все, Мари. Карты раскрыты и брошены. У тебя — недобор. Финита.

Хитрый таксист встречается со мною взглядом в зеркальце и подмигивает.

Зловещей кажется тебе отверстая пасть подъезда? Вековая борьба страсти и стыда. Первородное... И сделали они себе повязки из листьев древа фигового...

Входишь. Первый шаг по ступеням. Жена, которую Ты дал мне, она дала мне от древа, и я ел.

Второй шаг. Не сводя с меня глаз. Змей обольстил меня, и я ела.

Поединок взглядов. Прикосновение. И будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей.

Легкий металлический щелчок. Спиртовый запах из комнат — мертвым сном спит. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе. Прикос-

новение. Шелест. Электротреск. Синтетические синие искры.

— Андрей, ты не подумай, что я...

Восходящее солнце отражается в окнах дома напротив.

— Андрей, я так счастлива с тобой, так счастлива... Я совсем не знала тебя, я не знала, какой ты заботливый, внимательный, отзывчивый, щедрый...

— Вот чудо-то случилось! Преображение Христово! Сознайся, Мари,— ты ведь обличала меня не из комсомольских принципов, а потому, что была влюблена в меня?

— Да... Я ведь хотела, чтобы ты стал честным, порядочным, вступил в комсомол...

— То есть я казался тебе подлецом и негодяем, но ты, несмотря на это, любила меня?

— Андрюша, ну зачем ты так?

Экая добродетель оскорбленная. Конечно, подлецом и негодяем.

— Андрей, а если у нас ребенок будет?

— Вы же мечтаете создать новый тип человека — самоотверженного строителя коммунизма. Вот и роди, о женщина, коммунистического Сверхчеловека, как сказал Заратустра с товарищем Карломарксом.

— Ты опять смеешься надо мной?

— Ничуть. С чего ты взяла?

— Ты ведь теперь только мой, правда?

— Я — ничей. А быть может, всеобщий.

— Что ты говоришь? Разве ты не любишь меня?

— А разве я тебе говорил, что люблю?

— Тогда зачем же ты... Как ты тогда... Так ты не любишь меня?

— Нет, Мари... Я бы и рад, быть может, но — сердцу не прикажешь.

— Так ты меня для того привез к себе, чтобы... Так ты... нарочно обманывал меня?

— В чем я тебя обманывал? В любви я тебе не признавался. В верности не клялся. Жениться на тебе не собирался. Чего ты от меня можешь требовать? Так нечестно, Мари. Ты принимала желаемое за действительное. Но ты проговорилась. Ты хочешь женить меня на себе. Может быть, ты все это и подстроила так? Женить меня силой на себе... Да еще в комсомол затащить... А я-то думал... А я-то, безумец, считал тебя порядочной девушкой...

— Я... тебя обманула... затащила... Разве мы с тобой, Андрюша... для того, чтобы...

Расплакалась... Господи, поскорее бы все это кончилось, поскорее бы свалить с плеч долой всю эту историю и забыть навсегда... Так лучше, Мари. Потом когда-нибудь сама поймешь... Если уйдешь от меня уверенной в моей подлости, тебе легче будет пережить этот разрыв. Хоть этим смягчу. Я, мол, подлец, так нечего меня и любить...

— Я не верю, Андрей, что это все... что ты можешь быть таким подлецом... Я не верю, слышишь, Орлов? Я же тебя десять лет знаю, я помню, каким ты был... Я люблю тебя, всю жизнь тебя буду любить...

Я тоже думал, что буду любить Истомину всю жизнь. И где это сейчас?

— Нет, я подлец. Вы же сами того хотели. Вы меня перевоспитывали, избавляли от излишнего благородства... Радуйтесь теперь — цель ваша достигнута. По Энгельсу, при коммунизме семьи быть не должно. Все женщины и мужчины общие — единое человечье общежитие, как товарищ Маяковский писал. Чего же ты обиделась-то? Я поступил с тобой по вашей коммунистической нравственности. И нечего меня любить. Вообще не надо никого любить. Это внеклассовое чувство. Партию надо любить. Радуйся, радуйся! Я стал как один из вас! Я победил мир!

Молчишь. Удивилась? Поразилась глубине низости моей?

— А я... А вот увидишь, что я сделаю, вот увидишь, Орлов, вот увидишь...

Дверь хлопает. Потом еще одна, глуше, в подъезде. Стою у окна — вижу, как ты выскакиваешь и бежишь куда-то...

А куда тебе бежать? И мне куда бежать? И любому другому?

Как же я устал от вас, люди... И от себя самого...

Сверхлюди Суперстены в десятках ипостасей — торжествующие, гордые, свободные — заходятся беззвучным смехом, глядя на меня. Головы их запрокидываются в судорогах гомерического хохота, смехо-паралич сводит их тела: «Смотрите!.. Он стал как один из нас, зная добро и зло!.. Один из нас!..»

Да... Программа исполнена... Как один из вас...

Я — ЕСМЬ. Я есмь весь в себе. И — лишь для себя. И от всего — отдельно. Себе довлею, и полон собою, и все, что не Я, или отстраняю прочь и не приемлю — до того даже, что не вижу и не слышу его, не помню и не знаю — или Собой объемлю и в себя поглощаю, чтобы из Себя в Себе воссоздать, как свое же собственное явление и отражение. Я слишком, слишком знаю о себе — Я есмь. И знаю тут же — никак и никогда не могу произнести достойно — Аз Есмь...

Какая чудовищная невидимая власть загнала меня еще до рождения в это отдельное от всего мира тело и отдельную от всей Вселенной душу?! И почему я никак, никак не могу выйти из бронированной мумии собственной отдельности и достучаться до чужой бронемумии?! Я преступил все пределы, рубежи и границы, я попрал все нормы, законы и правила, я растоптал все общепринятости, низвергнул все условности, сокрушил все приличия, презрел всякий долг и всякую обязанность перед кем бы то ни было...

Радуйся же, Орлов, Аве, Цезарь. Ты ведь пришел, и увидел, и победил...

Зеленые цифры прыгают на часах. Что это со мной? Словно мозг раскалился докрасна... Огненная молния прошивает тело сверху донизу... Черная пелена застилает взгляд... Красные кольца пульсируют в глазах...

Какая бетонная тяжесть во всем теле... Давящая пустота в мозгу и противная сосущая боль в сердце. Что это вокруг? Это мой дом? Почему он тогда будто чужим стал вмиг? И деревья за окном будто спорхнули от моего взгляда и полетели прочь?

Как же теперь мне быть? Кто я? Безмозглый и бессильный...

И эта боль в сердце... Словно стеклянный осколок туда воткнулся... И не чувствую ничего. И словно пространства вокруг не стало... И времени не стало... Будто в какое-то иное измерение попал Мегавакуум. Пустота, миллион раз умноженная сама на себя...

Догнать Зосимову, догнать, удержать, как-то успокоить! А дальше... А дальше что? Что бы ей теперь ни сказал, не поверит... А если и поверит, что делать? Что ей могу дать? Чем ответить на эту детскую бурю чувств? Пустотой? Температура вакуума минус 271 градус... Согреть ее своим сердцем, чтобы она превратилась в ледяную мумию...

А Сверхлюди запрокидывают головы в безудержном хохоте надо мной...

Кому же поклоняться? Перед кем каяться? И у кого прощения просить?

Будь проклят тот день и час, когда я узнал тебя, Поль!

К дьяволу — прочь из этого оскверненного дома... Куда угодно — прочь. Куда глаза глядят.

Вот, Поль,— исполнил я завет твой. Окрестил ты меня одноперстием... И что же? Что принесло мне это?

Нет-нет, разумей меня неложно. Нет возврата в те времена чистые, наивные, до-Истоминские... Если бы даже и возжелал этого... Чего? Приносить себя в бессмысленную жертву нищим духом мира сего и иже с ними? Обратная сторона медали — стоит ли покой душевный такой цены? Да будто был он тогда... Мучения, страдания, сомнения, тоска свинцовая, давление желаний неисполнимых и фантазий заоблачных, чреватое чудовищным взрывом...

А сейчас? Когда прошел уже Крым и Рым? «Российская империя — тюрьма. А за границей — тоже кутерьма. Смешно с всемирной тупостью бороться... Свобода потеряла первородство. И не найти ее ни здесь, ни там... Куда же плыть?! Не знаю, капитан...»

Торговый пассаж. Прилавки на улице. Толпы. Очереди. Столпотворение. Сырость. Грязь. А это что? Рынок заморских рабов? Порт Пирей? Строительство Вавилонской телебашни?

Мене Текел Упарсин.

Огромные буквы блистают огненным зловещим заревом...

Толпа штурмует прилавки под буквами, но никто не замечает их... Или мне мерещится это? Массовое производство. Массовое накопление. Полчища саранчи мыслящей...

Почему этих букв никто не видит? Где-то слышал или читал, будто эти три слова означают нечто крайне важное... Нет, бред это все...

Вы же, нищие духом, все деретесь, кричите, толкаетесь, пыхтите... Подлец человек. К тому же и дурак. Что может быть лучше такого сочетания? Однако же вам — просто. Вы прекрасно знаете, чего хотите...

Куда же плыть? Куда плыть... К вам, Шеф? А что — Шеф? Вашими бы устами да мед пить... Вы уже где-то там — по ту сторону добра и зла... Что вам до моих злоключений? Отвергни страсти, отвергни привязанность к мирскому, покайся, ибо она — причина греха, а грех — причина зла, а зло... Вот вы бы, Шеф, и сделали так, чтобы я в один миг силой вашей сверхчеловеческой премудрости как-нибудь отвязался бы от мирского, а самому мне... Но тогда — стать второй Наташкой, вторым Шефом... Смешно. И — жалко. А вот столкнуть бы вас визави, спасители человечества, что бы вышло? Вы бы перессорились насмерть. Ты — обличать его: «Да как вы можете в своей благодати купаться, когда тут пять миллиардов человек нравственно погибают!» А вы ей: «Рече безумец в сердце своем несть Бог!» А потом и передрались бы... «Ты не так, сволочь, человечество спасаешь...»

Еще раз повторяю — вы, Гениальный Человек, поймите без передергиваний: ныне я силен. Свободен. Независим. И ни за что не расстанусь с этими сокровищами, что достались мне столь дорогой ценой. Но... Тут огромная запятая, Поль... Друзей я себе так и не нашел. Лишь подпевал и прихлебателей. И женщину... Сказала бы тогда Истомина: «Орлов, отдай за меня жизнь» — и отдал бы. Не задумываясь ни минуты. Где такая женщина, Поль? Нет, не понять тебе никогда этого, Дирижер Человеками...

Куда же плыть?

А вот влезу сейчас хоть в этот трамвай, и — куда глаза глядят... Пусть Сама Судьба укажет путь. Вверяю себя в руки твои, Фатум.

Что ты улыбаешься, глядя мне в глаза, глупая девочка? Что за безвкусная цветовая гамма — черные сапоги из синтетики, синее пальто, голубая шапочка, коричневые перчатки из той же синтетики... И не исходит от тебя флюидов «Мадам Роша» или «Шанели». И никакой фантазии в прическе — темные волосы просто торчат в разные стороны из-под шапки — химзавивка. Мы же деловые, занятые, в поте лица своего... «Толците, и отверзится вам...» Так, кажется — куда уж нам каждый день завиваться... Проза... Экая проза.

Да что ты так смотришь на меня? Роковая женщина, ха-ха. Какой пронизывающий взгляд... Рентген... Прямо в глаза. Изучение? Восхищение? Вызов? Не надо, прошу тебя... Если ты как те все — «какой Принц из Миров Иных!», то зачем мне... А если не так, значит, как Наташка или Зосимова: «Откуда ты еще такой самонадеянный вылез? Надо же скромно жить и высоконравственность проповедовать!» Терпиум нон датур.

Но, однако же... Но нет. Очень ясное детское лицо... И полуулыбка... Словно слегка порочная... Будто бы завлекающая... Как это может быть вместе на одном лице? Очень уж странное, прямо-таки невозможное сочетание.

Сколько мы уже едем? Три минуты?

Деревянные избушки лепятся ласточкиными гнездами по склону холма. До революции — Иерусалимский холм. Центр Старого Города. И как раньше, в далеком детстве, избушки эти хранят, кажется, какую-то тайну древнюю и мудрость светлую... Кто-то борется за спасение этих избушек, смысл в этом какой-то еще видит, а я... Пройдет десять лет, двадцать лет — и ничего не останется от Старого Города моего...

Но это уже просто вызов... как в детской игре — кто первым взгляд отведет? Но я любой взгляд выдержу. Даже такой. Но — зачем? Зачем? Чтобы снова повторилось все то же? Что и с Элен? Или с Зосимовой? Или с Кэт?

Крестовоздвиженский собор. Один из двух лишь, действующих ныне. А было их до революции... Благовест. Радостный звон плывет над Старым Городом. Да, Пасха ведь позавчера наступила. Светлое Воскресенье Христово. Солнце висит над куполоми златоглавыми. Бьет тебе в глаза, но ты все равно не отводишь взгляд.

— Христос воскрес! — голос врывается в открытые окна.

— Воистину воскрес! — стоголосый взрыв в ответ.

Голуби парят в воздухе голубом среди куполов. Тебе, наверное, очень хочется жить, вдыхать с наслаждением воздух этот весенний, радоваться солнцу, синеве,

теплу? А мне... Лет двенадцать назад, вот тогда... Были лишь голуби в облаках, благовест и верба, схимница Фимочка в Знаменском соборе, с тех времен еще, просфоры в подарок, освященная вода январского Крещения... Тогда весь мир казался пронизанным солнцем, лаской, любовью... Таинственная благодать разлита была во всем, и люди казались наполненными каким-то добрым и таинственным значением... Весь мир любил меня, и я любил весь мир...

Но сколько воды утекло...

Можешь ли ты это понять, девочка со взглядом доверчиво-насмешливым?

Господи... Откуда такая сентиментальность? Воспоминание о тех далеких детских чувствах... Что за недостойная слезливость... Словно все два года сдерживались эти чувства, блокировались в глубокой памяти, и кто-то не давал им прорваться и проявиться... Еще лишь несколько часов назад — там, у себя — с Зосимовой... И тут вдруг...

Так что же? Так и не отводишь глаз. Хорошо. Пусть будет, как Судьбе угодно. Если в храме еще раз возгласят, я выйду вместе с тобой и...

Трамвай сворачивает на бывшую Амурскую.

— Христос воскрес!

— Воистину воскрес!

Вот так... Значит, сама Судьба указывает путь.

Но разве это не твоя остановка? Что ж — едем дальше.

Но я не тот уже. Давно не тот для этого. Вера, Надежда, Любовь — три костыля человеческой жизни. Кто это, спросил Сфинкс, ходит утром на четырех ногах, днем — на двух, вечером — на трех? Что бы Эдип сказал о вас, Шеф? Вы ведь уже не ходите по земле грешной — вознеслись и висите в свободном парении...

Да. Я научился ходить без этих костылей. Тем и силен. Тем, быть может, и слаб... Что за слезливость вдруг нахлынула? Как крокодил — проглотил Зосимову, Элен, Кэт, Степанова — и расплакался от жалости к ним... Без костылей... Но не сам же отбросил их — отняли. Так что тут уж волей-неволей. А чему научился, тому уже не разучишься. Ведь всегда задняя мысль будет: что у тебя зашито в подкладку души, человече? Два ящика продуктов в голодное время? Пачки доносов? Подпольный аборт? Героин? Связи с мафией? «...а кто меня туда без связей положит?..»

Что же, что же это такое? Словно не было этих двух лет, словно сейчас снова март семьдесят девятого... Словно лишь вчера ждал Поля с ножом в парке... Снова все навалилось, как тогда...

Вот вы все, благодетели и спасители человечества, докажите мне — явите душу непорочную, которой от других прятать нечего. Но не тихо помешанную, вроде Наташки или Шефа — живую душу, не монашескую, не придавленную идеей-фикс! Вам бы, Шеф, жену, детей, стариков — злых маразматиков, работу с восьми до пяти — интересно было бы взглянуть на вас...

Ты ничего этого не понимаешь, девочка-женщина, уже знаю. Иначе ты бы не смотрела на меня так. Чего там друг друга разглядывать — проведи пять минут с любым на планете нашей грешной, и все ясно, как в шахматах. Или мне — мат, или — тебе. Или — ничья. А каких и сколько ходов было — в том ли дело?

Быть может, ты такая же, как я до-Истоминской эпохи? А втолкни в твою жизнь все, что было в моей два года назад и раньше — остался бы у тебя такой вот взгляд?

И эта остановка не твоя.

Мост. А тех, кто построил его в тридцать шестом, расстреляли. Они оказались идеологически не соответствующими. Хотя мост до сих пор стоит. И они были под следствием, а потом в сталинском концлагере вместе с тобою, дед мой Андрей Петрович. Но ты, девочка, очевидно, не знаешь и того, что в нашей стране, где так вольно дышит человек, еще тридцать лет назад существовала особая высокоидейная форма фашизма с пытками, расстрелами, доносами, концлагерями... Да и сейчас еще, наверное, сидят в лагерях люди... Не знаешь, иначе взгляд у тебя тоже иной был бы.

Но это уже за гранью вероятного. Пятнадцать минут едем. Какой силы должны быть чувства твои. Какою же ты в любви должна быть? Или я людей не знаю? Что это — вызов? бесстыдство? любовь с первого взгляда? Ты сейчас то же самое думаешь обо мне, уверен. Но я не знаю,

что это. Значит, и ты, наверное, не знаешь?

А трамвай уже разворачивается на кольце. Мы приехали, наконец? Салон пустеет, пустеет... Ты идешь к двери позади всех, словно выжидая, чтобы толпа схлынула, медлишь, чтобы мы с тобой оказались одни?

Резкие черные тени оконных рам на полу. Эхо уличного шума резонирует среди железных стен. В который раз... И неужели... Несколько шагов вниз по ступеням. Оглядываешься. Пора.

— Извините, с вами можно познакомиться?

Убогой стала вдруг фантазия моя. Тут бы фейерверк какой-нибудь запустить, фонтан слов громокипящий, хотя это опять было бы лицедейство...

— А сколько тебе лет, Малыш?

Господи... Неужели еще кто-то может вдруг увидеть во мне...

— Не понимаю, почему вы так обратились ко мне. Я не моложе вас и...

— А все-таки?

— Восемнадцать. Первый курс иняза.

Глупо... Зачем понадобилась эта ложь? Можно было как-нибудь перевести все в шутку и вывернуть разговор в другое русло...

— И вас в инязе специально учат так смотреть?

— Да. Чтобы мы видели насквозь всех интуристов.

— И ты увидел меня насквозь? Что же ты увидел во мне, интересно?

— Что вам семнадцать лет. Верно?

— Да. А еще?

— Что вы учитесь в этом вот огромном здании — политехническом институте.

— Верно, Малыш. А еще?

— И вы сейчас решили пропустить первую пару. А потому поехать ко мне в гости — слушать музыку и пить кофе.

— Великолепно, Малыш! Ты — ясновидящий!

Да, очень странная ты... У меня рядом с тобой отчего-то сердце щемит сладостной болью... Незнакомой. Никогда и ни с кем такого не чувствовал...

— Кстати, ты еще не представился.

— Андрей Александрович Орлов. Потомственный русский дворянин.

— Всего-навсего? Не столбовой и не титулованный? Галина Владимировна фон Светлова, моя княжеская родословная идет от Рюрика. Но теперь — увы! Лишь первокурсница факультета кибернетики.

— Странно... Очень уж у вас живой характер для жара холодных чисел.

— Да и ты, сумрачный германский гений, слишком задумчив для иняза. Постой. Где мы сейчас и куда мы едем?

— Мы в некотором роде напротив вашего колледжа. А уж зачем мы здесь? Я никуда не спешу, я лишь ехал за вами и сейчас провожаю вас.

— Какой ты романтик, Малыш! Ты всегда изъясняешься таким высоким штилем? Ты смущен? Не стоит. Просто я такая... Ах, такая, такая... Ладно, шутки в сторону. Сколько сейчас времени?

Ты берешь мою руку как свою и смотришь на часы.

— Двенадцать сорок. Чудесно. Итак, ты меня приглашаешь?

— Да. Пятнадцать минут на такси. Другой берег.

— Знаешь, я ведь живу в Новом Городе, мне это ничего не говорит. Хорошо, едем. Так и быть, первую пару прогуляю ради тебя.

— Я поражен вашим стилем общения... Разве вам не...

— Ну да. Ради тебя. Разве ты не стоишь этого? Ты мне нравишься. Очень. Сама не знаю чем. И брось называть меня на вы.

Мы мчимся вниз по широкому бульвару, машина влетает на мост, дома вдруг отступают, и горизонт распахивается беззвучным всплеском во все стороны. И лес на холме неподалеку, и скорый поезд, звенящий под мостом, и ветхие избушки на ближнем берегу рядом со стеклобетонными громадами Академгородка, и телебашня на крутом дальнем берегу среди уходящих уступами вверх домов, и огромная серая полоса плотины в солнечной дымке — все словно живое, словно прячет в себе какое-то таинственное значение, непонятное и неведомое мне ранее, неведомое и сейчас... И ты, девочка, так странно живая и яркая, радостная и порывистая на фоне суконно-серых живых манекенов!

И неужели у меня навсегда отобрана всякая радость? Всякий восторг, мечтательность, упоение грезами и фантазиями лучезарными? Без малейшего сомнения

и недоверия? И вечно уже будет какая-то надрывная горечь при всякой встрече с чем-то чистым и прекрасным оттого, что это лишь напоминание о том, некогда бесследно ушедшем, лишь бедная копия того, неповторимого, лишь тусклый отблеск того, бесценного в нетронутости своей? Лишь напоминание, внешне вроде бы ничем не отличимое, и оттого особенно горькое, словно в детстве утешения бабушки, когда плачу от чего-то, в чем сам же и виноват, и от этих-то утешений и становится вдруг уже невыносимо, беспредельно горько, ведь ждешь наказания, ждешь чего угодно, а тут: «Не плачь, милый, Христос с тобой...»

Машина несется уже по бесконечной плотине. Справа уходит за горизонт бескрайнее водохранилище, солнце ослепительно отражается в воде его блистающей полосой, а слева расстилается на холмистых берегах весь Старый Город, и так мучительно хочется охватить объятиями все, что вместилось в горизонт, прижаться к нему и слиться с ним, стать одновременно всем — рекой, тайгою, Городом — и остаться собою при этом...

Летим навстречу чему-то, словно хотим догнать само Время. Но зачем же? Нет, нет — замедлить его, сделать видимым и осязаемым, вязким, а затем как бы твердым и недвижимым, чтобы остался четырехмерный пространственно-временной слепок, цветной и объемный звуковидеокадр — река, солнце, полдень двадцать восьмого апреля, нам с тобой по семнадцать лет, я держу твою руку, ты что-то говоришь мне, а машина несет, несет нас стрелой...

И если сейчас вспоминаю позапрошлогодний март с такою сладкой горечью, то, может быть, так же буду вспоминать через год, через десять лет и этот апрель, именно этот улетающий миг, нашу с тобою игру с солнцем...

Господи... Что это? Что за непонятное опьянение, захлестывающее, безудержное, накатывающее волнами? Опьянение и словно прозрение в какую-то иную реальность... Со мною ли, трезвым аналитиком, разъявшим жизнь как труп, со мною ли? Словно что-то внутри, что подавлялось и сдерживалось целых два года, вдруг прорвалось в одно мгновение, взбурлило могучим вулканом, дошло до точки кипения и — взорвалось...

Расплачиваюсь с таксистом — удивленно глядишь на пачку денег в моих руках.

— Богатенький Буратино... Откуда у тебя это, Малыш?

— Я ограбил приют для слепых, детдом да еще старушек-нищенок на паперти Знаменской церкви.

— Какие-то странные шутки у тебя...

Настороженность во взгляде твоем и в голосе. Улыбка вдруг исчезла. Так вот ты какая... Галина по-гречески — Тишина... Вот что прячется под детской веселостью твоей... Ты очень требовательна и, очевидно, проницательна...

— Не обращай внимания. Это бывает у меня иногда. Я — циник. Киник.

— Вот как? Отчего же?

— Потом как-нибудь расскажу...

— А кто сейчас у тебя?

Слава Богу... Разговор ушел в другое русло... Отшутился... Нет, все дело лишь в обманчивости облика моего — мог ли кто-нибудь заподозрить в рафинированнейшем эстете Дориане Грее завсегдатая портовых притонов и кабаков? Неспроста Истомина подарила тогда именно этот роман...

— Бабушка. Добрейший человек. Почти святая.

Слегка поклонились друг другу с улыбками. В вас есть что-то сходное... Впрочем, что же?

Бабушка уходит в кухню готовить нам кофе, а ты удивленно разглядываешь десятки портретов на Суперстене-2: Ницше, Цезарь, Калиостро, Штирнер...

— Она у тебя такая добрая, Малыш... Почему у меня нет бабушки?

— А почему ты всему радуешься? Даже этим вот Сверхлюдям? Александр Великий, Казанова, Жан-Поль Сартр, Дали, Бакунин, Раушенбах, Камю — апофеоз индивидуализма и эгоизма, ха-ха... Они у тебя не вызывают отвращения?

— Да нет, Малыш. Это твое личное дело, кому поклоняться..

Улыбка. По-детски открытая и по-женски загадочная. Легкий наклон головы к плечу. Разве так бывает?

Ева до грехопадения. Но словно бы мечтающая пасть — из детского любопытства... И все тело твое дышит каким-то магнетизмом — неудержимо тянет погладить тебя, потрогать, обнять, поцеловать...

Ты не отводишь глаз. Словно ловишь

каждое движение мое, каждую смену настроения, каждый жест. Будто для тебя — великое наслаждение впитывать меня в себя взглядом...

И это — сейчас! Сейчас! Когда душа моя словно пустыня Лос Аламоса, выжженная намертво Духом Бездны, выпущенным на свет атомщиками... Девочка, милая девочка, где же ты раньше была?! Кто вернет в позапрошлый март, остановит время на Белом Дне с Запредельной Небесной Улыбкой и соединит его с сегодня?! Чтобы ни Поля, ни Элен, ни Зосимовой... ничего... никого... Вычеркнуть. Забыть как дурной сон... Девочка! Помоги мне в этом!

Почему именно ты встретилась мне сегодня? Нет, ничего случайного в жизни не происходит... Ничего... Именно ты. Знаешь, на что это похоже. Приговоренного к смерти за день до казни бреют, умывают, одеколонят, одевают в свежую одежду, кормят прекрасным обедом, а на эшафоте подносят сигару и рюмку водки.

— Что значит «Мене Текел Упарсин»?

— Не знаю, Малыш. Ты такой странный... И смешной...

Из чего возникает смех? из несоответствия. Значит, ты права. Я и в самом деле смешон. Во мне сейчас самое противоестественное соединение самых несовместимых чувств и мыслей... Конечно, это смешно.

— Галя, с тобой случалось когда-нибудь... Ты что-то видишь или слышишь, а потом оказывается — ничего не было... Фантом! Иллюзия!

— Нет, Малыш. Разве так может быть?

— Да... Со мною — сколько раз... Вот и сегодня...

Бабушка постучала в дверь, осторожно открыла и вошла с подносом.

— Вот вам кофе, голубчики, вот пирожные. Приятного аппетита.

— Спасибо, Людмила Петровна.

Такую интонацию, такую улыбку не сыграть. Словно вся жизнь для тебя — праздник. И ты рада каждой мелочи, и все, все принимаешь как великий дар... Ведь это нужно быть ребенком — чтобы не видеть всей лжи и грязи жизни... или видеть, но... но все равно принимать жизнь как праздник! Все равно... Вот это, очевидно, и объединяет вас с бабушкой... Да возможно ли это?! Нет, ничего не понимаю я тут... Чего-то главного не понимаю...

— Бабушка, что значит «Мене Текел Упарсин»?

— Не помню, Андрюша. Кажется, где-то в Библии... Пир какого-то Вавилонского царя... Нет, не помню...

Ты оставляешь нас вдвоем и тихо закрываешь за собою дверь. Отчего у нас в квартире столько дверей? Оттого, что живем как три отдельных государства. И между нами — колючая проволока, пограничные полосы таможни. И все двери постоянно закрыты — мы отгораживаемся друг от друга. У тебя же, девочка-женщина, в доме все иначе, наверное...

Какую же музыку подобрать тебе? Вагнера и Бетховена — моих любимых? «Борьба человека с Фатумом»? Нет, что-нибудь другое, без титанизма...

— Это «Ирапшн». «Лив э лайт». Может быть, мы потанцуем?

Словно ты давно уже ждала этих слов. Встаешь, плавно подаешь мне руку.

Прешес Уилсон поет о большой разноцветной бабочке, что бьется зачем-то в ее окно, словно принесла ей какую-то радостную весть. А за моим окном — далекий шум машин и самолетов, звуки шагов внизу, лужи и последние островки снега, что тают на глазах под косыми лучами солнца... Вся эта суета, шум, работа и кипение жизни царят везде вокруг, но мы с тобой словно отделены какой-то волшебной силой от всего мира, хотя и видим и слышим его, и словно перенесены на зачарованный остров, и поток жизни огибает нас, и уносится вдаль.

Ты смотришь мне в глаза, руки твои на моих плечах... Прешес Уилсон поет о колее, улетающей в Небо, о радости и страхе полета вдвоем в вышине. Что со мною? Что со мною. Словно Белый День продолжается... Словно тебя, именно тебя я и ждал тогда, в Белый День... И тогда была ты, а вовсе не Истомина... Я ждал тебя — и вот ты появилась... А всего этого года и не было, это кошмарный сон, что приснился мне, а я его принял за реальность... Да — лишь сон... Лишь сон...

— Почему тебя все радует? Ты словно знаешь какой-то великий секрет находить радость во всем вокруг и извлекать ее из всего...

— Никакого секрета нет, Малыш. Просто я счастлива, и все.

— А чем ты счастлива? Отчего ты счастлива?

— Какой ты смешной! Счастье — или есть оно, или нет его.

— Неужели у тебя никогда не было никаких несчастий, бед, мучений? Тебя никто не обманывал? Никто не издевался над тобой?

— Не знаю... Может, и были... Ну и что, если и были?

— Да ведь бывает такое, что после уже и жить не хочется. И нельзя. Или если жить, то переродиться и стать совсем другим.

— Знаешь, на кого ты похож? На Пьеро. «Рыдаю, не знаю, куда мне деваться. Не лучше ли с кукольной жизнью расстаться?»

Опять смеешься... Или это всего лишь какая-то потрясающая легкомысленность? И ничего более? Но я чувствую под твоей внешней легкомысленностью что-то иное... Какую-то твердую почву под легкими волнами... Какую же?

— Может быть... Я себе всегда порчу настроение какими-то абсурдными вопросами к самому себе же...

— Знаешь что? На вторую пару я тоже не пойду. Мне так интересно с тобой. А третья начнется только через полтора часа.

— Но не задумывается о жизни лишь обыватель.

Будем лучше молчать. Слова не нужны сейчас. И они не решают ничего. Они лишь мешают чувствовать какое-то странное... излучение... исходящее от тебя... То, о чем с Шефом говорили позавчера утром — непосредственное ощущение состояния другого. Слегка обнимать твою талию, вдыхать аромат твоих волос, смотреть в твои большие серые глаза — зачем слова? Словно твоя энергия передается от тебя ко мне, заряжает меня и исцеляет: детская чистая радость, живость и порывистость, женская притягательность и какая-то интуитивная глубокая проницательность, и — неизъяснимая внутренняя стойкость, будто бы некая уверенность в неизменных и незыблемых правилах и законах всей жизни... Вот это и непонятно в тебе...

— Послушай, ты веришь во что-нибудь?

— Верю? Да, Малыш, верю: все, что ни делается, все — к лучшему.

Нет, это лишь одни слова... Это детская еще слепая наивность. Да у тебя просто не бывало, чтобы что-то произошло именно к худшему. Ты еще, очевидно, не теряла навсегда ничего и никого — как вовне, так и внутри своей души...

— Тогда это не страшно... Знаешь, есть много неплохих даже людей, но им вдруг заскочит в голову какая-нибудь сверхценная идея и как бы придавит их намертво. Что надо-де спасать всех без разбора от какой-то великой грядущей опасности или, наоборот, подписать всех в газовую камеру. Или то и другое вместе. Даже и так бывает. И с таким человеком уже дела иметь нельзя, потому что он будет внушать тебе эту идею, пока у него кровь носом не пойдет, и стоит с ним лишь для вида согласиться, как ты ему — уже лучший друг, а для вида не согласиться — и ты ему смертный враг.

— Нет, Малыш, у меня никакой такой идеи нет. Да и зачем они, эти идеи, нормальному человеку? Он и без них хороший.

— Такие вот хорошие люди — как правило, лишь жалкие обыватели и филистеры. Они просто не знают жизни или хуже того — намеренно не хотят ее знать, закрывают на нее глаза, прячутся от нее, как страусы — головой в песок. Но рано или поздно кто-нибудь их головы из песка выдирает и заставляет смотреть на мир без защитных фильтров. Вот тогда эти милые люди вдруг видят — вся жизнь есть лишь страдание, бессмысленное, абсурдное, ни к чему не ведущее. Люди умирают — и вырастает лопух на могиле. Более ничего не остается. Вот тут им и нужен какой-то миф! Какая-то иллюзорная идея, которая очень просто объяснила бы весь абсурд.

— Ты все усложняешь, Малыш. Не стоит так трагически смотреть на жизнь.

Примерно это и ожидал от тебя услышать... Не стоит! Какова фраза! Если прозрел, то снова ослепнуть уже нельзя. Я прозрел и увидел, что нахожусь в полном тупике. Нет — из тупика всегда можно пойти назад и снова прийти к той точке, в которой свернул с правильного пути... Но что значит для меня сейчас вернуться назад? Куда — назад? К той своей до-Истоминской слепоте? Но это невозможно. Нет, я не в тупике — гораздо хуже. Я в некоем нуль-пространстве, от-

куда нет никакого пути никуда — ни назад, ни вперед, ни вверх, ни вниз... Можно лишь висеть в этом вакууме и... И ждать? Ждать, что кто-то появится и укажет путь или проложит его? Смешно. «В ожидании Годо». Не так ли я жил в до-Истоминскую эпоху? Ожидание Чуда, ожидание Феи... И при этом полная бездеятельность и безволие. И к чему это привело? Так что же делать? Сама Судьба свела с тобой — значит, в тебе я и должен искать выход. И знаю, чувствую — только ты и поможешь мне его найти... Но как?!

— Усложняю? Да ведь когда видишь — вот шестимесячный выкидыш. Он уже человек, уже дышит, видит, чувствует, но матери своей не нужен и вообще никому на всей Земле, и его берут, как мерзкую лягушку, двумя пальцами за ухо и кидают в ведро помойное, и он там стонет...

— Хватит, Малыш... Теперь я начинаю понимать, почему ты такой циник. Все зло, может быть, от таких, как ты.

Отстранилась вдруг, отошла к окну и глядишь в него.

— Ты хотел бы рассечь скальпелем живую жизнь, заспиртовать ее, пронумеровать, описать системой интегральных уравнений, чтобы понять, почему она живая и именно такая, а не другая... Послушай, может быть ты — Сальери? Ты хочешь математически высчитать, почему цветок — красивый, а небо — голубое?

— Я никого еще не отравил и не собираюсь. И вообще — зависть мне не свойственна. Сальери... А ты когда-нибудь пыталась его понять? Почему один должен титаническими усилиями всю жизнь достигать того, что другому дано от рождения, даром, без всяких усилий с его стороны? К тому же, если этот другой еще и человек ничтожный и легкомысленный, и ни во что не ставит свое же сокровище, поскольку оно ему даром досталось? Где же справедливость? «Нет правды на земле, но правды нет и выше...» И если бы он не отравил Моцарта, то сошел бы с ума или покончил с собой. Потому что жить в абсурдном мире — нельзя.

— Ему потому весь мир казался абсурдным, что он никого и ничего не любил. И его, наверное, никто не любил.

Я не ошибся... Вот что скрывается под внешней твоей наивной радостью... Да, сама Судьба... Ты этот выход знаешь... Знаешь...

— Это не так. Он любил искусство. Более себя. Более всего. Ведь именно у Пушкина, раз уж ты его вспомнила — «одной любви музыка лишь уступит». Значит, любя более всего музыку, он тем самым любил весь мир.

— Нет, Малыш... С тобой ни о чем нельзя говорить... Ты все вывернешь по-своему, да еще так, что тебе сразу и не ответить... Знаешь, какая у тебя болезнь? Горе от ума.

— А что — лучше горе без ума?

— Все. Хватит. Иначе я на тебя рассержусь. Стой! Сколько времени?!

— Три двадцать...

— Бежим!

Ты уже в прихожей.

— Подожди. У тебя только эта пара осталась? Может быть, ты и ее прогуляешь?

— Малыш, ты эгоист. Приезжай к концу.

— Где тебя найти в твоем огромном политехе?

— У тебя есть записная книжка? Давай.

Достаешь из сумки авторучку. Ровные красивые буквы бегут по листу строка за строкой. Целых две страницы каких-то значков, букв, цифр — все зашифровано.

— А что такое А/яз, ЭЭСП, ТОЭ? АСУ-79-1?

— Потом объясню. Главное — номера кабинетов. Буква — корпус, первая цифра — этаж, остальные номер кабинета. Подай мне пальто, Малыш, чего же ты ждешь?

— Да. Прошу. Сейчас мы опять поймаем такси и успеем.

Застегиваешься. Достаешь помаду, красишь губы, глядя в зеркало...

Смотрю на твое отражение и не вижу самого себя. Ведь я должен отражаться рядом с тобой... Да может ли быть вдруг...

Перехватываешь в зеркале мой взгляд, замираешь на миг:

— Ты так смотришь на меня, Малыш... Поцеловать меня хочешь?

— Да...

Руки твои с каким-то робким порывом вдруг ложатся мне на плечи и тут

же быстро, страстно, сплетаются на шее. Пружина какая-то выскакивает, разжимается, бросает нас друг к другу... и лицо... твое — Гейнсборо сжег бы все портреты — вот оно, ближе, ближе, еще ближе...

Та же дорога серой лентой — к плотине.

— Знаешь, Галя, что это — рядом с моим домом? Кладбище. Казалось бы, на кладбище круглый год должна стоять поздняя осень, но вот ведь... Смешно — весна пришла на кладбище...

— Это тебе в назидание.

— Да, конечно! Жизнь побеждает смерть... Живая жизнь сильнее мертвых мыслей... Во всяком оптимизме есть что-то ужасно плоское. И во всяком отказе проникнуть в суть вещей есть что-то унизительное для самой мысли. Зачем дан разум? Чтобы бегал на посылках у слепой веры? Чтобы слепое, глухое, бесчувственное повелевало зрячим, чутким, проницательным?

Такси стоит у бензоколонки. Время замерло.

Что же будет, если все вдруг выйдет наружу? Псевдостудент — лжеиняза... даже сейчас поздно уже... «Ах вот как, Малыш... А я-то думала». И ведь это когда-нибудь обязательно... Но если ты вдруг как-нибудь узнаешь об Элен, о Зосимовой, о Кэт, о том несчастном мальчике, запинанном моей корпорацией, о всем моем бизнесе...

— А вдруг я и вправду Сальери? И уже кое-кого отравил?

— По тебе видно!

Рассмеялась... Шаловливо подергала прядь моих волос... И не верь. Не верь!

А может быть, сейчас все и выложить? Нет, поздно, поздно, поздно... Сам себя загнал в тупик с самого начала...

Да, я бросил вызов — Тем, наверху. Знаем друг друга всего каких-то четыре часа... Господи, сказал бы кто еще утром, что буду сегодня так трепетать... Сказал бы, что способен еще испытывать какое-то даже благоговение перед женщиной, такой юной, такой чистой, такой неискушенной — засмеялся бы ему в лицо. Судорожно и сдавленно засмеялся бы!

Услышали.

«Сей возжелал превзойти все человеческое, слишком человеческое! Преисполнился дерзости и раскрыл ящик Пандоры. Прими, человече, посланницу нашу!»

Прощальный взмах руки твоей отпечатывается в воздухе, раздваивается, множится, множится... Взлетаешь по исполински широким бетонным ступеням. Фигурка твоя на фоне бесконечно распахнувшегося в пространстве гранита — куколка младенческая среди...

Стеклянная дверь бросила блики в лицо, приняла, не не отразила.

АСУ-79-1, А/яз, Б-213.

Раскинул корпуса свои гранитные ввысь, вдоль, вширь, вглубь, ушел в землю, поднялся к Небу, заполнил величием своим подавляющим квадратный кубокилометр — Храм Твой Нечеловеческий!

Зачем, воистину, я здесь?

Привел меня сюда некий иллюзорный образ... Было ли, полноте? Быть может, я тяжело провалился в сон позавчера вечером — и привиделась мне во сне этом странная Девочка-Женщина... Она чиста, она радостна, она знает таинственную спасительную истину. И не пойму ее. И хочу любить ее... И, кажется, уже люблю. И не знаю, могу ли теперь любить, способен ли...

И с какою неотразимой силой потянулась ты ко мне, как железо к магниту — с первого же взгляда... И дело вовсе даже не в этом взгляде, не в этом удивительном блеске глаз твоих, не в безоглядной готовности ехать за мною куда глаза глядят, бросить все дела ради меня — нет, это все лишь внешнее, это могло быть из каприза, из одного лишь своеволия, да мало ли от чего... Дело в самой этой твоей силе притяжения ко мне, хотя бы она и не вылилась ни в слова, ни в дела — эту силу, энергию эту чувствую я вне всяких слов твоих, чувствую так, как тепло кожей или свет сквозь опущенные веки, когда и не надо ни видеть, ни слышать то, что дарит свет этот животворный и тепло благодатное. И если бы даже решил никогда более не встречаться с тобой, уже не смогу не встретиться хотя бы раз...

И тут дьявольский капкан! Мы уже привязаны друг к другу невидимою нитью, мы уже не можем не видеть друг друга... Но при этом все началось с чудовищной лжи... Нет, это не те слова мои о первом курсе, о восемнадцати го-

дах — это еще, может быть, и простительно... Главное в том, что ты веришь мне. Можешь ли ты и представить, что я раздавил Зосимову, Элен, Кэт, юношу того бедного, и меня не поразил Небесный Гром — я как прежде живу, дышу, улыбаюсь, говорю любезности... А между тем не исправить уже ничего... И раньше или позже ты узнаешь об этом, и тогда... А если и не узнаешь, так я сам тебе все это расскажу! И уж тогда...

Нет, надо уйти прямо сейчас. Навсегда уйти от тебя. Вычеркнуть из памяти этот день с тобой и этот день с мыслями о тебе. Порвать, пока не срослись еще душой и плотью друг с другом... Словно ты своей энергией поделила меня на две абсолютно противоположные половины — слишком большой плюсовой заряд на одном полюсе, слишком большой минусовой — на другом. И напряжение между ними таково, что они не снесут друг друга — один миг — искра — и груда дымящихся углей. И взрывная волна от меня убьет и тебя, если мы будем тогда уже единым духом и единой плотью.

Какая глухая тоска и холодная пустота наваливается... Как вчера вечером, когда разминулся с тобой в многотысячной толпе — словно плеснули на сердце жидкий азот, и оно вмиг превратилось в кусок льда...

Прочь, прочь из этого Нечеловеческого Храма... Пока не поздно.

А может быть, вы, Шеф, вот тут и поможете мне? Вам ведь из вашего надмирного парения все видно хорошо... Высоко сидите, далеко глядите... Великий мудрец, превзошедший все мирское, вы ответите мне. И вы тоже были молоды, и вы тоже, надеюсь, любили...

— Здравствуйте, Сергей Петрович. Не помешаю?

— Приветствую тебя. Проходи.

Нет, никакой обиды не видно в глазах ваших.

— Присаживайся, где хочешь. Чаю?

— Нет, благодарю. Я бы лучше покурил с вашего позволения.

— Садись тогда вот здесь, у окна. Возьми пепельницу.

Располагаетесь напротив меня в кресле. Ваша Суперстена из тысяч книг нависает над нами от пола до потолка.

— Знаете что... В прошлый раз я... Вы меня извините. Я слишком увлекся и переступил рамки учтивости.

— Полно тебе, Андрей. Я был таким же в твои годы. Свои убеждения надо уметь отстаивать.

— Вот о том я и хочу поговорить с вами... Точнее, не о том. Я ведь... Я вам никогда еще не рассказывал, из-за чего и как рухнула моя былая Суперстена, мой Иллюзион... Я еще два года назад был почти таким же, как вы — тому же поклонялся, перед тем же благоговел. Но наступил один день — и все рухнуло. Я понял — миром правят жестокость, обман, деньги и — сила. И я отверг все былые святыни и начал развивать в себе только силу. И утверждать ее. Сначала я наслаждался этим: был робким, уединенным, одиноким и беспомощным мечтателем — стал свободным, независимым, неуязвимым реалистом. Но время шло, и мне постепенно стало невыносимо скучно. Я переступил все барьеры, как и обещал вам три дня назад... Порвал все связи с людьми — помните, о чем вы говорили мне? И вот сейчас...

А может быть, напрасно я к вам пришел? Не поймете...

— Я тебя понимаю... Гамлет должен был мстить убийце отца и не мог не отомстить. Но мог ли он быть счастлив этим? Ведь пошла цепная реакция: смерть за смертью... А того ли он хотел? Он же хотел лишь восстановить справедливость.

Да, цепная реакция... Странно — вы отвечаете не на то, что говорю вам, а на то, что думаю... Впрочем, вы же и говорили о сверхъестественной передаче чувств и мыслей. Нет, не напрасно я пришел к вам. Вы мне ответите. Вы это сможете.

— И вот сейчас... Я абсолютно свободен. И при этом... не чувствую никакого желания жить. Не вижу ни смысла, ни цели... Вы были правы тогда: пока строишь свою Стену, становишься ее рабом, и когда она готова, то больше не нужна. А время потеряно. И если бы только время...

— Со мною в юности было почти то же самое, что у тебя теперь... И я тоже делил людей на недо- и сверх-.И страдал от вечного одиночества, от обреченности всю жизнь промучиться среди

обывателей. И я уже видел весь обман, в котором мы живем: Двадцатый съезд, борьба с культом Сталина, Солженицын, Сахаров, коммунизм к восьмидесятому году... И как потом все это свернули, одних посадили, других выслали... А русская моя натура брала свое: милосердие и сострадание к бедным, слабым, несчастным. Жалость ко всему живому. И хоть из нас это усиленно вытравляли, но тысячелетний православный склад души так просто не уничтожить. И можешь представить, как во мне боролись презрение к толпе и сострадание к обманутым? Казалось, еще немного, и тронусь умом... Я начал искать ответ. Учился тогда в аспирантуре, готовил кандидатскую по философии — и тут бросил все. Так и не женился, всех невест растерял... Все деньги уходили на книги. Я стал нелюдимым, замкнулся в себе. От старых друзей беспутной юности отстранился, новых еще не нашел... С марксизмом разобрался быстро, потом — Кант, Гегель, Лейбниц, но и там не нашел ответов, затем — Ницше, Фрейд, Шопенгауэр, от них перешел к индуизму, даосам, дзену и только запутывался все больше... Остался совсем один. И на грани сумасшествия. И тут, у самого края, ко мне вдруг пришло просветление. Трудно описать, что я пережил в тот миг... Всего несколько минут...

Словно Кто-то вырвал меня из земной жизни и вознес...

И знаешь, что это было? Удивительное родство со всей жизнью — большой и малой, высокой и низкой, святой и грешной... И, казалось, полное знание всех вещей, почти всеведение... При этом — уверенность в своем бессмертии. Почти физическая. Исчез всякий страх, всякие сомнения. Была только огромная, бескрайняя любовь ко всем людям — и самым близким, и самым дальним, и самым святым и чистым, и тем, кого считают самыми низкими, порочными и недостойными... И как я тогда раскаялся, даже удивился самому себе — почему же раньше-то был так слеп и грешен, как же сам-то был недостоин в вечной своей люциферовской гордыне интеллекта... А самым главным было во мне в те минуты живое чувство Высшей Силы — вот Он, Бог, здесь, рядом... Бог, сотворивший нас, любящий, милосердный, внимательный, терпеливый, милостивый Небесный Отец... А я отвергал Его в слепоте своей, не чувствовал Его присутствия вокруг, во мне, во всех людях — ближних и дальних...

Да, это было всего несколько минут... Потом я долго приходил в себя... Понял вдруг — теперь моя жизнь пойдет совсем по-другому. А вся прежняя... Она и была ради этих минут, лишь долгим приготовлением к ним. И у нее была своя цель, установленная Богом. И я с муками, с трудом, но все же неуклонно поднимался от неведения к пониманию мира, и себя, и людей, от ненависти и эгоизма — к любви, бескорыстию и милосердию, от варварства и низости — культуре и благородству: исполнял урок, все более и более сложный. И впереди еще долгий и тяжелый путь. И путь этот одинаков для всех людей. Только одни уже начали его, другие — еще нет. Одни идут по нему — их ведет Бог — и могут уже ясно сознавать, куда они идут и зачем, а другие не могут найти этот путь к Богу, и потому им нужно помочь, и поддержать, и утешить.

Но и они могут обрести путь. Он не закрыт ни для кого. Нужно лишь помочь им обратиться ко Христу. И к Церкви.

Вы умолкли и посмотрели на меня словно с затаенным вопросом. Что могу я ответить вам?

— Высшая сила... Которой я бросил вызов три дня назад — в твердом рассудке и здравом уме... Странно, что мы только сейчас заговорили об этом. Мне с самого начала казалось — у вас есть какая-то тайна... Высшая Сила... Бог... Вы говорите о православии — я ведь с самого раннего младенчества воспитывался бабушкой. И самые ранние мои воспоминания о детстве — это служба в церкви. Бабушка начала меня носить туда еще до того, очевидно, как я научился ходить. Каждый месяц я бывал с нею на литургии, причащался, а потом, с семи лет, и исповедовался... И дома все то же — Евангелие, пост, молитвы, все обряды и правила... И в детстве я не

чувствовал никакого отталкивания от православия, даже наоборот — жил с постоянным ощущением таинственного присутствия. Но шли годы — меня отдали в школу к плебеям-учителям и вандалам-одноклассникам. И нигде я не встретил ни одного человека, который любил бы Бога и ближних. И никто даже не думает об этом сейчас. И я уже начинал замечать, что священники — совсем не такие уж благостные служители Христовы, как казалось в детстве. К нему на исповедь идешь, а он с похмелья, от него перегаром несет. Или к причастию он уже забудет, как меня зовут, и снова имя спрашивает. И так далее, и так далее. И я начал подозревать, что они лишь театр разыгрывают, и при этом, может быть, даже сами-то в Бога не веруют! Ну а раз так, какова же цена Православию? Грош цена. И еще эта абсурдная догматика — добро в мире творится Богом, но зло — Дьяволом, и Бог позволяет это Дьяволу, чтобы тот нас искушал, а мы, борясь с искушениями, укрепились бы духом. Но какой смысл в этом? Почему Бог не сотворил нас сразу такими, как надо? Почему Бог не уничтожит Дьявола? А то, о чем вы говорили... Я ни в коей мере не хотел бы обидеть вас, но где гарантия, что вы не впали в новую иллюзию после старой? Я переживал нечто подобное два года назад, но потом это выветрилось бесследно. И мне вас трудно понять. Вы сами говорите — долгий путь, полный трудов и страданий... Мне бы разобраться с тем, что сейчас у меня... Знаете, зачем я к вам приехал? Посоветоваться... Вчера я познакомился с женщиной или, скорее, с девочкой... У нее какой-то особый мир. Никаких идей, никаких теорий, но какая сила в ее душе. Я еще не понимаю, что это... И не знаю, смогу ли понять... Но уже притянут этой силой. И эта женщина ко мне потянулась — безоглядно и безудержно... Два года назад, после той катастрофы, я понял — никогда уже не смогу поклоняться женщине и боготворить ее. И понял — женщинам можно лгать как угодно и соблазнять без всяких даже мук совести. Ведь они сами только того и ждут. Но вчера я вдруг почувствовал, что уже, вовсе против воли, начинаю любить эту женщину, притом ясно сознавая, что она — вполне земное существо... И я обманул ее с самого начала — сказал, что мне восемнадцать, что я первокурсник иняза: сработал условный рефлекс. И уже через пару часов начал раскаиваться в своем обмане. И мне стало даже жутко, как подумал, что будет, если она узнает о всех моих... О том, как я обхожусь с теми, кого считал и считаю недолюдьми. Она этого не поймет. А значит... Рано или поздно у нас все рухнет. И ведь она полюбила меня. Я уверен — полюбила... Помните, мы с вами говорили о непривязанности? А сейчас я чувствую, что уже привязан, намертво привязан... А где привязанность, там катастрофа, там мучения, там — зависимость! Да, зависимость! Именно то, с чем боролся два года в себе и вне себя и победил в конце концов. И сейчас — чтобы снова все повторилось... А ведь я, пожалуй, еще способен заглушить в себе это чувство к ней. Пока еще не поздно. И жить, как жил... Так что мне делать, Сергей Петрович?

Давлю сигарету в пепельнице и подхожу к вам. Что скажете, то и сделаю. Все равно, что монету бросить. Орел или решка. Самому мне этот узел не разрубить.

— Если ты не обольщаешься и она в самом деле любит тебя, то примет всего, какой ты есть. Едва ли в этом могут быть сомнения. Бывает, правда, тип женщин, для которых какая-нибудь идея может оказаться сильнее личного чувства, но такие женщины весьма редко встречаются.

— Да, я знал и таких женщин. Но сейчас — совсем не тот случай.

— Тогда — дерзай, чадо. Ты говорил, что утерял цель — вот тебе цель.

— Хорошо. Я полностью полагаюсь на ваш совет.

— Полностью полагаться ни на кого не стоит. И на меня не стоит. Я говорю лишь о вероятности. Впрочем, при любом исходе, благополучном и неблагополучном, это пойдет лишь на пользу твоей душе...

Воистину, не напрасно я съездил к вам, Шеф. Вот только забыл спросить у вас, что значит Мене Текел Упарсин...

Умиротворенный серый взгляд Неба застыл в высоте.

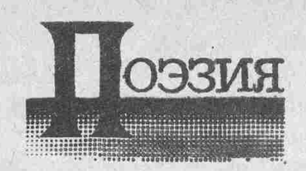
Рождается человек лицом к Небу, умирает лицом к Небу, женщина зачинает и рожает обратясь к Небу — словно силятся вспомнить... «Вот откуда пришел я сюда... Вот куда ухожу... Вот где тайна новой жизни во мне...»

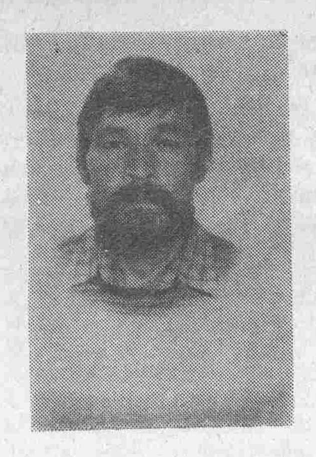
Ты — серое сегодня. Но не оттенок могильной свинцовости. Скорее — жемчужного благородства.

Зачем смотрим мы в Тебя? Что пытаемся вспомнить — и не можем?

Чего ждешь Ты от нас?

(Окончание следует)





Анатолий Богатых

РУССКАЯ ПЕСНЯ

□ □ □

...И в дни стыда, когда и русский
в ней вдруг оподлился во лжи,—
и в эти дни остаться русским —
служенье высшее души.

И в Вечной книге в час до света
пойми глухие письмена:
она не кончена для света,
но в поруганье отдана.

И в ней одной — святой, безумной,
где и уму почета нет,—
твое высокое безумье
тебе даровано, поэт...

□ □ □

Лишь при лампе, горбатой и ржавой,
мне покойно и хочется жить,
заслужив это горькое право
до рассвета с тобой говорить.
До холодного тусклого света,
до неяркого нищего дня...

— Голубая, всегда в эполетах,
как живая, идешь сквозь меня,—
осененная бывшею славой,
над тобой черно-желтая мгла,
а над мглой простирает двуглавый
закаленные в битвах крыла;
да сияет над грязью и потом
православья великая твердь
(оскверненных святынь позолота,
навсегда онемевшая медь);
да нечаянным жаром согретых
два десятка зачитанных книг
(дорогие глаза на портретах
незабвенных страдальцев твоих),—
вот и все, чем была ты и стала,
чем, возвысившись в мире, жила...—

В муках новую веру рождала —
и больное дитя родила.
И пленясь им, худым и беспутным,
ради этих неясных кровей —
ты в пути и во сне беспробудном
пожирала других сыновей.
А очнувшись, всплеснула руками,
огляделась в печали кругом
и глушила слезу кабаками,
опиваясь дешевым вином.

И тебя ли — родную — мне славить,
волоча, как подстреленный, стих? —
Но дороги твоей не оставить,
но тебя на земле не представить
без кровавых преданий твоих.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Антону Антоновичу Дельвигу

Вечный свет живет в очах.
Нимб в сиянье и в лучах...

Из сегодняшнего дня
что там слышно вам?
Пожалейте вы меня,
горемышного!

Заступитесь в небесах,
отмолите бедный прах.

Пожалейте палачей!
Им для нас не спать ночей,—
то военна, то цивильна —
Русь людишками обильна,
с каждым надо о судьбе,
по делам, не по злобе,
перекинуться умело,—
эвон в поле и в избе
сколько дела! —
допросить да попытать,
каблуком на яйцы встать,
сунуть в харю пистолет,
сознаешься али нет,
сучий хвост-антилигент,
на текущий на момент
расстрелять тебя в момент,
чтобы сгнил в казенной яме! —

И молчит ни жив ни мертв
добрый молодец-поэт.

И сидит, мочою пьян,
власть рабочих и крестьян
с левольвертом в кобуре,
козырьком лобешник стерт
до бровей, а под бровями
по стеклянной по дыре
(за окном — тюремный двор,
со двора — не дверь, а дверца,
завтра скажут приговор),
пар — душа,
а вместо сердца
ой ли пламенный мотор,
за окном лубянский двор,
век двадцатый на дворе
с левольвертом в кобуре
на излёте.

1917

...Так и было: встречали их песней — недужной и вечной,—
(что прощанья, что встречи — у нас эта песня одна),
и, с Великой войны принимая калек и увечных,
над великим страданьем выла больная страна.

Так и было: поникли убитою славой знамена,
горьким дымом тянуло от скорбных голодных полей
над венцом подневольным униженной царской короны,
над оглохшим набатом святых православных церквей.

И от зорь нестерпимых на годы полмира ослепло,—
это небо пылало, и пламени не было дна,
это было исчадьем грядущего вечного пекла.

И на Русскую Землю сходил Сатана.

□ □ □

...В День воскресенья, взрывая гробы,
встанем на страшную песню трубы,
с плеч отрясая могильную тьму,
и в оправданье протянем Ему —
хоть под ногтями! — немного земли,
той, о которой мы лгать не могли,
той, на которой извека стоим —
нищей, голодной,—
возлюбленной Им...

УЧИТЕЛЬ

...И взяв Его — тая ознобный страх —
они над Ним в безумье злом глумились
в ночь с четверга, и обреченно бились
с холодной тьмой огонь и дым костра;
а Он, воззвав на крестный путь добра,
один за всех прияв венец и путы,—
скорбел душой — как жалок взгляд Петра,
как сладок поцелуй Иуды...



Не буди этот вечный и страшный покой,
где немые могильные камни застыли,
где сгоревших усадеб забытые были,—
над великой рекой, под уездной звездой.
И дыханию ночи с порога дивясь,
слушай шорох и шепот дождя торопливый,
слушай кроткого ветра сквозные мотивы,—
как чужого наречья неясную вязь.

Та земля, что когда-то здесь жизнью звалась.
та земля, за которую кровь пролилась,
обернулась большой и мертвящей пустыней,
никому не нужна,— и деревни пустые
в ней с земли исчезают, землей становясь,
в ней поля не рожают и вечная грязь
непроезжих дорог...

Это сердце России.

ПУШКИН

...Быть может шелк знамен, устлавших
поля раздоров и войны,
и сон могил, и память павших
во имя трона и страны,
и новых дней служенье злое,
и славы ржавые венки —
в веках воистину не стоят
его единственной строки...



— А как нелюдь копытом прошла по стране,
а как нехристь людей испытала в огне,—
то не молвит язык, защемленный зубами.

Это стылое время уснуло во мне,
это снится мне время в предутреннем сне,
это время бередит бессонную память.

...Слышишь слово людское, да звуки не те.
Помнишь новые гимны — словами другими.

Глянешь — бронзовый идол парит в пустоте,
оплетая пространство глазами пустыми.

И пространство молчит в ледяной темноте.

Нам,— (оставшимся здесь) — в непроглядной дали,
в забытьи поминать: — это люди иль тени? —
в эскадронах рассеянных, в крымской пыли,
докатившись до краешка русской земли,
припадают к земле, преклоняя колени.

Нам — своих дорогих мертвецов хоронить,
нам — в стенах одичалых не чувствовать дома,
как нам ежиться, корчиться как нам и выть
в рукавицах наркомов...

ХУДОЖНИК

...— А ныне,— в этот день и в этот год,
в череде других, отпущенных как милость,
в толпе других (ты помнишь ли, народ,
что именем твоим творилось?),—
со всеми будь. Будь равным нищете.
Оставь свои бесплодные проклятья
той — ледянейшей душу — пустоте
в больной душе твоих больных собратьев,—
так Он хотел. И может быть, теперь
твой высший долг — не над толпой подняться,
но раствориться в ней, чужой тебе,
и, горний дух храня, собой остаться.
Самим собой... а там хоть лечь костьми,
живя, как все, в обвальном, шатком зданье,—
судьбу народа, как свою, прими,
сильней его осознанным страданьем.

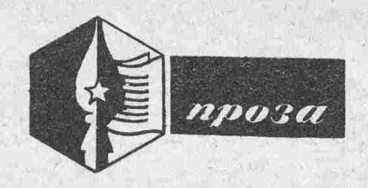
Богатых Анатолий Дмитриевич родился в 1956 году.

Учился в политехническом институте, служил в армии, работал начальником почтового вагона.

В 1988 году закончил Литературный институт им. М. Горького.

Автор публикаций в периодической печати, в альманахе «Сибирь».

Живет в Москве.



Н. А. Соколов

УБИЙСТВО ЦАРСКОЙ СЕМЬИ*

Причины перевоза Царской семьи из Царского в Тобольск

Что послужило причиной перевоза царской семьи в Тобольск?

Выше я приводил уже показание свидетельницы Эрсберг по этому вопросу. Так же освещают его и другие свидетели:

Теглева: «Мне говорили дети, что причиной нашего переезда в Тобольск послужило опасение правительства за наше благополучие. Правительство опасалось ожидавшихся тогда беспорядков»,

Жильяр: «Этот переезд был вызван опасениями Правительства за благополучие семьи. Правительство тогда решило взять более твердый курс в управлении страной. Но в то же время оно опасалось, что новый курс может повлечь за собой народные вспышки, с которыми ему придется бороться вооруженной силой. Опасаясь, что эта борьба может ударить, так сказать, «рикошетом» по нас, Правительство и решило выбрать для царской семьи иное, более спокойное место. Обо всем этом я вам передаю со слов или Ее Величества, или Великих Княжен. Им же мотивировал так решение Правительства Керенский».

Так ли это было на самом деле?

Князь Львов показал: «Летом, в первой половине июля Правительство пришло к убеждению, что нахождение царской семьи около Петрограда стало абсолютно невозможным. Страна явно шла под уклон. Нажим на Правительство со стороны советов делался все сильнее... Ясно было, что царскую семью для ее благополучия нужно было куда-то увезти из Царского. Обсуждение всех вопросов, связанных с этой необходимостью, было поручено Керенскому. Он делал тогда доклад Правительству. Было решено перевезти ее в Тобольск. Сибирь тогда была покойна, удалена от борьбы политических страстей, и условия жизни в Тобольске были хорошие: там удобный хороший губернаторский дом. Юг не мог быть таким местом: там уже шла борьба. Решение вопроса о перевозе семьи в Тобольск состоялось при мне. Но самый ее отъезд имел место уже после моего ухода из состава Правительства».

Керенский показал: «Причиной, побудившей Временное Правительство перевезти царскую семью из Царского в Тобольск, была все более обострявшаяся борьба с большевиками. Сначала проявлялось большое возбуждение в этом вопросе со стороны солдатско-рабочих масс. Мое упоминание 20 марта в Москве про возможный отъезд царской семьи из Царского (в Англию) вызвал налет на Царское со стороны Петроградского совета. Совет тут же отдал распоряжение по линиям, не выпускать никаких поездов из Царского, а потом в Царское явился с броневыми машинами член военной секции совета Масловский (левый эсер, библиотекарь Академии Генерального Штаба) и пытался взять Царя. Он не исполнил этого только потому,

---

* Продолжение. Начало см. Сибирь № 2, 1990.

что в последнюю минуту он растерялся. Царское было для нас, для Временного Правительства, самым больным местом. Для большевиков это было бельмом на глазу. Кронштадт и Царское: два полюса. Они вели сильнейшую агитацию против Временного Правительства и лично против меня, обвиняя нас в контр-революционности. Они усерднейшим образом вели пропаганду среди солдат, несших охрану в Царском, и разлагали их. Бывая в Царском и узнавая там о разных непорядках, я должен был реагировать на это, иногда прибегая к резким выражениям. Настроение солдат было напряженно-недоверчивое. Из-за того, что дежурный офицер, по старой традиции дворца, получал из царского погреба полбутылки вина, о чем узнали солдаты, вышел большой скандал. Неосторожная езда какого-то шофера, повредившего ограду парка автомобилем, также вызвала среди солдат подозрения и толки, что Царя хотели увезти. Все это создавало дурную атмосферу, мешало Временному Правительству работать и отнимало у нас реальную силу: царскосельский гарнизон, настроенный до того лояльно по отношению к Временному Правительству, гарнизон, в котором мы видели опору против разложившегося уже Петрограда».

Мне кажется, что вопрос, который я анализирую: об увозе царской семьи в Тобольск, по самой логике, является соединением двух разных вопросов: а) почему царская семья была увезена из Царского, б) почему новым местом ее заключения оказался Тобольск.

Случай с Масловским, о котором говорит Керенский, имел место в первые дни смуты. Он был индивидуален. После этого не случилось ничего, что непосредственно угрожало бы царской семье в Царском.

Мотивируя Царю необходимость отъезда из Царского, Керенский, конечно, должен был говорить о благополучии семьи. Что иное мог он сказать в его положении? На следствии он указал иные причины, связанные с благополучием не Царя, а Временного Правительства. К этому ничего добавить нельзя.

Почему для нового заключения царской семьи был выбран именно Тобольск?

Глава Временного Правительства князь Львов объяснил такой выбор опять-таки благополучием семьи: в Сибири спокойно, а в губернаторском доме удобно.

Сам Керенский показал: «Было решено (в секретном заседании) изыскать для переселения царской семьи какое-либо другое место, и все разрешение этого вопроса было поручено мне. Я стал выяснять эту возможность. Предполагал я увезти их куда-нибудь в центр России, останавливаясь на имениях Михаила Александровича и Николая Михайловича. Выяснилась абсолютная невозможность сделать это. Просто немыслим был сам факт перевоза Царя в эти места через рабоче-крестьянскую Россию. Немыслимо было увезти их и на Юг. Там уже проживали некоторые из Великих Князей и Мария Федоровна, и по этому поводу там уже шли недоразумения. В конце концов, я остановился на Тобольске. Отдаленность Тобольска и его особое географическое положение, ввиду его отдаленности от центра, не позволяло думать, что там возможны будут какие-либо стихийные эксцессы. Я, кроме того, знал.



Император Николай II

что там удобный губернаторский дом. На нем я и остановился. Первоначально, как я припоминаю, я посылал в Тобольск комиссию, в которую, кажется, входили Вершинин и Макаров, выяснить обстановку в Тобольске. Они привезли хорошие сведения».

Я не могу понять, почему везти Царя из Царского куда-либо, кроме Тобольска, означало везти через рабоче-крестьянскую Россию, а в Тобольск — не через рабоче-крестьянскую Россию.

Жизнь того времени была повсюду полна «недоразумений», но все Августейшие Особы, жившие на Юге, спаслись, так как они были вблизи границ страны.

Место увоза Царя из Царского тщательно скрывалось от него до последнего момента. Свидетельница Занотти показывает: «Они надеялись, что их из Царского отправят в Крым, и им этого хотелось. Они не знали потом, куда именно их отправляют, когда их увозили в Тобольск. Им это не было известно даже в том момент, когда они в самый отъезд были еще в доме. Я знаю, что Государя это раздражало: что ему не говорят, куда именно их везут, и он выражал свое неудовольствие по этому поводу».

Так же говорят об этом и все другие свидетели.

Такой способ заботы об удобствах других не представляется ли странным? И разве ливадийские дворцы были менее удобны, чем губернаторский дом захолустного города?

Часто бывает, что истина, когда ее пытаются скрыть, обнаруживается в маленьких штрихах, в деталях.

Полковник Кобылинский, описывая отъезд из Царского, показывает: «Приблизительно за неделю до отъезда семьи из Царского к нам приехал Керенский, вызвал меня, председателя совдепа (Царскосельского) и председателя военной секции царскосельского гарнизона прапорщика Ефимова. Керенский сказал нам следующее: «Прежде чем говорить вам что либо, беру с вас слово, что все это останется секретом». Мы дали слово. Тогда Керенский объявил нам, что по постановлению Совета Министров вся царская семья будет перевезена из Царского, что Правительство не считает это секретом от демократических учреждений».

Временным Правительством были командированы доставить царскую семью в Тобольск два лица: член Государственной думы Вершинин и помощник комиссара по Министерству Двора Макаров. Они составили в Тобольске акты, подписанные Государем.

Но Керенский не ограничился этим. Вместе с указанными лицами он отправил сопровождать семью еще упомянутого прапорщика Ефимова. Зачем? Кобылинский, бывший в курсе намерений Керенского, показал: «Для того, чтобы он, по возвращении из Тобольска, мог доложить совдепу (Царскосельскому) о перевозе семьи».

Вот где лежала причина того, что царская семья оказалась в Тобльске, могли Керенский поселить семью в крымских дворцах? Что стал бы тогда докладывать совдепу демократ Ефимов?

Был только один мотив перевоза царской семьи в Тобольск. Это тот именно, который остался в одиночестве от всех других, указанных князем Львовым и Керенским: далекая холодная Сибирь, тот край, куда некогда ссылались другие.

Отъезд из Царского.— Прибытие в Тобольск

С царской семьей отбыли в Тобольск следующие лица: 1) генерал-адъютант Илья Леонидович Татищев, 2) гоф-маршал князь Василий Александрович Долгоруков, 3) лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин, 4) воспитатель наследника Цесаревича Петр Андреевич Жильяр, 5) личная фрейлина графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, 6) гоф-лектрисса Екатерина Адольфовна Шнейдер, 7) воспитательница Гендриковой Викторина Владимировна Николаева, 8) няня детей Александра Александровна Теглева, 9) ее помощница Елизавета Николаевна Эрс-

берг, 10) камер-юнгфера Мария Густавовна Тутельберг, 11) комнатная девушка Государыни Анна Степановна Демидова, 12) камердинер Государя Терентий Иванович Чемодуров, 13) его помощник Степан Макаров, 14) камердинер Государыни Алексей Андреевич Волков, 15) лакей Наследника Сергей Иванович Иванов, 16) детский лакей Иван Дмитриевич Седнев, 17) дядька Наследника Клементий Григорьевич Нагорный, 18) лакей Алексей Егорович Трупп, 19) лакей Тютин, 20) лакей Дормидонтов, 21) лакей Кисилев, 22) лакей Ермолай Гусев, 23) официант Франц Журавский, 24) повар Иван Михайлович Харитонов, 25) повар Кокичев, 26) повар Иван Верещагин, 27) поварский ученик Леонид Седнев, 28) служитель Михаил Карпов, 29) кухонный служитель Сергей Михайлов, 30) кухонный служитель Франц Пюрковский, 31) кухонный служитель Терехов, 32) служитель Смирнов, 33) писец Александр Кирпичников, 34) парикмахер Алексей Николаевич Дмитриев, 35) гардеробщик Ступель, 36) заведующий погребом Рожков, 37) прислуга при Гендриковой Паулина Межанц, 38 и 39) прислуга при Шнейдер Екатерина Живая и Мария (фамилия неизвестна).

Позднее в Тобольск прибыли: 40) преподаватель английского языка Сидней Иванович Гиббс, 41) доктор медицины Владимир Николаевич Деревенько, 42) личная фрейлина баронесса Софья Карловна Буксгевдень, 43) камер-юнгфера Магдалина Францевна Занотти, 44) комнатная девушка Анна Яковлевна Уткина, 45) комнатная девушка Анна Павловна Романова, но три последние допущены к семье в Тобольске не были.

Татищев немедленно ответил согласием, когда узнал, что на него пал выбор Государя. Позднее, когда он был отделен от семьи и заключен в тюрьму, намекая, видимо, на раздумье Нарышкина, он говорил своему компаньону по тюремной камере: «На такое Монаршее благоволение у кого и могла ли позволить совесть дерзнуть отказать Государю в тяжелую минуту? Было бы нечеловечески черной неблагодарностью за все благодеяния идеально доброго Государя даже думать над таким предложением; нужно было считать его за счастье».

Керенский показал: «Царю не делалось никаких стеснений в выборе тех лиц, которых он хотел видеть около себя в Тобольске. Я хорошо помню, что первое лицо, которое он выбрал, не пожелало быть с ним и отказалось. Я положительно это удостоверяю. Кажется, таким лицом был Нарышкин. Тогда царь выбрал Татищева. Татищев согласился. Я нахожу нужным, чтобы Вами, г. Следователь, было отмечено следующее: — Татищев держал себя вообще с достоинством, вообще, как должно, что тогда в среде придворных было редким исключением».

14 августа царская семья выбыла из Александровского дворца на нескольких автомобилях под охраной драгун 3 Прибалтийского полка.

Отъезд ее с вокзала состоялся в 6 часов 10 минут утра.

Было два поезда. Оба они следовали под японским флагом. В одном находилась царская семья, свита, часть прислуги и рота 1 Лейб-Гвардии Стрелкового полка, в другом — остальная прислуга и роты 2 и 4 полков.

В вагоне международного общества царской семье было предоставлено четыре купе. С ней ехали в этом вагоне Демидова, Теглева, Эрсберг, Чемодуров и Волков.

Поезда останавливались на малых станциях. Более продолжительные остановки делались в поле.

Путешествие через «рабоче-крестьянскую» Россию прошло благополучно. Только на станции Званке железнодорожные рабочие пожелали узнать, кто следует в специальном поезде. Узнав, они удалились.

На станции Тюмень семья села на пароход «Русь» и прибыла в Тобольск 19 августа в 4 часа дня.

Дом не был готов к ее приезду. Несколько дней она провела на пароходе и перешла в дом 26 августа. Государыня с Наследником ехала в экипаже, Государь с княжнами — пешком.

Тобольский дом*

Тобольский дом, где жила заключенная царская семья, находился на улице, получившей после переворота название «улица свободы». Ранее в нем жил губернатор.

Это — каменный дом, в два этажа, с коридорной системой.

Первая комната нижнего этажа справа, если идти по коридору от передней, занималась дежурным офицером. В соседней с ней — помещалась комнатная девушка Демидова. Рядом с ее комнатой — комната Жильяра, а далее столовая.

Против комнаты дежурного офицера находилась комната камердинера Чемодурова. Рядом с ней — буфетная, а далее шли две комнаты, где жили камер-юнгфера Тутельберг, няня детей Теглева и ее помощница Эрсберг.

Над комнатой Чемодурова шла лестница в верхний этаж. Она выходила в угловую комнату: кабинет Государя. Рядом с ним был зал. Одна из его дверей выходила в коридор, также деливший дом на две половины. Первая комната направо, если идти от зала, служила гостиной. Рядом с ней — спальня Государя и Государыни, а далее, — комната Княжен.

С левой стороны коридора, ближе к передней была шкафная комната. Соседняя с ней — спальня Наследника, а далее — уборная и ванная.

Дом был теплый, светлый.

Жизнь семьи в Царском

Первое время, приблизительно месяца полтора, было едва ли не лучшим в заключении семьи.

Власть была в руках полковника Кобылинского. Местным властям он не подчинялся. Посланцев же центра не существовало.

Жизнь сразу вошла в спокойное, ровное русло.

В 8 часов 45 минут подавался утренний чай. Государь пил его в своем кабинете всегда с Ольгой Николаевной; остальные дети — в столовой.

После чая до 11 часов Государь занимался у себя: читал или писал свои дневники. Затем он шел на воздух и занимался физическим трудом. Обыкновенно он пилил дрова.

Дети, кроме Ольги Николаевны, до завтрака, с часовым перерывом занимались уроками.

В час был завтрак.

Затем Государь и Княжны шли на воздух. К ним приходил несколько позднее и Наследник, обычно отдыхавший после завтрака по требованию врачей.

Все они обыкновенно пилили дрова. Их общими трудами была выстроена площадка над оранжереей и лестница. Здесь на площадке, обращенной к солнцу, они любили сидеть.

От 4 до 5 часов Государь преподавал Наследнику историю.

В 5 часов подавался чай.

После чая Государь проводил обычно время у себя в кабинете. Дети до 8 часов занимались уроками.

В 8 часов подавался обед.

После обеда семья собиралась вместе. К ней приходили Боткин, Татищев, Долгоруков и другие. Беседовали, играли. Иногда Государь читал вслух.

В 11 часов подавался чай. Затем все расходились. Наследник ложился спать вскоре после обеда.

Государыня обычно не покидала своей комнаты до завтрака. В эти часы она или преподавала у себя некоторые предметы детям, или занималась чтени-

---

* Кроме указанных выше судебных доказательств, я пользуюсь в освещении тобольского периода показаниями свидетелей: учительницы детей К. М Битнер, офицера отряда Н. А. Мунделя и записями в дневнике графини А. В. Гендриковой. Битнер и Мундель были допрошены мною в г. Ишиме — первая 4 августа, а второй 6 августа 1919 года. Дневник графини Гендриковой был обнаружен в здании уральского областного совета 4 сентября 1918 года товарищем прокурора Н. И. Остроумовым.



Царская семья. Император Николай Александрович, Императрица Александра Федоровна, их дочери. Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и сын Алексей

ем, рукоделиями, живописью. Чаще всего она и обедала у себя вместе с Алексеем Николаевичем: она все время жаловалась на сердце и избегала ходить в столовую, находившуюся в нижнем этаже. Иногда, оставаясь одна в доме, она играла на пианино и пела.

Вместе с семьей обедали Гендрикова, Шнейдер, Татищев, Долгоруков, Боткин, Жильяр и Гиббс. По праздникам приглашался доктор Деревенько и его сын гимназист Коля.

Обед готовил старый царский повар Харитонов. Стол был удовлетворительный. За завтраком подавались супы, мясо, рыба, сладкое, кофе. Обед состоял из таких же блюд и фруктов, какие можно было достать в Тобольске.

В сравнении с царскосельской жизнь в Тобольске имела одно преимущество: семья имела возможность здесь посещать церковь. Всенощные богослужения и в Тобольске совершались на дому. Литургии же (ранние) совершались для нее в церкви Благовещения.

Население участливо относилось к заключенным. Когда народ, проходя мимо дома, видел кого-либо в окнах, он снимал шапки. Многие крестили узников.

Разные лица присылали провизию. Большое участие в жизни семьи прини-

мал Ивановский женский монастырь.

В Тобольске было спокойнее, чем в Царском. Но это было... сибирское спокойствие. Все здесь было однообразно. Семья жила в тесном мире одних и тех же событий, одних и тех же интересов. Здесь было скучно. Дом, огороженный двор да небольшой сад — вот вся территория, доступная семье. Всегда одни и те же люди. Даже в церкви узники не могли иметь ни с кем общения, так как народ не допускался, когда там молилась семья.

Физический труд, качели и ледяная гора — это все развлечения, доступные для них.

Чтобы скрасить жизнь, дети усиленно занимались уроками. Им преподавали: Государь — историю Алексею Николаевичу, Государыня — богословие всем детям и немецкий язык Татьяне Николаевне. Математику и русский язык преподавала Битнер. Гендрикова занималась по истории с Татьяной Николаевной. Жильяр и Гиббс преподавали французский и английский языки.

Иногда ставились домашние пьесы на английском и французском языках. В них принимали участие дети.

Грусть была у детей, когда они в свободные часы сумерек сидели у окна и на «улице свободы» видели свободных людей.

То же чувство звучит в некоторых записках Государыни к Гендриковой, когда она именует в них себя «узницей».

Наследник отмечает в дневнике 22 ноября 1917 года: «Весь день прошел как вчера, и так же скучно».

Среди документов царской семьи имеется записка, писанная рукою Шнейдер*. Там записаны отрывочные мысли: «... Расхищают казну и иноплеменники господствуют... Насильственное пострижение — тяжелая смерть... А на окнах не легкие узоры, а целые льдины».

Чьи скорбные думы оставила после себя Шнейдер?

Комиссар Временного Правительства Панкратов и его помощник Никольский

В сентябре месяце в Тобольск прибыл комиссар Панкратов и его помощник Никольский. Это были посланцы центра.

Полковник Кобылинский показал: «Панкратов привез с собой бумагу за подписью Керенского, в коей говорилось, что я поступаю в полное подчинение Панкратова и должен исполнять то, что он мне будет приказывать».

В показании Керенского значится: «Главным лицом, представлявшим в Тобольске власть Временного Правительства, был Панкратов, назначенный мною. Затем, по его ходатайству и по его рекомендации, ему был назначен помощником Никольский, мне неизвестный».

Василий Семенович Панкратов имел в своем прошлом весьма солидный багаж, чтобы оказаться достойным караулить заключенного Царя. Полковник Кобылинский показал: «Этот Панкратов, как он сам рассказывал, будучи 18 лет, убил в Киеве, защищая какую-то женщину, какого-то жандарма, был за это судим и заключен в Шлиссельбургскую крепость, где в одиночном заключении пробыл 15 лет, после этого он был сослан в Якутскую область, где пробыл 27 лет».

Помощник его Александр Владимирович Никольский был также в ссылке в Якутской области за свою принадлежность к партии эсэров, где и сошелся с Панкратовым.

Свидетели характеризуют этих людей и их отношение к царской семье в таких красках.

Кобылинский: «Панкратов был чело-

---

* Эта записка, относящаяся к тобольскому периоду заключения царской семьи, обнаружена в числе документов товарищем прокурора Н. И. Остроумовым 4 сентября 1918 г. в здании уральского областного совета в Екатеринбурге.

век умный, развитой, замечательно мягкий. Никольский — грубый, бывший семинарист, лишенный воспитания человек, упрямый, как бык: направь его по одному направлению, он и будет ломить, невзирая ни на что».

Теглева: «Про Панкратова я должна по совести сказать, что он был человек по душе хороший. Он был социалист и был в ссылке где-то в Сибири. Он был человек добрый и сердечный. К семье, в особенности к Княжнам и особенно к Марии Николаевне, он относился хорошо. Марию Николаевну он любил больше всех. Государь при встречах разговаривал с ним. Никольский же был груб и непорядочен. Он был противоположность Панкратову. Панкратов проявлял заботу о семье, как мог. Никольский держал себя совсем по-другому и, не будь около нас Кобылинского, он бы, пользуясь слабохарактерностью Панкратова, наделал нам много плохого».

Эрсберг: «Панкратов был хороший, честный, добрый человек. Он хорошо в душе относился к ним и, как заметно было, жалел их. Особенно он любил Марию Николаевну. Однажды она зашибла себе глаз: упала. Он, услыхав об этом, сейчас же прибежал и заметно беспокоился из-за этого. Так же он относился к болезням Алексея Николаевича. Он и к Государю относился внимательно. Иногда он приходил к нам и любил рассказывать Княжнам и Алексею Николаевичу о своей ссылке в Сибири. Они любили его слушать. Никольский был страшно грубый и недалекий. Он худо относился не только к ним, но и к нам».

Ввиду однообразия не привожу показаний других свидетелей.

Однако дело было не в личных свойствах Панкратова и Никольского. Они были представителями власти. Чем они были для семьи в этом отношении?

Свидетели показали:

Жильяр: «Они (Панкратов и Никольский) были главными распорядителями нашей жизни, и им был подчинен полковник Кобылинский. Они принесли нам вред бессознательно: своим обращением с нашими стрелками, они их разложили».

Кобылинский: «Панкратов сам лично не был способен причинить сознательно зло кому-либо из царской семьи, но тем не менее выходило, что эти люди ей его причиняли. Это они делали, как партийные люди. Совершенно не зная жизни, они, самые подлинные эс-эры, хотели, чтобы все были эс-эрами, и начали приводить в свою веру солдат. Они завели школу, где учили солдат грамоте, преподавая им разные хорошие предметы, но после каждого урока понемногу они освещали политические вопросы. Это была проповедь Эс-эровской программы. Солдаты слушали и переваривали посвоему. Эта проповедь эс-эровской программы делала солдат, благодаря их темноте, большевиками».

То же самое говорят все другие свидетели.

Сердце Царя скорбело, когда он наблюдал, что новая власть стала проделывать над русскими солдатами. Здесь лежал источник той иронии, с которой Государь относился в Панкратову, дав ему прозвище «маленький человек»: Панкратов был невысокого роста.

Кроме пропаганды, были и другие причины, разлагавшие солдат. Когда отряд уходил из Царского в Тобольск, Керенский обещал солдатам всякие льготы, улучшенное вещевое довольствие по петроградским ставкам. Условия эти не соблюдались, суточные деньги совсем не выдавались. Это озлобило солдат и способствовало развитию среди них большевистских настроений.

Пребывание в Тобольске Панкратова и Никольского продолжалось довольно долго: они пережили власть Временного Правительства, оставаясь комиссарами и после большевистского переворота. Их выгнали сами солдаты, обольшевичившиеся в громадной массе. Это призошло 9 февраля 1918 года.

Тобольский отряд.—Солдаты и офицеры. Полковник Кобылинский

Комиссар Макаров, доставивший царскую семью в Тобольск, прислал ей из Царского вино «сен-рафаэль». Им пользовались, как лекарством.

Когда Никольский увидел ящики с вином, он собственноручно вскрыл их и перебил топором все бутылки. Эрсберг показала: «Его даже солдаты ругали за это идиотом».

Детям скучно было в доме. Хотелось на воздух. Невесело было и во дворе, закрытом высоким забором. Тянуло посмотреть на улицу, на свободных людей. Никольский заметил это и решил пресечь такое нарушение правил. «Взрослый человек», показывает Теглева: «Никольский имел глупость и терпение долго из окна своей комнаты наблюдать за Алексеем Николаевичем и, увидев, что он выглянул через забор, поднял целую историю». «Он», показывает Кобылинский: «прибежал на место, разнес солдата и в резкой форме сделал замечание Алексею Николаевичу. Мальчик обиделся на это и жаловался мне, что Никольский «кричал» на него. Я тогда же потребовал от Панкратова, чтобы он унял усердие не по разуму Никольского... Когда они (Панкратов и Никольский) приехали и ознакомились с нашими порядками, Никольский сразу же заявил мне: «Как это у вас так свободно уходят, приходят? Так нельзя. Так могут и чужого человека впустить. Надо их всех снять». Я стал его отговаривать от этого, так как часовые и без того прекрасно всех знают. Никольский ответил мне: «А нас, бывало, заставляли сниматься и в профиль и в лицо! Так надо же и их (прислугу и свиту) снять».

Не разум носителя власти руководил Никольским, а чувство тупой злобы и бессмысленной мести. Он хотел мстить и в злобе не разбирал, что мстит не Царю даже, а свите и прислуге.

Наглядное поведение Никольского развращало солдат: они тоже мстили.

Первое, на что устремилось их внимание, были качели для детей. Они стали покрывать доску качелей отвратительными по цинизму надписями.

Как в Царском под влиянием Домодзянца, так здесь под влиянием Никольского солдаты перестали отвечать на приветствия Государя. Однажды он поздоровался с солдатом: «Здорово, стрелок» и получил в ответ: «Я не стрелок. Я — товарищ».

Кобылинский показывает: «Государь надел черкеску, на которой у него был кинжал. Увидели это солдаты и подняли целую историю: «Их надо обыскать. У них есть оружие». Кое-как удалось мне уговорить эту потерявшую всякий стыд ватагу, что не надо производить обыск. Пошел я сам просить Государя отдать мне кинжал, объяснив ему о происшедшем. Государь передал кинжал».

Провожая старых солдат, выражавших чувства преданности семье, Государь и Государыня поднялись на ледяную гору во дворе, чтобы через забор видеть их отъезд. Оставшиеся солдаты ночью срыли гору.

Во время литургии в первый день Рождества дьякон Евдокимов, по приказанию священника Васильева, провозгласил за молебном многолетие Императору по старой формуле. Это вызвало бурю в солдатской среде. Солдаты вынесли постановление убить священника, и епископ Гермоген был вынужден удалить его временно в монастырь. В конце концов, злоба их пала на семью. Они постановили царской семье не посещать церковь: пусть молятся дома в присутствии и под наблюдением солдат. С трудом Кобылинскому удалось вырвать решение, чтобы семья посещала церковь в двунадесятые праздники.

В дневнике графини Гендриковой значится: 27 января: «В церкви не были: солдаты постановили пускать в церковь только по двунадесятым праздникам»;

15 февраля: «Солдатский комитет не позволил им и сегодня пойти в церковь»; 17 февраля: «Вчера и сегодня службы дома».

Присутствовал за домашним богослужением в роли контролера солдат Дорофеев. Священник упомянул в молитве Святую Царицу Александру. По невежеству Дорофеев не понял смысла молитвы и поднял большой скандал. Едва его умиротворил полковник Кобылинский.

Без всякого видимого повода солдаты выселили свиту и прислугу, живших в отдельном доме купца Корнилова, и поселили всех с царской семьей, стеснив ее удобства.

Долго обсуждали они вопрос о снятии погонов офицерами. Вынесли решение и потребовали через Кобылинского, чтобы снял погоны и Государь. Понимая, как оскорбительно будет для него это требование, Кобылинский долго боролся с солдатами, грозя им и английским королем и германским императором. Солдаты стояли на своем и грозили Государю насилием. Кобылинский вынужден был обратиться к нему через Татищева. Государь подчинился и снял погоны.

Рядом с этими прискорбными фактами данные следствия устанавливают однако и иные.

В Царском едва намечалось деление офицерского и солдатского настроения к Царю и его семье. В Тобольске оно выразилось резко.

Я не могу назвать ни одного имени из офицерской среды, с которым бы связывалось что-нибудь худое для семьи.

Наряду с солдатами, отравлявшими жизнь в Тобольске, были солдаты, питавшие совсем иные чувства к Царю и его семье. Свидетели показывают:

Теглева: «Все они (солдаты) разделялись на две партии. Одна партия относилась к семье хорошо, другая худо. С этими Кобылинскому приходилось туго. Когда дежурили хорошие солдаты, Государь ходил к ним в их караульное помещение, где помещались дежурные солдаты, разговаривал с ними и играл в шашки. Ходил туда к ним и Алексей Николаевич и Княжны тоже ходили с Государем».

Эрсберг: «Многие солдаты из нашего караула относились к ним хорошо. Такие жалели и на словах, и на деле семью. Помню, особенно хорошо к ним относился солдат первого полка стрелок... Он весьма старался, от души старался устроить в доме как лучше для них, когда мы приводили его в порядок».

Этот стрелок, когда ему истек срок службы, не желал уходить от семьи. Он хотел остаться в составе охраны, считая «своим долгом» остаться служить Царю. Ему не позволили этого сделать другие солдаты.

Стараясь не показывать воочию своих чувств, некоторые солдаты тайком пробирались в кабинет Царя и там давали простор им. Кобылинский показывает: «Когда солдаты, хорошие, настоящие солдаты уходили из Тобольска, они тихонько ходили к нему (к Государю) наверх (в его кабинет) и прощались, целовались с ним».

Много злостного мне приходилось слышать о полковнике Кобылинском: ставленник Керенского, тюремщик, погубивший царскую семью. Скажу о нем, как его роль устанавливается следствием.

Евгений Степанович Кобылинский — офицер Лейб-Гвардии Петроградского полка. Участник европейской войны, он был ранен в боях под Лодзью. Раненный, он вернулся на фронт и в боях под Гутой Старой был сильно контужен. Снова он вернулся на фронт, но контузия повлекла за собой острый нефрит, и он потерял боеспособность.

В его исключительно трудном положении он до конца проявил исключительную преданность Царю.

Свидетели показывают:

Теглева: «Кобылинскому приходилось туго. Он однажды потерял надежду справиться с ними (с солдатами) и заявил Государю об этом. Государь просил его остаться, и он остался. Я должна сказать про него, что он явно был на стороне Августейшей Семьи, делал для нее все, что мог, хорошее и всячески боролся с хулиганскими проявлениями солдатского настроения».

Эрсберг: «В высшей степени хорошо, душевно относился к ним Кобылинский.

Он их любил, и они все хорошо относились к нему. Он был весьма предупредителен к ним и заботился о них. Но ему было очень тяжело ладить с распущен-

ными солдатами и приходилось быть весьма осмотрительным. Он однако проявлял большой такт. Не будь около них Кобылинского, я уверена, много худого они могли бы пережить при ином человеке».

Денежный вопрос

Для трагической судьбы царской семьи большое значение имел денежный вопрос.

Князь Львов показал: «Разрешался (Правительством) также вопрос о средствах, принадлежащих царской семье. Семья, конечно, должна была жить на свои личные средства. Правительство должно было нести лишь те расходы, которые вызывались лишь его собственными мероприятиями по адресу семьи».

Логическая несообразность такой точки зрения очевидна.

Императору, как бывшему главе России, приличествовал известный образ жизни. Создать и поддерживать уклад этой жизни было обязанностью Временного Правительства, так как оно лишило Царя свободы.

Предложение покинуть царскую семью создало тяжелое состояние для всех тех, кто был действительно предан им и кто в своей совести считал унизительным для человеческого достоинства бросить царскую семью в тяжелую для нее минуту.

Мог ли Царь содержать всех этих лиц?

Князь Львов показал: «Их личные средства были выяснены. Они оказались небольшими. В одном из заграничных банков, считая все средства семьи, оказалось 14 миллионов рублей. Больше ничего у них не было».

Керенский показал: «Их личные средства по сравнению с тем, как говорили, оказались невелики. У них оказалось всего в Англии и в Германии не свыше 14 миллионов рублей».

Фактически эти деньги были недоступны для царской семьи. Она жила на средства Правительства.

В Царском недостатка в денежных средствах не было. В Тобольске же положение стало хуже. Временное Правительство как бы забыло о семье и не посылало пополнений ни на содержание семьи, ни на содержание отряда. Кобылинский показывает: «Деньги уходили, а пополнений мы не получали. Пришлось жить в кредит. Я писал по этому поводу генерал-лейтенанту Аничкову, заведывавшему хозяйством гофмаршальской части, но результатов никаких не было. Наконец, повар Харитонов стал мне говорить, что больше «не верят», что скоро и отпускать в кредит больше не будут».

В конце концов Кобылинский был вынужден пойти по городу и просить денег на содержание Царя и его семьи. Он достал их под вексель за своей личной подписью, Татищева и Долгорукова. «Я просил», показывает Кобылинский: «Татищева и Долгорукова молчать о займе и не говорить об этом ни Государю, ни кому-либо из Августейшей Семьи».

Когда Керенский отправлял семью в Тобольск, он говорил Кобылинскому: «Не забывайте, что это бывший Император. Его семья ни в чем не должна нуждаться».

Почему слово его разошлось с делом?

Он показал при допросе: «Конечно, Временное Правительство принимало на себя содержание самой царской семьи и всех, кто разделял с ней заключение. О том, что они терпели в Тобольске нужду в деньгах, мне никто не докладывал».

В показании Кобылинского значится: «...Все эти истории были мне тяжелы. Это была не жизнь, а сущий ад. Нервы были натянуты до последней крайности. Тяжело ведь было искать и выпрашивать деньги для содержания царской семьи. И вот, когда солдаты вынесли постановление о снятии нами, офицерами, погонов, я не выдержал. Я понял, что больше нет у меня власти, и почувствовал полное свое бессилие. Я пошел в дом и попросил Теглеву доложить Государю, что мне нужно его видеть. Государь принял меня в ее комнате. Я сказал ему: «Ваше Величество, власть выскальзывает из моих рук. С нас сняли погоны. Я не могу

больше быть Вам полезным. Если Вы мне разрешите, я хочу уйти. Нервы у меня совершенно растрепались. Я больше не могу». Государь обнял меня одной рукой. На глазах у него навернулись слезы. Он сказал мне: «Евгений Степанович, от себя, жены и детей я Вас прошу остаться. Вы видите, что мы все терпим. Надо и Вам потерпеть». Потом он обнял меня, и мы поцеловались. Я остался и решил терпеть...»

Первые меры большевиков по адресу семьи

Большевики еще более ухудшили денежный вопрос. Это было самой первой их мерой.

23 февраля 1918 года полковник Кобылинский получил от комиссара по Министерству Двора Карелина телеграмму. В ней говорилось, что «у народа нет средств содержать царскую семью». Она должна жить на свои средства. Советская же власть дает ей квартиру, отопление, освещение и солдатский паек.

В то же время запрещалось тратить из своих средств больше 600 рублей в месяц на человека.

Это все ухудшило жизнь. Со стола исчезло кофе, сливки, масло. Стол вообще стал хуже, скуднее. Испытывали нужду в сахаре. Были уволены 10 служащих. 12 апреля от цика пришло письменное распоряжение об аресте Татищева, Долгорукова, Гендриковой и Шнейдер.

Но солдаты пошли дальше. Они самовольно арестовали всех лиц, бывших при семье, не исключая и прислуги. В это время они и поселили их в губернаторском доме. Только один англичанин Гиббс упорно боролся за свою свободу и настоял на своем.

Последние дни в Тобольске перед увозом Государя

Этот период кончился 26 апреля 1918 года.

Семья оказалась в Екатеринбурге, где она нашла себе вечное успокоение.

Что же означал увоз ее из Тобольска?

Я считаю факты, резрешающие этот вопрос, самыми важными во всей системе следствия. Они и самому преступлению над Царем и его семьей придают особый характер, имея для нас, русских, глубокое национальное значение.

В сознании этого я буду излагать их наиболее детально.

Вспомним несколько прошлое.

В первое время жизни семьи в Тобольске власть над ней была в руках полковника Кобылинского. Потом приехал комиссар Панкратов с помощником своим Никольским.

Конечно, самое нарастание их властвования шло медленно. Я думаю, что самым сильным толчком для этого послужил большевистский переворот в центре.

Появилось состояние какой-то неопределенности: в центре новая власть, а здесь — агенты старой.

Было много причин, побуждавших солдат выяснить эту неопределенность.

Самой главной была неаккуратная выплата суточных денег. Требования солдат, иногда очень бурные, обрушивались на Кобылинского. Раньше он занимал деньги у губернского комиссара под авторитет Временного Правительства. После большевистского переворота занимать стало не у кого.

Выгнав Панкратова и Никольского, как людей, им совершенно чуждых и бесполезных, солдаты не дерзнули поднять руку на Кобылинского. Но они неизбежно пришли, в конце концов, к выводу:

нужен постоянный комиссар из центра.

Такое настроение передалось всем лицам, окружавшим семью. Читая дневник Гендриковой, видишь, что все изо дня в день ждали, когда же приедет этот комиссар.

Комиссар Яковлев.— 22 и 23 апреля

Он прибыл в Тобольск 22 апреля.

Он назывался Василием Васильевичем Яковлевым и держал себя как высокое лицо. При нем был отряд красноармейцев в 150 человек. В его свите был даже особый телеграфист, через которого шли сообщения по телеграфу.

Яковлев прибыл в Тобольск вечером и остановился в доме Корнилова.

Было уже поздно. Комиссар ничем себя не проявил в этот день.

23 апреля утром он явился к полковнику Кобылинскому, отрекомендовался ему «чрезвычайным комиссаром» и предъявил свои документы.

Их было три. Все они исходили от цика и имели подпись председателя цика Свердлова.

Первый документ был удостоверением о личности Яковлева. В нем говорилось, что он — член цика, что на него возложено поручение «особой важности».

Второй документ был предписанием на имя Кобылинского, третий — на имя отряда. В них цик требовал беспрекословного исполнения приказаний Яковлева и предоставлял ему право расстрелять неповинующегося на месте.

Ни в одном из документов не было ни малейшего указания, в чем же именно состояло возложенное на Яковлева поручение «особой важности».

Ни одним словом не обмолвился об этом и Яковлев в беседе с Кобылинским. Сам же Кобылинский не спросил его об этом, так как принимал его за комиссара, присланного в Тобольск на постоянное жительство из центра.

После беседы с Кобылинским Яковлев отправился вместе с ним в губернаторский дом.

Там не все было благополучно. Наследник был болен. Он ушибся. Ушиб повлек за собой паралич обеих ног. 12 апреля он был уже в постели и в момент прибытия Яковлева сильно страдал.

Яковлев обошел снаружи дом, осмотрел нижний этаж и поднялся наверх.

В коридоре, вблизи комнаты Наследника, он встретился с Государем. Они познакомились. Государь тут же повел Яковлева в комнату Наследника. Около него в ту минуту был Гиббс. Он показывает: «Яковлев смотрел на Алексея Николаевича. Государь сказал Яковлеву: «Мой сын и его воспитатель».

Они вышли, но почти тут же Яковлев снова вошел в комнату Наследника. Гиббс показывает: «Он смотрел на Алексея Николаевича и ничего не говорил».

Ни Государыни, ни Княжен Яковлев не видел в этот день. Он совсем не спрашивал о них, не интересовался ими: как будто бы их совсем не существовало.

Ни слова не сказал никому Яковлев, для чего прибыл он в Тобольск.

Еще утром Яковлев просил Кобылинского собрать солдат отряда. Они были собраны в 12 часов дня.

Яковлев представился солдатам, как «чрезвычайный комиссар», и держал к ним речь.

Он начал ее словами благодарности, вкрадчивой лести. Свидетель-очевидец Мундель показывает: «Льстил он им вовсю. Он благодарил их за то, чего они никогда не делали, восхваляя их за доблесть, за их верную службу».

Обнаружив знание местных интересов, он обрушился на Временное Правительство, восхваляя советскую власть. Мундель показывает: «Он всячески подчеркивал, что Временное Правительство не заботилось о них: солдаты получали 5 рублей в месяц, а советская власть платит солдатам уже давно 150 рублей; он говорил, что они получали грошовые суточные (50 копеек), а он им привез и выдаст по 3 рубля».

Тонкий, талантливый демагог, он под-

готовил нужное ему настроение и только после этого показал солдатам свои документы. Они с некоторой подозрительностью стали всматриваться в новые для них печати.

Кобылинский показывает: «Он это сразу же понял и снова начал говорить солдатам о суточных».

В конце речи туманно намекнул солдатам, что скоро они все будут отпущены и разойдутся по домам.

Он ни слова не сказал солдатам, для чего он прибыл в Тобольск, в чем именно заключается его поручение «особой важности».

Но Кобылинский и Мундель насторожились: они поняли, что у Яковлева есть какая-то особая цель, что он осторожно идет к ней, подготавливая у солдат нужное ему настроение.

Кобылинский показывает: «Видно было, что он прекрасно умеет говорить с толпой, умеет играть на ее слабых струнах и говорить хорошо, красно».

Мундель показывает: «Совершенно ясно было, что Яковлев подделывается к нашим стрелкам и всеми правдами и неправдами льстит им напропалую, чтобы достичь одного: чтобы они не оказали какого-то противодействия».

Не могу не признать авторитетности мнения этих свидетелей, сумевших в таких трудных условиях охранять покой семьи.

Больше ничего не случилось в этот день 23 апреля.

24 апреля

На следующий день, 24 апреля, Яковлев снова собрал солдат отряда.

Нельзя понять, что происходило на этом собрании, если не знать фактов более раннего времени.

Мы знаем, что центральная советская власть прежде всего лишила семью содержания от казны. Это произошло 23 февраля.

Город же Тобольск не испытывал советского режима и более продолжительное время.

Ближайшими к нему крупными пунктами, где большевики укрепились, были Омск, столица Западной Сибири, и Екатеринбург, столица Урала. Но Тобольск, глухой, захолустный город, продолжал жить своей жизнью и в течение четырех с половиной месяцев совершенно не испытывал давления Омска, которому он подчинялся в административном отношении, как город Западной Сибири.

За 3,5 недели до приезда Яковлева в нем вдруг, как бы по мановению чьей-то дирижерской палочки, закипела внезапно бурная жизнь.

24 марта сюда прибыл из Омска комиссар Дуцман. Хотя он значился комиссаром города Тобольска, но он был в то же время и комиссаром над царской семьей и поселился в доме Корнилова. Он не имел абсолютно никаких связей в Тобольске. Латыш по национальности, этот человек, как показывает Боткина: «с непроницаемым, равнодушным лицом, полуприкрытыми веками глазами», держал себя очень осторожно и замкнуто. Он не вмешивался совершенно в жизнь семьи, и вся его роль сводилась только к одному: к наблюдению за семьей, за самым фактом пребывания ее в доме.

Ровно через два дня после его приезда в Тобольск появился первый отряд красноармейцев под командой красных офицеров: Демьянова и Дегтярева.

Их обоих хорошо знали в Тобольске. Первый был человек, с юности, видимо, выбитый из жизненной колеи: «выгнанный из семинарии, про которого говорили, что он был мальчишкой скверного поведения». Так говорят о нем свидетели. Второй — «сирота, чуть ли не родственник одного из тобольских губернаторов, известный с гимназической скамьи своим крайним монархическим направлением. При поступлении в Петроградский Университет он был членом Союза Михаила Архангела и вдруг появился в роли красногвардейца».

Боткина показывает: «За все время пребывания в Тобольске этот отряд красногвардейцев не вмешался ни в одну скандальную историю».

Тем не менее эти люди ввели в То-

больске большевистские учреждения, разогнав суд, земскую и городскую управы.

Они же произвели большие перемены в составе губернского совдепа. Он состоял до них из эс-эровских элементов. Его председателем был известный нам Никольский. С их приездом во главе совдепа оказался Павел Хохряков. Следствием добыты документы, которыми установлено, что Хохряков — родом из Вятской губернии, был раньше кочегаром на броненосце «Император Александр II». Совершенно малограмотный человек, с большим трудом умеющий писать, это был тип темного, невежественного, распропагандированного русского рабочего. Его никто не знал в Тобольске. Как и Дуцман. он не имел здесь никаких связей.

Только что успел прибыть отряд Демьянова-Дегтярева, как через два дня — 28 марта в Тобольск прибыл отряд из Екатеринбурга. Однако главари омского отряда потребовали от екатеринбуржцев, чтобы они ушли из Тобольска. Последний отряд был вдвое малочисленнее омского. Он подчинился требованию омичей и ушел из Тобольска 4 апреля.

Но 13 апреля сюда пришел из Екатеринбурга другой отряд под командой некоего Заславского. Этот отряд был равен силам омского.

Он был прямой угрозой царской семье. Заславский с первых же дней повел пропаганду в совдепе, что царскую семью необходимо немедленно заключить в каторжную тюрьму, что ее хотят увезти, что под губернаторский дом ведутся подкопы. Он имел некоторый успех в совдепе, и Кобылинский был туда вызван. Будучи в курсе намерений Заславского, Кобылинский пошел в совдеп, взяв с собой некоторых из солдат своего отряда. Там он заявил, что он согласен перевести царскую семью в тюрьму, но под одним условием: чтобы в тюрьму были помещены и все солдаты его отряда, так как они обязаны охранять семью. Солдаты запротестовали. Попытка Заславского не удалась.

Но он не сдался и повел агитацию среди солдат отряда. Свидетель Мундель показывает: «Это был (Заславский) злобный еврей. Он собирал наших солдат на митинг и настраивал их, чтобы семья немедленно была переведена в каторжную тюрьму».

Узнав об этом, Демьянов явился к Кобылинскому и предложил ему в случае дальнейших столкновений с Заславским помощь своего отряда.

24 апреля, когда солдаты отряда собрались, туда прибыл, по требованию Яковлева, Заславский.

Явился также и Дегтярев.

Все, что здесь происходило, носило характер «судбища» над Заславским перед солдатами отряда. Кобылинский показывает: «Студент (Дегтярев) стал держать к солдатам речь, все содержание которой сводилось к обвинениям Заславского в том, что он искусственно нервировал отряд, создавая ложные слухи о том, что семье угрожает опасность, что под дом ведутся подкопы и т. д. Идея речи заключалась именно в этом. Заславский пытался защищаться, но бесполезно. Его ошикали, и он удалился... Яковлев во время этого судбища над Заславским принял сторону Дегтярева».

В этот же день обнаружилось, что у Яковлева существовали старые отношения с Хохряковым, и они давно знали друг друга.

Некоторые из солдат, питая сомнения к личности Яковлева, пошли в совдеп и обратились к Хохрякову, как его председателю. Свидетель Мундель, очевидец их бесед, показывает: «Хохряков поддержал Яковлева. Он говорил солдатам при мне, что он хорошо знает Яковлева, как видного деятеля-революционера на Урале, что он его хорошо знает...»

Посторонним наблюдателям было очевидно, что действия Дуцмана, Демьянова, Дегтярева, Хохрякова и Яковлева связаны одной и той же целью.

Полковник Кобылинский начал в этот день догадываться, что Яковлев, не питая плохих намерений в отношении царской семьи, установил контакт с местным совдепом, пытается создать благоприятное себе настроение у солдат отряда и борется с екатеринбургскими большевиками в лице Заславского.

24 апреля Яковлев снова был в губернаторском доме. Теглева показывает: «Я его видела, когда он приходил в детскую, где находился Алексей Николае-

вич, тогда болевший. Около Алексея Николаевича в то же время находилась и Императрица... Когда он вошел к нам, он сказал: «Я извиняюсь. Я еще раз хочу посмотреть», не называя Алексея Николаевича. Молча он посмотрел на Алексея Николаевича и ушел».

Яковлев видел в этот день Императрицу, но ни к ней, ни к Княжнам он попрежнему не проявлял никакого интереса.

В этот день в губернаторском доме поняли, для чего ходит туда Яковлев.

Волков показывает: «Все мы видели, что он высматривает Алексея Николаевича, проверяет, действительно ли он болен, не притворяется ли он, не напрасно ли говорят о его болезни. Я категорически удостоверяю, что это так именно и было. Очевидно было, что для этого Яковлев и ходил тогда в дом».

Убедившись, что Наследник действительно болен, Яковлев прямо из губернаторского дома отправился на телеграф и вел через своего телеграфиста переговоры с Москвой.

В этот день поздно вечером, соблюдая осторожность, тайно даже от Кобылинского, он собрал солдатский отрядный комитет, то есть ту организацию, которой фактически принадлежала власть над царской семьей. Ей он секретно открыл цель своего приезда. Кобылинский показывает: «...Часов в 11 вечера ко мне пришел капитан Аксюта и сказал мне, что Яковлев собирал отрядный комитет и заявил комитету, что он увозит царскую семью; об этом Аксюта мне передавал со слов члена этого комитета солдата Киреева».

25 апреля

25 апреля утром Яковлев пришел к Кобылинскому.

В показании последнего значится: «Он сказал мне, что по постановлению центрального исполнительного комитета он должен увезти всю семью. Я спросил его: «Как же? А Алексей Николаевич? Ведь он не может ехать. Ведь он болен». — Яковлев мне ответил: «Вот в том и дело. Я говорил по прямому проводу с циком. Приказано всю семью оставить, а Государя — он назвал обыкновенно Государя «бывший Государь» — перевезти. Когда мы с вами пойдем к ним?! Я думаю завтра ехать».

Сейчас же Кобылинский пошел в губернаторский дом и через Татищева просил у Государя аудиенции для Яковлева. Государь назначил после завтрака в 2 часа.

Когда Яковлев с Кобылинским пришли в дом, их встретил камердинер Волков. Он показывает: «Яковлев сказал мне, что он желает наедине поговорить с одним Государем. Я хоть сейчас пойду под присягу и клятвенно могу удостоверить, что это было именно так. Именно Яковлев просил меня передать Государю, что он желает говорить с ним наедине. Я сказал Яковлеву, что мое дело доложить, а там — как Его Величеству будет угодно. Государь вместе с Государыней были в это время в гостиной рядом с залом. Когда я сказал Государю, что Яковлев желает говорить с ним наедине, Государь пошел в зал. Яковлев также вошел в зал. Тут же был и полковник Кобылинский. Яковлев сказал Государю, что он желает говорить с Государем наедине. Я это категорически удостоверяю. Государыня, услышав эти слова Яковлева, сказала ему: «Это еще что значит? Почему я не могу присутствовать?» Я не могу сказать, было ли при этих словах Императрицы заметно смущение у Яковлева. Я не придал тогда этому значения и не обратил внимания на него. Я только помню, что он уступил и сказал, кажется, так: «Хорошо». После этого он сказал, обращаясь к одному Государю: «Вы завтра безотлагательно должны ехать со мной». Я тут же ушел и дальнейшего разговора Их Величеств с Яковлевым не слышал».

Он говорил Государю, показывает Кобылинский, следующее: «Я должен сказать Вам, — он говорил собственно по адресу одного Государя, — что я чрезвычайный уполномоченный из Москвы от центрального исполнительного коми-

тета и мои полномочия заключаются в том, что я должен увезти отсюда всю семью, но так как Алексей Николаевич болен, то я получил вторичный приказ выехать с одними Вами. Государь ответил Яковлеву: «Я никуда не поеду». Тогда Яковлев продолжал: «Прошу этого не делать. Я должен исполнить приказание. Если Вы отказываетесь ехать, то я должен или воспользоваться силой, или отказаться от возложенного на меня поручения. Тогда могут прислать вместо меня другого менее гуманного человека. Вы можете быть спокойны. За Вашу жизнь я отвечаю своей головой. Если Вы не хотите ехать один, можете ехать с кем хотите. Завтра в 4 часа мы выезжаем».

Поклонившись Государю и Государыне, Яковлев вышел. С ним пошел и Кобылинский. Государь сделал ему знак остаться. Проводив Яковлева вниз, Кобылинский снова вошел в зал. Там у стола стояли Государь, Государыня, Татищев, и Долгоруков.

Государь спросил Кобылинского, куда его везут.

Вспомним утренний разговор Яковлева с Кобылинским в этот день, 25 апреля. Когда Яковлев выяснил, что цик требует немедленно увоза одного Государя, он сказал Кобылинскому, что он вернется за остальными членами семьи. Кобылинский спросил его, когда он думает возвратиться. Яковлев стал высчитывать время: «Ну, что же? Дней в 4—5 доедем, ну, там несколько дней и назад; недели через полторы-две вернусь».

Наблюдая Яковлева, Кобылинский понимал, что этот посланец центра, ведя борьбу с местными большевистскими элементами, исполняет директивы центра. Расчет времени, приведенный Яковлевым, убедил его, что он везет Государя в центр, в Москву.

Так Кобылинский и ответил Государю.

Государь сказал тогда: «Ну, это они хотят, чтобы я подписался под Брестским договором. Но я лучше дам отсечь себе руку, чем сделаю это».

Далее Кобылинский показывает: «Сильно волнуясь, Государыня сказала: «Я тоже еду. Без меня опять его заставят что-нибудь сделать, как раз уже заставили», и что-то при этом упомянула про Родзянко. Безусловно, Государыня намекала на акт отречения Государя от Престола».

Разговор кончился. Государь пошел на воздух, Государыня — к себе.

Она сказала, что тоже едет с Государем. Но это было не решение. Это была только мысль, вырвавшаяся от сердца, а не от разума.

Что в это время было в детской с тем, кого она больше всех любила?

С Алексеем Николаевичем был в это время мистер Гиббс, дежуривший около его постели.

Гиббс показывает: «Он был очень болен и страдал. Императрица обещала после завтрака прийти к нему. Он все ждал, ждал, а она все не шла. Он все звал: «Мама, мама...»

Он звал, она не шла. В этих словах все для тех, кто способен понять ее любовь к сыну.

Гиббс продолжает: «Мне кто-то сказал, что она встревожена, что она поэтому не пришла, что встревожена, что увозят Государя. Я опять стал ждать. Между 4 и 5 часами она пришла».

Что было с ней в это время между уходом Яковлева и ее приходом к сыну?

С ним был Гиббс. С ней был ее ближайший друг, ее любимая Татьяна.

Но буря была столь сильна в ее душе, что ей мало было Татьяны, и она позвала к себе другого близкого: Жильяра.

Он показывает: «Я прекрасно помню эту тяжелую сцену. После ухода Яковлева Государь ушел гулять. Государыня в четвертом часу позвала меня к себе. Она была в будуаре. С ней Татьяна Николаевна. Она была так взволнована, так страшно расстроена, как никогда раньше. Ничего подобного я не видел раньше, даже в Спале во время болезни Алексея Николаевича, даже при перевороте и при известии об отречении Государя. Она не могла сидеть. Она не находила себе покоя, ходила по комнате, нервно сжимая руки, и говорила вслух сама с собой. Вот были ее мысли.

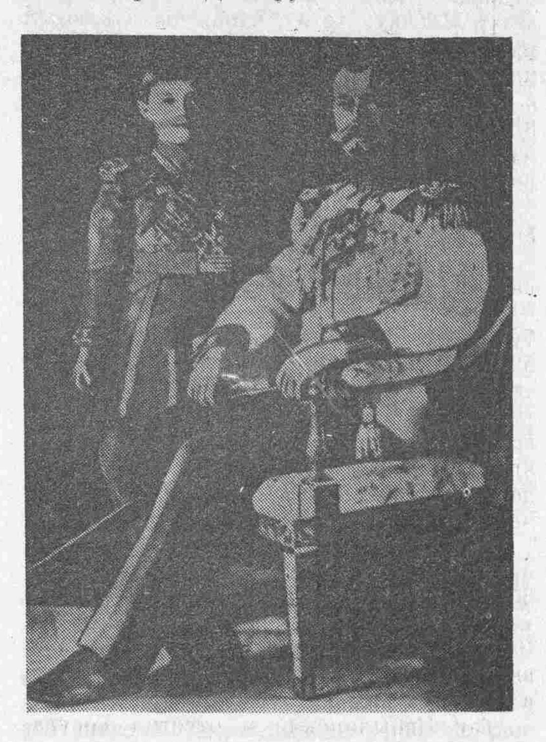
«Государь уезжает. Его увозят ночью одного. Этого отъезда не должно быть и не может быть. Я не могу допустить, чтобы его увезли одного. Я не могу его оставить в такую минуту. Я чувствую,

что его увозят одного, чтобы попробовать заставить сделать что-нибудь нехорошее. Его увозят одного, потому что они хотят его отделить от семьи, чтобы попробовать заставить его подписать гадкую вещь под страхом опасности для жизни всех своих, которых он оставил в Тобольске, как это было во время отречения во Пскове. Я чувствую, они хотят его заставить подписать мир в Москве. Немцы требуют этого, зная, что только мир, подписанный Царем, может иметь силу и ценность в России. Мой долг не допустить этого и не покинуть его в такую минуту. Вдвоем легче бороться, чем одному, и вдвоем легче перенести мучения, чем одному. Но ведь я не могу оставить Алексея. Он так болен. Я ему так нужна. Что будет с ним без меня?»

Она, которая едва могла стоять более 5 минут и всегда обыкновенно сидела, вся рвалась почти в течение часа, пока Государь гулял, и все время ходила по комнате. Она говорила далее: «Но отъезда не может быть и не будет. Я знаю, я убеждена, что река сегодня же пойдет вечером, и тогда отъезд волей-неволей должен отложиться. Это даст нам время, чтобы выйти из этого ужасного положения. Если надо чуда, я убеждена, что чудо будет».

Татьяна Николаевна после нескольких минут молчания сказала: «Но, мама, надо все-таки решить что-нибудь, если ничего не будет и если отъезд папа должен быть».

Государыня долго ничего не отвечала, все ходила в ужасном состоянии. Потом она стала говорить со мной, повторяя то, что сказала уже, как будто ожидая от меня убеждения, что отъезда не может быть. Я сказал ей, что Татьяна Николаевна права, что надо все предвидеть и решить что-нибудь; что, если она считает своим долгом поехать с Государем, мы все оставшиеся здесь будем ухаживать за Алексеем Николаевичем и оберегать его. Ее нерешительность продолжалась долго и была для нее мучительна. Я помню отлично ее фразу, которую она тогда сказала: «Это первый раз в моей жизни, что я не знаю совершенно, как поступить. До сих пор Бог мне всегда указывал дорогу. А сегодня я не знаю, как поступить, и никакого указания не получаю». Вдруг она сказала: «Ну, это решено. Мой долг — это ехать с ним». Я не могу его пустить одного. И вы будете смотреть за Алексеем здесь». Государь вернулся с прогулки. Она пошла ему навстречу и сказала ему: «Я поеду с тобой. Тебя не пущу одного». Государь ответил ей: «Воля твоя». Они стали говорить по-английски, и я ушел. Я сошел вниз к Долгорукову. Через полчаса приблизительно мы поднялись наверх, и Долгоруков спросил Государя, кто с ним поедет: Татищев или он. Государь обратился к Государыне: «Как ты думаешь?» Она выбрала Долгорукова»...



Государь Император Николай Александрович с сыном Алексеем

Оставив мужа, она пошла к сыну. Там все еще дежурил Гиббс. Он показывает: «Она пришла. Она была спокойна. На лице ее стались следы слез. Чтобы не беспокоить Алексея Николаевича, она стала рассказывать с «обыкновенными манерами», что Государь должен уехать

с ней, что с ними едет Мария Николаевна, а потом, когда Алексей Николаевич поправится, поедем и все мы. Алексей Николаевич не мог спросить ее, куда они едут, а я не хотел, чтобы не беспокоить его. Я скоро ушел».

Когда Гиббс уходил, вошел камердинер Волков. Он показывает: «Я нашел Императрицу в комнате Алексея Николаевича. Лицо ее было заплакано, и она плакала в это время, но скрывала свое лицо от Алексея Николаевича, не желая, видимо, чтобы он видел ее слезы. Когда она выходила из этой комнаты, я спросил ее: «В чем дело? Что случилось?» Государыня мне ответила: «Государя увозят в Москву. Хотят, чтобы он заключил мир, но я сама поеду с ним. Я никогда не допущу этого...» Алексей Николаевич в это время был болен той же болезнью, что и в Спале. Но на этот раз он страдал гораздо сильней, чем в Спале. Тогда у него отнялась одна нога, а в это время у него отнялись обе ноги, и он ужасно страдал, плакал, кричал, все звал к себе мать. Государыня все время находилась при нем. И вот в это-то время она так убивалась, как она никогда не убивалась раньше. Я даже сравнить не могу ее состояние при отречении Государя с этим ее состоянием в Тобольске, когда она решила оставить Алексея Николаевича и ехать с Государем. Там она была спокойна, а здесь она уже не могла сладить с собой и плакала, как она никогда не плакала раньше.»

Этих свидетелей-очевидцев я проверял другими свидетелями. Они показывают:

Тутельберг: «Государыня тогда была очень огорчена предстоящим отъездом из Тобольска. Я прямо должна сказать, что это был для Ее Величества самый тяжелый момент. Этот момент был для нее гораздо тяжелее, чем революция. Она страшно убивалась. Я попыталась ее утешить. Она сказала мне: «Не увеличивайте, Тутельс, моего горя. Это самый тяжелый для меня момент. Вы знаете, что такое для меня сын. А мне приходится выбирать между сыном и мужем. Я должна оставить мальчика и разделить жизнь или смерть мужа».

Теглева: «Дети передавали мне, как их убеждение, что Яковлев увозит их в Москву».

Эрсберг: «Княжны передавали мне со слов, конечно, родителей, что Яковлев везет Государя в Москву. И Государь, и Государыня, по словам Княжен, думали, что большевики хотят перевезти его в Москву, чтобы он заключил мирный договор с немцами. Из-за этого Государыня и страдала. Она знала слабый характер Государя. Алексей Николаевич болен. Значит, на Государя там они и могли подействовать в желательном для себя направлении, угрожая ему благополучием сына и оставшихся с ним. Вот почему Императрица и решила ехать сама с Государем, думая, что она может воздействовать на него».

26 апреля

Что делал в это время Яковлев?

После свидания с Государем он пришел в корниловский дом. Туда же зашел и Кобылинский, когда Государь отпустил его. Яковлев спросил Кобылинского: «Кто же едет?» — «И еще раз», показывает Кобылинский: «повторил, что с Государем может ехать, кто хочет, лишь бы немного брали вещей».

По требованию Яковлева, Кобылинский тут же пошел в губернаторский дом узнать, кто едет с Государем. Выяснилось, что с Государем и Государыней выедут Великая Княжна Мария Николаевна, Долгоруков, Боткин, Чемодуров, лакей Иван Седнев и горничная Демидова.

Выслушав Кобылинского, Яковлев сказал: «Мне это все равно».

Он обнаруживал большую торопливость, спешил сам и торопил других. Кобылинский показывает: «У Яковлева, я уверен, была в это время мысль: как можно скорее увезти. Встретившись с противодействием Государя, Яковлев думал: мне все равно. Пусть берут, кого хотят. Только бы поскорее. Вот почему он тогда так часто и повторял слова: «Мне все равно; пусть едет, кто хочет»,

не выражая на словах второй части своей мысли: только бы поскорее. Об этом он не говорил, но все его действия обнаруживали это желание: он страшно торопился. Поэтому он и обусловил: немного вещей, чтобы не задержать время отъезда».

В этот день Яковлев и Кобылинский вступили в открытую стычку.

Открыв цель своего приезда отрядному комитету, Яковлев не решался до последнего момента открыть ее солдатам, делясь своими соображениями с Кобылинским.

Кобылинский хорошо понимал настроение солдат. Обольшевичившаяся солдатская вольница не все еще потеряла в своей душе. У нее была смутная боязнь «выдать» Царя Яковлеву: как бы потом не досталось за это. Кобылинский предвидел, что, когда настанет последняя минута, и Яковлев скажет солдатам, что он увозит Царя, они могут или не выпускать Государя, или потребовать сопровождения его, что осложнит задачу Яковлева и задержит его отъезд. Он указал Яковлеву имена некоторых солдат, хотя и занимавших выборные должности, но все же достаточно порядочных и надежных. Поздно вечером собрал Яковлев солдат, за несколько часов до отъезда, и объявил им, что он увозит Государя, прося их держать это в секрете. Заявление Яковлева и особенно его просьба держать отъезд в секрете смутили солдат. Они потребовали, чтобы и они все сопровождали Государя.

Яковлев решительно воспротивился и указал на надежность своего отряда. Солдаты настаивали. Яковлев пошел на компромисс и стал называть имена солдат, указанных Кобылинским. Солдаты-большевики поняли хитрость: «Это все штучки Кобылинского». Яковлев пригрозил и настоял на своем: в числе солдат, выбранных отрядом, оказалось два ставленника Кобылинского.

Как Яковлев обращался с Государем?

Будучи тверд в своих требованиях, он был почтителен к Царю. Так обрисовывают его поведение свидетели-очевидцы.

Он понравился Государю. Жильяр показывает: «Его Величество говорил мне про него (Яковлева), что он человек недурной, прямой».

Отъезд Государя, Государыни и Великой Княжны Марии Николаевны из Тобольска

26 апреля в половине четвертого утра к подъезду губернаторского дома были поданы экипажи. То были сибирские «кошевы» — тележки на длинных дрожинах, без рессор, все парные, кроме одной троечной.

В нее села Государыня с Великой Княжной Марией Николаевной. Она хотела, чтобы с ними сел Государь. Яковлев запротестовал и поместился с Государем сам.

В остальных экипажах были Боткин, Долгоруков, Чемодуров, Иван Седнев и Демидова.

Спереди и сзади ехали солдаты отряда Яковлева и восемь солдат тобольского отряда с двумя пулеметами.

Яковлев совершил при отъезде ошибку: он не взял с собой весь свой отряд, оставив большую часть его в Тобольске, куда он надеялся скоро вернуться. Он, видимо, больше не выдерживал своей роли и считал свою цель слишком рано достигнутой. Его обращение с Государем в минуту отъезда свидетели описывают:

Волков: «Он (Яковлев) относился в это время к Государю не только хорошо, но даже внимательно и предупредительно. Когда он увидел, что Государь сидит в одной шинели и больше у него ничего нет, он спросил Его Величество: «Как! Вы только в этом и поедете?» Государь сказал: «Я всегда так езжу». Яковлев возразил ему: «Нет, так нельзя». Кому-

то он при этом приказал подать Государю еще что-нибудь. Вынесли плащ Государя и положили его под сидение».

Битнер: «Я прекрасно помню, он (Яковлев) стоял на крыльце и держал руку под козырек, когда Государь садился в экипаж».

Дочь Боткина Татьяна Евгеньевна Мельник не спала в эту ночь. Она сидела у окна своей комнаты, закрылась шторой и наблюдала отъезд. Она показывает: «Комиссар Яковлев шел около Государя и что-то почтительно говорил ему, часто прикладывая руку к папахе... Все это (подводы) со страшной быстротой промелькнуло и скрылось за угол. Я посмотрела в сторону губернаторского дома. Там на крыльце стояли три фигуры в серых костюмах и долго смотрели вдаль, потом повернулись и медленно одна за другой пошли в дом».

Попытка Яковлева прорваться с ними в Европейскую Россию

Ближайшим пунктом, куда стремился Яковлев, была Тюмень, — отстоящая от Тобольска в 285 верстах.

От Тюмени — железнодорожный путь в Европейскую Россию: прямой, ближайший через Екатеринбург, окольный, более отдаленный через Омск.

26 и 27 апреля Кобылинский получил от своих солдат две телеграммы.

Они обе были посланы с пути: одна из села Ивлева, другая — из села Покровского. В них сообщалось, что путешествие по направлению к Тюмени идет благополучно.

27 апреля в 9 часов вечера состоялось прибытие в Тюмень.

Об этом 28 апреля была получена Кобылинским телеграмма. В тот же день вечером была получена вторая телеграмма: «Едем благополучно. Христос с Вами. Как здоровье маленького. Яковлев».

После этого не было никаких известий, и лишь 3 мая вечером на имя отрядного комитета пришла телеграмма от одного из солдат, что узники находятся в Екатеринбурге.

Все были поражены этим и не знали, как объяснить остановку в Екатеринбурге. Гендрикова отмечает в дневнике 3 мая: «Вечером пришло известие, что застряли в Екатеринбурге. Никаких подробностей». Кобылинский показывает: «Нас всех эта телеграмма огорошила: что такое случилось, почему в Екатеринбурге? Все были этим поражены, так как все были уверены, что Государя с Государыней повезли в Москву».

8 мая возвратились из поездки солдаты тобольского отряда. Все слышали их рассказы. Показаниями свидетелей Кобылинского, Мунделя, Жильяра, Боткиной, Эрсберг выяснена следующая картина.

Яковлев торопился. Он не допускал ни малейшего промедления, никаких остановок. Когда подъезжали к станции, сейчас же перепрягали лошадей и мчались дальше. Путь был плохой, была распутица. Во многих местах весенняя вода покрывала мосты. Узники шли в таких местах пешком. Боткин не выдержал бешеной езды и заболел. Только тогда Яковлев допустил остановку на несколько часов.

Прибыв в Тюмень 27 апреля вечером, он без всякого промедления повез узников в специальном поезде на запад, то есть к Екатеринбургу.

Дорогой он известился, что Екатеринбург его не пропустит далее и задержит.

Он кинулся назад в Тюмень и отсюда поехал на восток, то есть к Омску. Но до Омска ему не удалось доехать. На станции Куломзино, ближайшей к Омску, его поезд был остановлен и окружен силами красных.

Яковлеву было заявлено, что Екатеринбург объявил его вне закона за то, что он пытается увезти Царя за грани-

цу, о чем Екатеринбург известил Омск. Отцепив паровоз, Яковлев поехал в Омск, говорил оттуда по прямому проводу с циком и получил приказание ехать в Екатеринбург.

Как только он прибыл туда, его поезд был оцеплен большим отрядом красноармейцев, сильно вооруженных.

Он отправился в совдеп, пытался бороться, но безуспешно. Вернулся он в поезд «расстроенный» и предложил солдатам тобольского отряда поехать с ним в Москву и свидетельствовать о происшедшем. Тотчас же эти солдаты были поодиночке разоружены и посажены в какой-то погреб. Их выпустили через несколько дней.

Яковлев уехал в Москву. Оттуда он прислал своему телеграфисту телеграмму: «Собирайте отряд. Уезжайте. Полномочия я сдал. За последствия не отвечаю».

Гражданская война не позволила мне отыскать этих солдат тобольского отряда. Некоторые из них были убиты, другие рассеялись. Но я проверял, как мог, их рассказы.

Был среди солдат тобольского отряда стрелок Григорий Лазарев Евдокимов. Впоследствии он находился в армии Адмирала Колчака. Когда она отступала в сентябре месяце 1919 года, Евдокимов решил перейти к красным. Но его попытка кончилась неудачей. Он был пойман. При допросе его военной властью, Евдокимов рассказал, что был в Тобольске и охранял Царя. На него обратили внимание. Он был расспрошен про жизнь царской семьи.

Допрашивал его малограмотный воинский чин, не имевший никакого представления о всем том, что мне было известно по делу к сентябрю месяцу 1919 года. Я особенно ценю это, ибо правда говорит здесь языком малограмотного акта сама за себя.

Ведь рассказ Евдокимова, как Яковлев увозил Царя, совершенно тождественен с рассказами восьми тобольских стрелков, как они только что изложены.

Яковлев вез Государя в вагоне I класса Самаро-Златоустовской железной дороги № 42. Проводником этого вагона был некто по фамилии Чех. Я не знал, что он находился на территории Адмирала, и не делал попыток отыскать его.

26 ноября 1919 года состоявший при Французской Военной Миссии в Сибири русский офицер граф Капнист ехал из Омска в Иркутск и разговорился с проводником своего вагона. Проводник этот оказался Чех.

Он рассказал Капнисту подробно, обстоятельно про поездку Яковлева с Государем. Капнист тогда же записал рассказ Чеха и при допросе у меня представил к следствию эту запись[1].

Допрашивая Чеха, Капнист не имел никакого представления об известных следствию фактах, что также представляется особенно ценным для дела.

Рассказ Чеха совершенно соответствует рассказам тобольских стрелков.

В показании Капниста, между прочим, значится: «Чех говорил мне, что во всю дорогу Яковлев был почтителен к Государю, часто входил в его купе и вел с ним долгие разговоры... В виду тех разговоров, какие ходили среди отряда, Чех определенно говорил, что Государя везли в Москву, чтобы отправить его за границу».

В поезде Государь ехал в отдельном купе: Яковлев отделил его от Императрицы.

Оставшиеся в Тобольске расспрашивали про поездку возвратившихся кучеров. Жильяр показывает: «Кучер, который вез Государя и Яковлева, рассказывал, что Государь с Яковлевым вели беседы на политические темы, спорили между собой, и Государь не бранил большевиков. Кучер говорил, что Яковлев «вертел» Царя, а Царь ему «не поддавался».

Большевиками не было сделано заранее приготовлений к задержанию Государя в Екатеринбурге. Владелец дома, где был заключен Государь, Ипатьев очистил его к 3 часам дня 29 апреля[2].

Не было специального отряда для караула. Его несли случайные красноармейцы, караулившие в тюрьмах и в других местах.

---

[1] Свидетель граф Б. М. Капнист был допрошен мною 21 февраля 1920 года в г. Харбине.

[2] Свидетель Н. Н. Ипатьев был допрошен членом суда Сергеевым 30 ноября 1918 года в Екатеринбурге.

Вместе с Государем, Государыней и Марией Николаевной в доме Ипатьева были заключены: Боткин, Чемодуров, Иван Седнев и Демидова. Долгоруков был отправлен в тюрьму.

Задержан был Государь в Екатеринбурге 30 апреля.

Войдя в дом Ипатьева, Государыня сделала отметку на косяке окна своей комнаты. Она нарисовала свой индийский знак и рядом указала дату «17/30 Апр. 1918 г.».

Этим же числом датирована и расписка, выданная в Екатеринбурге комиссару Яковлеву в получении от него узников.

Личность комиссара Яковлева

Кто был этот таинственный комиссар Василий Васильевич Яковлев?

Мне не удалось разрешить этого вопроса, и я не знаю, мог ли он даже называть себя так, как называл.

Все свидетели, видевшие его, говорят о нем, как о человеке интеллигентном. Он знал французский язык. Свидетель Мундель, владевший этим языком, удостоверяет, что в разговорах с ним Яковлев употреблял целые французские фразы. Я имею основания также думать, что он знал еще английский язык и немецкий.

О своем прошлом он говорил полковнику Кобылинскому. Его прошлое знали и в его отряде.

Некогда будучи, видимо, в составе нашего флота, Яковлев совершил на территории Финляндии политическое преступление. Он был осужден к смертной казни, но был помилован Государем и бежал сначала в Америку, а затем жил в Швейцарии и в Германии. После переворота 1917 года он вернулся в Россию.

Яковлев был у большевиков их политическим комиссаром на уфимском фронте. Осенью-зимой 1918 года он обратился к чешскому генералу Шениху и просил принять его в ряды белых войск. Он указывал, что это он именно увозил Государя из Тобольска.

Ему ответили согласием, и он перешел к нам. В дальнейшем с ним поступили неразумно и неосторожно. Он тут же был арестован и отправлен в Омск в распоряжение военных властей. Не дали надежного караула, и он вместо генерал-квартирмейстера Штаба Верховного Главнокомандующего, по ошибке якобы конвоира, попал к некоему полковнику Зайчеку.

Здесь он и пропал. У Зайчека не оказалось абсолютно никаких документов на Яковлева[1].

Зайчек возглавлял в Омске контрразведку Генерального Штаба. Он — офицер австрийской армии, плохо говоривший по-русски, — пришел в Сибирь в рядах чешских войск.

Все ли освободители Сибири шли сюда с жертвенной любовью к России и с ненавистью к Германии и большевикам?

Во внешних фактах мы, служители правосудия, познаем мысль человеческую. Оценивая все поведение Яковлева, я мыслю следующее:

Комиссар Яковлев, скрываясь под маской большевика, был враждебен их целям.

Его действия координировались с действиями других лиц одной общей волей.

Будучи враждебен намерениям большевиков в отношении Царя, он был посланцем иной, небольшевистской силы.

Действуя по ее директивам, он вез Царя не в Екатеринбург, а пытался увезти его через Екатеринбург и Омск в Европейскую Россию.

Эта попытка имела исключительно политическую цель, так как все внима-

[1] Сведения о переходе к нам Яковлева были мною получены от генерал-лейтенанта Дитерихса 17 апреля 1919 г. Я в тот же день командировал доверенное лицо к военному министру генерал-майору Степанову и просил его принять все меры к розыску Яковлева. Арестован он был по телефонограмме чешского полковника Клецанда от 30 декабря 1918 г. за № 3969 и отправлен в Омск. Все приведенные выше сведения основаны на точных документах. Они были мне представлены командированным мною лицом 4 июня 1919 года.

ние Яковлева было направлено исключительно на особу Императора и Наследника Цесаревича.

Какая же сила, зачем и куда увозила Царя?

Государь сам дал ответ на эти вопросы. В лице Яковлева, в этом «неплохом и прямом человеке», он видел посланца немцев. Он думал, что его хотят принудить заключить мирное соглашение с врагом.

Я знаю, что подобное толкование уже встретило однажды в печати попытку высмеять мысль Царя: подписать Брестский договор. Писали, что над этим рассмеется любой красноармеец.

Свидетеля Кобылинского я допрашивал лично в течение нескольких дней. Он вдумчиво и объективно давал свое пространное показание. Но все же я убежден, что его слова о «Брестском договоре» не соответствовали мысли Государя. Сопоставляя показание Кобылинского со всеми данными следствия по этому вопросу, я не сомневаюсь, что мысль Царя была гораздо шире. Дело было, конечно, не в Брестском договоре, который стал уже фактом. Наблюдая из своего заключения ход событий в России и считая главарей большевизма платными агентами немцев, Царь думал, что немцы, желая создать нужный им самим порядок в России, чтобы, пользуясь ее ресурсами, продолжать борьбу с союзниками, хотят через него дать возможность его сыну восприять власть и путем измены перед союзниками заключить с ними соглашение. Такова была его мысль, полнее выраженная Государыней.

Я думаю, что для всякого, кто пожелает вспомнить, в каких условиях произошел большевистский переворот в России; кто пожелает вспомнить, что весной 1918 года на ее территории гремели еще немецкие пушки, а генерал Гофман угрожал Петрограду, — мысль Царя родит не насмешку, а вызовет к себе серьезное отношение.

Цель увоза Государя из Тобольска. — Оценка ее Государем и основной лозунг революции

Высок, авторитетен источник, оценивший поведение Яковлева в Тобольске. Так говорил человек, правивший многомиллионным народом, державший многие годы в своих руках тайны мировой политики.

Но могу ли, прикрывшись этой авторитетностью, замкнуться в ней и без всякого обследования принять такое толкование фактов следствия?

Увоз из Тобольска и убийство в Екатеринбурге — два смежных явления. Закрыть глаза на первое из них — это лишить себя возможности понять характер преступления, жертвой которого стал Царь и его семья.

При этом я должен оговориться.

В нашем судебном творчестве мы часто ищем истину, оперируя фактами общеизвестными. Здесь они имеют особый характер: они факты исторические. Я никогда не мыслил и менее всего теперь претендую выступать в роли исторического исследователя.

Я не знал жизни, психологии той среды, к которой принадлежали потерпевшие от преступления.

В глухом углу России я охранял от лихого человека мужичью жизнь, мужичье добро, честь и свободу.

И я надеюсь, что те, кто любят истину, сумеют отличить мои, быть может, ошибочные выводы от строгих фактов следствия.

Царь Николай II... Да разве мог он сказать такие слова: лучше смерть, чем соглашение с немцами?

Уже несколько лет бьется в судорогах смерти наша Родина. Это началось с отречения Императора. Ему предшество-

вала давняя, многолетняя борьба с властью, сначала глухая, неясная, робкая, как боязливый шепот недовольных рабов. Потом этот шепот стал громче, смелее, назойливее и перешел в звонкий набат, звучавший на весь мир.

Недовольство охватывало многих людей из самых различных слоев русского общества. Оно владело многими монархистами с известными именами. Оно захватило такие учреждения, как Государственный Совет, как Совет Объединенного Дворянства, дерзавших обращаться к Монарху с всеподданнейшими просьбами, носившими по существу характер требований.

Говорят, что его отзвуки не доходили до простого народа. Неправда. Нужно видеть надписи, какими русские красноармейцы покрывали стены ипатьевского дома, чтобы откинуть эту мысль.

Как же имя этому недовольству? В какой одной формуле объемлется вся его сущность?

Сначала не было одной формулы. Ее не было до тех пор, пока все считали, что недовольство не переходит за пределы своей страны. Она была найдена, когда с интересами России переплелись в общей борьбе с врагом чужие интересы. С этого момента у недовольства явился лозунг. Он означал: измена Царя и Царицы.

Это было сказано впервые 1 ноября 1916 года вождем революции Милюковым в речи, произнесенной им с кафедры Государственной Думы. Правда, он не говорил про Царя. Но он говорил про Царицу, про роль около нее Распутина, про безволие Императора.

Какое это имело значение для всей страны, для всего мира, объятого пламенем войны, знают все. Ныне говорит об этом сам Милюков: «Не было министерства и штаба в тылу и на фронте, в котором не переписывались бы эти речи, разлетевшиеся в стране в миллионах экземпляров. Этот громадный отзвук сам по себе превращал парламентское слово в штурмовой сигнал и являлся красноречивым показателем настроения, охватившего всю страну. Теперь у этого настроения был лозунг, и общественное мнение единодушно признало 1 ноября 1916 года началом русской революции».*

Увоз Царя из Тобольска поставил передо мною вопрос, действительно ли Государь Император Николай II, обладая слабой личной волей и будучи всецело подавлен волей Государыни Императрицы Александры Федоровны, руководившейся своими германофильскими тенденциями и руководимой лицами, группировавшимися около Распутина, шел к измене России и союзникам, готовясь к заключению сепаратного мира с Германией.

(Продолжение следует)

---

* Милюков Н. Н. История второй русской революции. С. 34.

Протоиерей
Евгений Касаткин

«МИЛОСЕРДИЯ ДВЕРИ ОТВЕРЗИ...»

Отрадно видеть возрождение в наше время движения милосердия, существовавшего в дореволюционной России, но впоследствии совершенно забытого. Сам термин «милосердие» считался устаревшим. В старое время материальной базой благотворительных обществ был частный капитал. Одни благотворители имели возможность из христианского человеколюбия содержать богадельни, приюты и другие богоугодные заведения. Другие создавали на этом себе престиж в обществе, что стоило определенных затрат. С падением капитала одни благотворительные общества, не имея материальной базы, распались сами собой, другие были закрыты в административном порядке, как порождение религиозной идеологии. В официальном сознании того времени термин «религиозная идеология» трансформировался в понятие «чуждая», «идеологически вредная», «антисоветская», а церковь незаслуженно ассоциировалась с контрреволюцией. Только в период перестройки стало возможным возобновление движения милосердия, возглавленного Советским фондом милосердия и здоровья. В этот же перестроечный период с его плюрализмом мнений стало возможным участие в этом движении церкви, что значительно обогащает его.

В словаре С. И. Ожегова термин милосердия объясняется как «готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострадания, человеколюбия».

Проявить милосердие — значит обнаружить милостивое сердце. Милость, по толкованию того же словаря, значит «доброе человеколюбивое отношение... благодеяние, дар... благосклонность, полное доверие». Участие церкви в современном движении милосердия проявляется в основном в участии прихожан в уходе за больными, в выполнении их просьб, в непосредственном контакте с ними. Так, в Москве прихожане Патриаршего Богоявленского собора курируют Басмановскую больницу. Прихожане Иркутской Крестовоздвиженской церкви курируют областную клиническую больницу, институт ортопедии и спецдетдом в Юбилейном. Отделение общества создано и при Ленинградской Духовной Академии, в регентских классах которой учится немало девушек с музыкальными способностями — будущих руководителей церковных хоров.

Перестройка социальных и экономических структур, сфер культуры и здравоохранения должна основываться на перестройке отношений людей друг к другу. Христианское вероучение является глубоко нравственным по самой своей сути, поэтому реальное возрождение нашего общества без христианского элемента в нем представляется невозможным. Неоднократно мы убеждались, что человек, нравственность которого поколеблена, губит физическое здоровье и свое собственное, и своих близких. Весь мир сейчас обеспокоен экологической проблемой. Но не все обеспокоенные этим поняли, насколько

тесно судьба среды нашего обитания связана с нравственным здоровьем людей. Пренебрежительное, хищническое отношение к природе — прямое следствие нездорового состояния человеческой души, когда человек не думает ни о тех, с кем он живет сейчас, ни о грядущих поколениях. Исходя из этого, народный депутат А. М. Ридигер (митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий) включил в свою депутатскую программу следующие пункты:

— постоянно добиваться гуманизации советского законодательства и общегосударственных программ;

— принимать самое активное участие в отвечающем интересам всего народа решении вопросов, касающихся свободы совести, в решении межнациональных проблем на основе принципа равноправия всех национальностей;

— добиваться обеспечения охраны нравственного и физического здоровья и организации заботы о всех без исключения возрастных категориях населения;

— выступать инициатором создания совместных научно обоснованных государственно-церковных программ, направленных на решение различных проблем в сферах благотворительности, здравоохранения, охраны природы и памятников культуры, изучения и популяризации отечественного духовного наследия;

— использовать свое положение депутата в борьбе за новые, гуманные отношения между государствами и народами разных стран.

Милосердие — это нравственный закон.

В христианском учении все зиждется на любви, начиная с учения о Святой Троице. Даже при отпевании умершего, напутствии христианина, сына церкви в вечную жизнь, слышатся обеспокоенность за его участь: раздается молитвенная просьба — «всякое согрещение, содеянное им, яко благ и человеколюбец Бог прости». И именно любовию дорого общечеловеческому сознанию христианское учение. Много было учений вне христианских, стяжавших себе бессмертную и вполне заслуженную славу. По форме изложения многие из них превосходили христианство, где все просто и ясно, но не могли превзойти и никогда не провзойдут по духу. Альтруизм, вложенный во многие из них, имеет почвой под собой эгоизм: ты человек— не совсем мне чужой, потому что нас связывает человеческая природа (особенно слабости человеческой природы, на которых всегда можно спеться), отчасти общность интересов. Характерней выражает эгоистическую почву человеческих учений утилитаризм. Нужно стараться делать другим полезное (не доброе, а полезное!).

Учение Христа вытекает из других побуждений, возвышенных и святых: «Все мы дети Одного Отца Небесного», какие бы мы ни были. «Сам Он солнцу Своему повелевает светить добрым и злым и дождь посылает праведным и грешным» (Мф. 5, 45). В основе отношений Бога к людям положено начало сыновства. Любовь Божия об одном грешнике кающемся радуется больше, чем о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии (Мф. 18, 13). «Не здоровые имеют нужду во враче, а больные». Посмотрим на земную жизнь Христа. Кто Его окружает, кто Его друзья? Не отверженные ли фарисейской праведностью и человеческой гордостью люди? Не к ним ли простирал он Свою благодеющую руку?

В начале общественного богослужения на великой ектении церковь молится о нуждах людей житейских и духовных, предлагается молящимся в храме вознести моления о себе и о других, о мире всего мира. Здесь мы слышим моления о «благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временах мирных... о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их ...о избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды... о богохранимой стране нашей ...о мире всего мира».

Заповедь о любви называется в Священном Писании «наибольшей заповедью» (Мф. 22, 36—39). В Ветхозаветной религии человек, живший верою в грядущего Спасителя мира, видел в Боге прежде всего грозного

наказателя грешника. Поэтому в Священном Писании Ветхого завета взывается о милосердии Бога к людям. В этот период человечество, познавшее пагубные следствия греха, живет еще в ожидании своего Спасителя. Но уже в Ветхом завете можем видеть поощрение милосердия к человеку:

«Человек милосердный благотворит душе своей» (Притч. 11, 17);

«Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а кто милосерд к бедным, тот блажен» (Притч. 14, 21);

«Милосердный будет благословляем» (Притч. 22, 9).

И это вполне понятно, так как Ветхий завет является воспитательным периодом к принятию человечеством Христа Спасителя мира. Закон Ветхозаветный является «детоводителем ко Христу» (Гал. 3, 24). Новый завет целиком основывается на любви к Богу и людям. Одно без другого является нарушением заповеди о любви (1. Ио. 4, 20—21). Об основанной на любви к ближнему благотворительности апостола Павла свидетельствуют его послания к Коринфянам и другие. Книга Деяний святых апостолов говорит о благотворительности среди древних христиан следующими словами: «Все же верующие были вместе и имели все общее; И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого... хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Из описаний жизни древних христиан известны факты, когда подбирались и обеспечивались уходом дети, выброшенные из домов с опасными заразными заболеваниями. Здесь проявлялось христианское самопожертвование.

С прекращением гонений на христиан, имевших место со стороны римской власти в течение первых трех веков, расширилось поле деятельности в области милосердия. Начинается строительство храмов, монастырей, а наряду с ними — богаделен, больниц и приютов. Нередко в деятельности милосердия принимают участие монашествующие. Подобным интенсивным строительством ознаменовалось, например, царствование византийского императора Юстиниана.

Подходя к вопросу о движении милосердия на Руси, уместно заметить, что еще до крещения Руси в ней можно было видеть то доброе, что сделало ее по природе Русью, которой свойственна стала христианская вера и именно в ее восточной ветви. Греки, римляне, арабы, германцы единодушно отмечали простоту нравов восточных славян, их гостеприимство и доброту. Этот феномен вместе с воспринятой христианской моралью сделал то, что для Руси благотворительность стала явлением характерным, присущим русскому народу. Сочетание упомянутых факторов составило мировоззрение, мораль, характер, уклад жизни Руси. Об этом сказал наш земляк писатель Валентин Распутин:

— «1000-летие крещения Руси — дата настолько великая и многозначная, и несет она в себе так много всего, что относится не к одной лишь религии, что составляет историю, искусство, народное мировоззрение и чувствование, народный характер и душу, уклад жизни, традиции, язык наконец, мораль, духовное звучание мира... Выбор, сделанный тысячу лет назад князем Владимиром Святославичем, имел для нашей Родины столь огромные последствия, что у нас сегодня нет возможности приблизиться к их полному осознанию. Это можно сравнить с тем, что, имея землю, Русь получила небо, а славянин, имея тело, получил душу».

После крещения Руси появляются школы для обучения грамоте. Храмостроительство, а вместе с ним и создание школ, интенсивно развивалось при Ярославе Мудром. Население русских княжеств распределялось по приходам, где храмы были средоточием общественной жизни, что также создавало поприще для взаимного милосердия. В годы бедствий и бескормиц многих голодных кормили монастыри.

Попутно хотелось бы отметить любовь к детям основателя Троицко-Сергиева монастыря (ныне — Лавра) преподобного Сергия Радонежского. Он нередко с ними проводил время, разговаривал с ними и делал для них искусные игрушки из бересты.

Четыре сохранились до наших дней. Две из них находятся в монастырском музее Троице-Сергиевой Лавры, две — в музее Научно-исследовательского института детской игрушки (единственного в мире) в Загорске Московской области.

Первые на Руси «лекари» появились в Киево-Печерском монастыре.

Потребность в деятельности милосердия проявлялась и со стороны русских князей. Так, Владимир Мономах, проявляя заботу о низших слоях населения — смердах, издал закон, по которому кредиторы не могли взымать с должников свыше 20%, рискуя лишиться своего капитала. Христианская мораль совершала свое доброе влияние. Этим же объясняется и милосердие к беднякам Иоанна Калиты. В период удельной раздробленности на Руси церковь была объединяющим началом. Этому способствовали и внешние обстоятельства: князей на Руси было много, а митрополит — один. В царствование Ивана Грозного митрополит Филипп многократно протестовал против жестокости царя. Иногда ему (митрополиту) удавалось отстоять невинные жертвы, но в конечном счете он был заточен в Тверской монастырь, где был задушен опричником Малютой Скуратовым. Рискованность своих возражений царю митрополит, конечно, понимал.

В послепетровское время благотворительность в основном сосредоточивается в благотворительных заведениях приходских, монастырских и частных. Глубокую религиозность в этот период отмечают у императора Павла Первого. Из христианских побуждений он впервые делает попытку ограничить права дворян над крепостными. Крестьяне освобождаются от работы в праздничные дни и не должны были работать на помещиков более трех дней в неделю. Надо сказать, что наши школьные представления о Павле, как о самодуре, в наше время нуждаются в пересмотре. Это был один из просвещеннейших европейских государей того времени. Он покровительствовал многим знаменитым архитекторам (например, Воронихину), сам прекрасно разбирался в архитектуре, имея высокий художественный вкус.

В жизни церкви этого периода (синодального) мы можем указать на таких подвижников милосердия, как Серафим Саровский, Амвросий Оптинский, старец Силуан Афонский и Иоанн Кронштадтский.

Серафима Саровского (канонизован в 1903 г.) русский народ знал как молитвенника о страждущих, советчика, утешителя. Пробыв в Саровской пустыне в затворе 5 лет, отец Серафим посвятил себя всецело служению пользе посетителей. К нему ежедневно приходили толпы посетителей. Всех он принимал, обращаясь к каждому с ласковым приветствием (например — «Радость моя»). Глубокий знаток человеческой души, он всегда мог достаточно хорошо понять человека и помочь ему советом и своей добротой. И сегодня почитание преподобного Серафима Саровского в верующем народе очень глубоко (память 2 января и 1 августа по новому стилю).

Амвросий Оптинский (канонизован в 1988 г. на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в честь 1000-летия крещения Руси) известен как подвижник благочестия изданием большого количества книг душеполезного назначения. Одновременно с этим старец занимался очень широкой благотворительной деятельностью. Отец Амвросий передавал деньги жертвователей в руки нищих и убогих. «Особо он заботился о недугующих женщинах и девушках, о вдовах, сиротах, больных и бедных — старался пристроить их к какому-либо монастырю, находящемуся под его духовным попечением. Он поддерживал целый ряд монастырей, куда направлял больных благочестивых женщин, склоняя состоятельных людей к благотворительной деятельности в их пользу. Особое место в ряду таких обитателей занимала Шамординская Казанская Горская община, устроенная самим старцем Амвросием. Приходит, например, к нему молодая женщина, оставшаяся больною вдовою в чужой семье. Свекровь ее гонит. Старец внимательно выслушивает ее, всматривается и, наконец, говорит: «Ступай в Шамордино». В другой раз приходит один

бедняк из Сибири и отдает батюшке малолетнюю дочку: «Возьмите, — говорит он, — у нее нет матери, что я буду с ней делать?» Старец и эту отправляет в Шамордино. Из таких-то девочек-сирот образовался там детский приют. Сам Шамординский монастырь довольно быстро наполнялся насельницами, так что уже к 90-м годам XIX века число монашествующих там достигало 500 человек.

Афонский старец Силуан (канонизован Константинопольской Церковью) также известен своей любвеобильностью. Многие годы жизни старца были молитвою за мир. Старец учил, что доколе в мире есть любовь и молитва, мир будет храним Богом, а когда совсем исчезнет с лица земли любовь ...тогда мир погибнет в огне всеобщего раздора. Зло, по его взглядам (тождественным с учением Православной церкви), побеждается только добром, борьба силою приводит лишь к замене одного насилия другим. Христос пришел в мир не погубить людей, а спасти их (Лук. 9, 52—56). «И мы — учит старец — должны иметь только эту мысль, — чтобы все спаслись». «Всем народам земли» просил старец в молитвах милосердия.

В конце прошлого века и в начале нашего столетия по всей России был известен своей благотворительностью Кронштадтский протоиерей Иоанн Ильич Сергиев (Иоанн Кронштадтский). Приняв с первых дней священства на себя горячее участие в положении и судьбе всех бедных, болящих и скорбящих людей, отец Иоанн был любвеобильным пастырем, горячо принимающим к сердцу горе и несчастие каждого, и всем стремился помочь — советом, денежною помощью, приисканием занятий, учреждением школ, приютов и т. д. Многие тысячи бедного люда обращались к нему за денежной помощью — и он давал всем и все, что у него было, часто оставаясь без единого рубля. При выходе в церковь и из церкви, в дороге, на платформах и пристанях его повсюду останавливали просители, и он все отдавал им, что имеется в кармане. Сам, не позволяя себе ни малейшей роскоши, занимая скромное жилье, довольствуясь простым, даже суровым столом, и часто отказывая себе даже в самом необходимом, отец Иоанн никогда не отказал ни одному просящему у него бедняку. По выходе из церкви или из дома утром он сразу был окружаем толпой бедняков, обращающихся к нему с просьбами о помощи в различных нуждах и преимущественно материальных: «одному нужно платье, другому несколько копеек на пропитание, у третьего сапоги отказываются служить. Отец Иоанн терпеливо выслушивает каждого, задавая некоторым с любовию, но строгим тоном вопросы вроде: «Не обманываешь ли ты меня, о Христе брат?.. Денег у меня не много, а видишь, скольким помочь нужно...» Начинаются уверения в правдивости просьбы, и кончается тем, что отец Иоанн, по силе возможности, наделяет просителя деньгами или же сам отправляется с ним на местный рынок и там покупает платье, сапоги, даже пищу, словом — то, что всего более необходимо для просителя в данную минуту». Отец Иоанн часто посещал нуждающихся в самих же жилищах. Обыкновенно приходя в семью, пораженную нищетою и болезнями, и видя, что некому сходить даже за съестными припасами, потому что из одного угла доносятся болезненные стоны хворой матери семейства, из другого — несмолкаемый плач голодных, иззябших больных детей, — о. Иоанн сам отправляется в лавку, чтобы купить провизии, в аптеку за лекарством, или приводит доктора, словом, окружает семью чисто родственным попечением, не забывая оказать и материальную помощь. И чем больше о. Иоанн дает, тем больше к нему притекает пожертвований для благотворительности. От многочисленных жертвователей он ежегодно получает огромные суммы денег, которые все употребляет на дела милосердия. Рассказывают такой случай. «Одной бедной вдове нужно было выдать замуж дочь. Она распродала все свои вещи на приданое, а жених, забрав обещанное, скрылся и оставил ее с дочерью и в позоре и без куска хлеба. Дочь заболела и слегла в постель; денег не было ни на лекарства, ни на прожитье. Вдова обратилась к помощи о. Иоанна и объяснила все, как было. «Жаль, что при мне сейчас нет ни копейки денег, — отвечал ей любвеобильный

пастырь. — Впрочем, погодите, сейчас я еду к богатому купцу служить молебен, и что получу, будет Ваше. А Вы подождите меня у подъезда, чтобы другой кто не выпросил ранее». Купец после молебна передал о. Иоанну пакет и проводил его признательно до самого подъезда. В это время приблизилась к благодетелю просительница, и он передал ей пакет, даже не пожелавши узнать, что там вложено. «Батюшка, здесь четыре восточных билета, по 1000 рублей каждый», — полуиспуганно предупредил его жертвователь. «Это уже ее счастье: это ей Бог посылает», — ответил о. Иоанн и, благословив всех, простился и уехал».

Благотворительность о. Иоанна поистине безмерна. Он о себе не думает: через его руки проходят тысячи, и он разделяет, раздает у себя на дому и рассылает по почте щедрою рукою. Помимо ежедневной милостыни нищим, несчастным в жизни, постоянно питающимся от подаяния о. Иоанна на улицах и площадях, в Кронштадте о. Иоанном устроено шестнадцать благотворительных учреждений. Из них особенно замечателен «дом трудолюбия», в котором устроена церковь и три большие здания для призрения бедных. Кроме Дома трудолюбия за время священнослужения о. Иоанна им учреждены и поддерживались ночлежные приюты на 300 человек, народная столовая, кормящая до 600 человек в день, богадельня, лечебница; устроены народные чтения, библиотека, даровая книжная лавка, детская библиотека, начальные училища на 350 детей, рисовальные классы, детский приют на 100 сирот. Этот великий труженик трудился на благо ближних, включая богослужение в церкви с раннего утра до позднего вечера.

В дореволюционной России практически в каждом приходе было то или иное благотворительное заведение или по крайней мере попечительство, не говоря уже о церковно-приходских школах для начального обучения простого народа. Благотворительность всегда поощрялась церковью. Но милосердие на почве христианской любви проявлялось не только в положительной благотворительной деятельности, но и в борьбе с общественными недугами, в том числе с пьянством. Этот вопрос поднимался в ряде церковных журналов. Журнал «Приходская жизнь» к каждому своему номеру (ежемесячно) делал приложение — «Листок трезвости», где велась разъяснительная работа о вреде алкоголя, обменивались опытом представители обществ трезвости. В Ярославской губернии были известны Предтеченское и Михаило-Архангельское общества трезвости, в Петербурге — Александро-Невское общество. Трезвость преподносится как верная охрана здоровья, лучший страж семейного счастья, верный друг трудолюбия и самый надежный оберегатель имущества. Вносились предложения об утверждении в народе трезвости законодательными мерами, приводились примеры успешной борьбы. Вопрос о борьбе с пьянством обсуждался на большей части епархиальных съездов духовенства. В 1908 г. на заседании Ярославского съезда в порядке обмена опытом был прочитан протокол Иркутского съезда. В нем говорилось о мерах, принимаемых Иркутским духовенством против пьянства. Протокол разделяет эти меры на внутренние и внешние. К внутренним мерам относятся: негласное внушение, проповедь, привлечение самих прихожан к участию в борьбе с пьянством путем воздержания от купли и тайной продажи водки, молитва священника вместе с алкоголиком, выразившим желание отказаться от употребления водки, пример трезвой жизни и обещание не пить водку с произнесением клятвы. К внешним мерам относятся: устройство праздничных и воскресных чтений, распространение брошюр о вреде пьянства, ходатайства об уничтожении существующего порядка продажи водки и медицинская помощь.

Подготовительная комиссия к Уфимскому Епархиальному съезду пришла к выводу, что таких мер борьбы, как проповедь и пастырское увещание, явно недостаточно для того, чтобы излечить застарелый народный недуг пьянства. Пьянство вошло в быт русского народа, без водки не обходится ни один важный и дорогой момент жизни человека, настал ли праздник, случились ли крестины, свадьба, именины, похороны, новоселие и

проч. — водка постоянная и необходимая принадлежность. Самая связанность водки с важными моментами жизни человека возвышает это зелье во мнении народа, вкореняется взгляд, что пьянство — не порок. Корни этого зла лежат глубоко. Необходима сложная культурная работа, надо совершить переворот в умах людей, нужно радикально изменить установившееся понятие о спиртных напитках; когда люди убедятся, что напиться пьяным у себя дома, в гостях, у соседей, в праздник — является большим позором, тогда только возможна успешная борьба с этим великим злом.

Александро-Невское общество в Петербурге задалось целью собрать материал для решения вопроса об усилении мер борьбы с пьянством и потому обратилось с запросом к духовенству. В запросе выражается уверенность, что собранные данные помогут правильно выбрать и принять разумные меры для внедрения трезвости в жизни народа. Запрос обращен к пастырям церкви, как труженикам на ниве народной, которым лучше, чем другим, известны язвы прихода и его нужды, настроения и те добрые качества, развитием которых можно поднять общее народное благосостояние. Везде есть свои причины развития пьянства или его ослабления. Запрос был призван обогатить опытом всей России деятельность общества трезвости.

Милосердием практическим и духовным особенно славилась по всей Руси Оптина пустынь. В 1839 году в России была страшная засуха и голод. Настоятель пустыни архимандрит Моисей послал сборщиков в северные губернии для сбора пожертвований на содержание обители. Сборщики, проезжая лесами и деревнями, видели, как крестьяне, чтобы утолить голод, скитаясь по лесам, собирали древесный лист, рубили его и ели пополам с мякиной и соломой. Глядя на великую нужду народа, слезами обливались сборщики, и им было уже не до сбора. В это время монастырь был битком набит голодными людьми. Дома есть нечего — шли в Оптину пустынь, зная, что здесь всех примут и окажут посильную помощь. В эти голодные годы отец Моисей решил увеличить работы по постройке большой каменной ограды, чтобы этим дать возможность заработка рабочему люду. Оптинские старцы, будучи тонкими знатоками человеческой души, умели удовлетворять духовные запросы как простого народа, так и интеллигенции — всех слоев общества. Во время душевного разлада в Оптиной искал духовной поддержки Н. В. Гоголь и пытался ее найти Л. Н. Толстой.

Н. В. Гоголь неоднократно посещал Оптину пустынь. О своем таком посещении в июне 1850 г. он писал графу А. П. Толстому: «Я заехал по дороге в Оптину пустынь и навсегда унес о ней воспоминание. Я думаю, на самой Афонской горе не лучше. Благодать видимо там присутствует. Это слышится и в самом наружном служении. Никогда я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное... Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхождения, самые работники в монастыре, самые крестьяне и жители окрестностей. За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышим ее благоуханье: все становится приветливее, поклоны ниже и участие к человеку больше». Знаменателен также случай, когда Гоголь посетил Оптину вместе с Максимовичем проездом из Долбина от И. В. Киреевского. Из экипажа наши паломники вышли за две версты от монастыря и шли пешком. По дороге они встретили девочку с миской земляники и хотели у нее купить ягоду. Девочка, видя, что они люди дорожные, не захотела взять у них денег и отдала им свои ягоды бесплатно, заявив: «Как можно брать с дорожных!». Такие морально-религиозные устои в сознании ребенка удивили и растрогали великого писателя. В этом он тоже усмотрел нравственное влияние Оптиной пустыни на местное население. «Пустынь эта, — писал Гоголь, — распространяет благочестие в народе. И я не раз замечал подобное влияние таких обителей».

Другой писатель, И. М. Концевич, описывает Оптину пустынь, говоря, что в монастыре, идя утром в церковь «вы испытываете реальное ощущение присутствия Божия, а отсюда страх за каждую мысль, действие, чув-

ство и одновременно ощущаете непостижимый мир на душе и радость, которая так давно гармонирует с внешней обстановкой. Значение Оптиной пустыни очень велико в духовной жизни России».

Из великих мыслителей, общавшихся с оптинскими старцами, дальше всех от оптинского духа отстоял Лев Толстой. По причине его крайней гордости старцу Амвросию было всегда трудно вести с ним беседу. После своего отлучения Толстой больше со старцами Оптиной обители не виделся. Тот же Концевич пишет: «Так однажды, подойдя к скиту, он остановился (Толстой): какая-то невидимая сила задерживала его у святых ворот. Ясно было, что в нем шла сильная борьба со страстью гордости: он повернулся обратно, но нерешительно вернулся опять. Вернулся он и в третий раз уже совсем нерешительно и затем, резко повернувшись, быстро ушел оттуда и больше никогда не делал попыток войти в скит. Только последние дни своей жизни, можно думать, почувствовав близость конца, и что ему не уйти от суда Божия, Толстой рванулся в Оптину, бежав от своего ближайшего окружения, но был настигнут. И когда оптинский старец о. Варсонофий, по поручению Св. Синода, прибыл на станцию Останово, дабы принести примирение и умирение умирающему, он не был допущен к нему... Отец Варсонофий до конца своей жизни без боли и волнения не мог вспоминать об этой поездке».

Говоря о милосердии, нельзя не упомянуть о деятельности Иркутского Знаменского монастыря. В 1853 г. в монастыре открылась трехгодичная школа для девочек. До 1858 г. должность учительницы возлагалась на разных лиц из монашества. С 1858 г. по 1884 г. учительницей состояла рясофорная послушница Анисия Паргачевская (впоследствии игуменья Валентина). Она же управляла церковным хором. С 1894 г. мы видим училище уже вполне обставленным должным образом. В 1901 г. в училище обучалось 16 учениц. Учительницей в это время была 43-летняя послушница Мария Сутович. Профессор иркутской духовной семинарии преподавал в училище историю и географию, учитель Стуков — русский язык, учитель Токарев — арифметику и был смотрителем училища. В первый класс принимались девочки 10—12 лет при условии сдачи испытаний:

— по Закону Божьему; знание молитв начальных, «Отче наш», Богородице, Ангелу Хранителю и молитвы за царя;

— по русскому языку: беглое чтение и пересказ коротких статей, правильное письмо с книги;

— по арифметике: действия с целыми числами в пределах первых двадцати. Таблица умножения.

Для поступления требовалось свидетельство врача о привитии предохранительной оспы и об отсутствии препятствий к учебе по состоянию здоровья. За содержание в школе взималась плата 85 руб. в год. Вакансий в училище предусмотрено — 25 мест. Из них 3 места бесплатных для сирот. Последняя выпускница училища, обучавшаяся бесплатно, трудилась в ризнице Знаменского собора по открытии его в послевоенное время в конце 40-х, в 50-е и в начале 60-х годов (монахиня Агриппина). В 1897 году для расширения училища куплена дача Ушакова за 13060 руб. В 1898 г. состоялась закладка главного корпуса, а в 1901 г. закончено строительством и освящено здание училища (новое). Училище переезжает в новое здание и преобразуется из трехклассного в шестиклассное. Воспитанницы приобщались к искусству садоводства и рукоделия, которыми Знаменский монастырь славился. Эта деятельность монастыря уходит в глубь истории Иркутска. В 1911 г. в Интендантском саду на берегу р. Ушаковки (на месте нынешнего завода им. Куйбышева) имела место промышленно-сельскохозяйственная выставка. На ней по цветоводству, садоводству и огородничеству были представлены экспонаты Знаменского монастыря. По результатам выставки монастырь был награжден малой серебряной медалью. Высоко также ценились изделия монастыря по золотошвейным работам, художественная стежка одеял, вышивка цветной и белой гладью, бисером, драгоценными камнями, ризами на иконы, праздничными облачениями для богослужений. Купцы заказывали монастырским мастерицам

приданое для своих дочерей. Иркутск был купеческим городом, и со стороны купечества также имела место благотворительность в частном порядке.

В описанных выше случаях проявления милосердия, особенно со стороны подвижников благочестия, нетрудно заметить сочувствие человеческому горю и несчастию, т. е. жалость. Если любовь — это заповедь, которая распространяется по своему объекту как на Бога, так и на всех людей, то жалость — это реакция любящего сердца на конкретный случай, на несчастие и горе человека, поставление себя на место другого, сопереживание, соболезнование. Поэтому странно было во времена обучения автора в школе (в конце 40-х, начале 50-х гг.) слышать, что жалость якобы унижает человеческое достоинство. И эту мысль даже пытались приписать писателю Максиму Горькому на том основании, что он вложил эту идею в уста одного из персонажей пьесы «На дне» (Сатина). Сам же Горький никогда эту мысль не высказывал. На самом деле, почему же элементарное сочувствие чужому горю и несчастию должно унижать достоинство попавшего в беду? Проявлениям элементарной человеческой жалости и любви к ближнему сообразно учение церкви об единстве человеческого рода. В библейском повествовании о творении человека говорится, что человек создан в одной чете. Адам и Ева представляются родоначальниками всего человечества, а Ной, потомок Адама, родоначальником всего послепотопного человечества (Быт. 4, 13; 17, 21; 10, 32 и др.). Таким образом в этом повествовании ясно и определенно утверждается истина единства человеческого рода. Эта истина многократно подтверждается в Священном Писании, составляя одну из существенных сторон библейского учения о человеке. Апостол Павел свидетельствует, что «Бог от единой крови произвел весь род человеческий, для обитания по всему лицу земли» (Деян, 17, 26). В здравой логике это учение также находит для себя подтверждение. Происходивший летом 1911 г. в Лондоне международный конгресс рас вынес резолюцию, что весь род человеческий — одного происхождения и что ни одну расу нельзя считать ниже и ближе к животному миру, чем остальные. Разница рас вытекает из социологических и психологических причин и в этической области не проявляется ничем.

От смешанных браков людей из самых различных племен может происходить полноценное потомство, чего мы не имеем возможным наблюдать в животном мире.

Мы можем видеть сходство человеческих племен как со стороны телесной, так и духовной природы, по множеству существенных признаков. Сюда относятся: одинаковое анатомическое строение тела, одинаковая средняя продолжительность жизни, одинаковая скорость биения пульса и др. Основные духовные способности; разум, воля, чувства у всех людей одни и те же; замечается только различие в степени их развития у различных племен.

Сравнительное изучение языков, религий, древних преданий также свидетельствует о первоначальной связи всего человеческого рода, об одном корне и одной общей колыбели его. Истина единства человеческого рода имеет существенное значение как в догматическом, так и в нравственном отношениях. На ней утверждаются важнейшие догматы о падении всего человечества в Адаме и об искуплении всего человечества во Христе Иисусе. Как происходящее от Адама падшего, зараженного грехом, все человечество носит в себе начало греха, все согрешили в Адаме, и все имеют нужду в искуплении. Равным образом во Христе Иисусе, этом новом Адаме, который приобщился нашей плоти и крови и не стыдится называть нас своими братьями (Евр. — 11-14), все человечество имеет своего искупителя. Поэтому «как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 кор. 15, 22). Так, в силу своего происхождения от одной крови все человечество является цельным организмом, имеющим один корень в Адаме и один венец во Христе Иисусе.

Не меньшее значение эта истина имеет в нравственном отношении. Она способствует расширению нравственного кругозора человечества. Она устанавливает взгляд на все че-

ловечество, как на великую семью, происшедшую от одного родоначальника. Здесь начало братства во взаимных отношениях людей. Этой истиной в христианском мире вызваны высшие человеколюбивые заботы о просвещении других народов, об освобождении порабощенных и угнетенных племен, об установлении мирных международных отношений. Отрицание этой истины ведет к развитию антагонизма между народами, к оправданию рабства, к уничтожению беззащитных племен и другим жестокостям во взаимных отношениях различных народов между собой.

Касаткин Евгений Владимирович родился в 1934 году в Ленинграде. Окончил юридический факультет Ленинградского университета.

Рукоположен в священники архиепископом Вениамином в 1967 году в Иркутске.

В настоящее время исполняет обязанности настоятеля иркутского Крестовоздвиженского храма.

Статьи публиковались в областных газетах, в «Литературном Иркутске».



Вячеслав Морозов

ПОЭТЫ ЕСЕНИНСКОГО КРУГА

В 1986 году московское издательство «Современник» выпустило в свет чудо-сборник: антологию поэтов есенинского круга «О Русь, взмахни крылами...», составленный Станиславом и Сергеем Куняевыми. Издание это, великолепно проиллюстрированное художником А. Бисти, прямо скажем, подарочное. Как «по одежке», так и «по уму». Авторов сборника стоит перечислить поименно: Николай Клюев, Пимен Карпов, Павел Радимов, Петр Орешин, Александр Ширяевец, Сергей Клычков, Алексей Ганин, Сергей Есенин, Василий Наседкин, Иван Приблудный, Павел Васильев.

Много ль знакомых имен, Читатель?..

Стоит обратить внимание на скорбную дату в предваряющих стихи кратких биографиях каждого. Оговорюсь, что ко времени составления сборника доступ ко многим источникам был весьма ограничен, поэтому — вполне закономерно — составителям не удалось избежать ошибок. Даты смерти (точнее все-таки: гибели) многих литераторов до сих пор нельзя установить с совершенной точностью.

Из одиннадцати поэтов есенинского круга семеро погибли насильственной смертью. Не секрет, что под сомнение поставлена и официальная версия гибели самого С. А. Есенина. Первым в 1925 году был расстрелян А. Ганин, в 1937/38 гг. расстреляны: Н. Клюев, С. Клычков, П. Орешин, П. Васильев, И. Приблудный, в 1940-м — В. Наседкин. А. Ширяевец умер в 1924 году от туберкулеза. Поэт и художник П. Радимов — один из всех — вкусил достойной старости: умер в феврале 1967 года неполных восьмидесяти лет.

О судьбе Пимена Карпова следует сказать чуть подробнее. Он избежал дыбы и плахи, но был вычеркнут из советской литературы — казалось, насовсем. Так что появление его имени в антологии — несомненная заслуга отца и сына Куняевых. В «Автобиографии» (1946), хранящейся в ЦГАЛИ, он писал: «В творческой жизни самое трудное — умереть вовремя. (...) Не оттого ли по земле бродит так много живых мертвецов». До сих пор не обнаружена обширная переписка П. Карпова с Л. Н. Толстым, А. Блоком. Напомню, что Александр Блок в свое время предсказывал П. Карпову немеркнущую в веках славу. Вторая книга П. Карпова (роман «Пламя») принесла славу скандальную: он был обвинен во всех смертных грехах (впрочем, как и большинство «крестьянских» писателей), а В. Д. Бонч-Бруевич — в тридцатые годы исправно доносивший на своих сотрудников то «дорогому Генриху Григорьевичу», то «дорогому Николаю Ивановичу», а затем и «дорогому Лаврентию Павловичу» (Ягоде, Ежову и Берия) — приписал автору романа вообще немыслимое злодеяние: употребление человеческой крови.

В начале 30-х у Карпова вышел сборник рассказов — «Трудный голос» и книга стихов «Ноев ковчег». В 1933 году ему удается издать автобиографический роман «Верхом

на солнце». А дальше — провал, темнота и полная неизвестность. Но!— в 1956 году в издательстве «Советский писатель» выходит его роман «Из глубины». Точнее, не роман, а 1/3 романа — так он был «урезан». Редактор Борис Дьяков вспоминал, как к нему пришел нищий по облику старик и выложил на стол груду разнокалиберных листков. Тут были и форматные листы, и куски оберточной бумаги, и какие-то клочки... Часть текста — машинопись, часть — написано от руки.

В архивах хранятся (в состоянии ужасающем!) пять романов, две повести, десятки рассказов — на пару солидных томов, масса стихотворений. Из всего этого богатства не опубликовано ни одной строки! За исключением пятнадцати стихотворений в сборнике «О Русь...».

Критика наша с завидным согласием обошла молчанием появление антологии поэтов есенинского круга: «расстановка сил» — ничего не попишешь!..

Но 31 марта 1987 года в Центральном Доме литераторов состоялось обсуждение изданной антологии. Для этого мероприятия дирекция ЦДЛ выделила малый зал: все та же «расстановка сил» — да не осудит читатель за назойливость определения, ибо далее оно будет проиллюстрировано конкретными примерами. Приведу отрывки стенограммы состоявшегося обсуждения — думаю, не без пользы для понимания сути так называемой «литературной борьбы» 20—30-х годов (борьбы с кем и с чем!), а также сегодняшней ситуации — столь же напряженной и мрачной, как в те не столь уж далекие годы,— дабы прозрел Неискушенный Читатель, считающий в святой простоте своей (в этом случае она — стократ хуже воровства!), что писатели-де «что-то меж собой не поделили»...

Станислав Куняев (председательствующий):— Поступила записка: «Почему книга вышла таким мизерным тиражом?» Ну, на это я должен сказать, что хорошо, что она вообще вышла. (...) Задумано составление сборника давно, работа также начата давно, но то, что книга издана в период перестройки,— это совпадение. Мы не перестраивались и не подстраивались. Мы работали. Добавлю, что из десяти тысяч экземпляров* половина тиража закуплена Международной книгой — для заграницы, так что советский читатель... В общем, понятно. (...)

Валентин Сорокин:— Извините меня, я очень волнуюсь!.. Это правда. Мне сложно говорить обо всех поэтах, представленных в этом сборнике, сразу: каждый из них заслуживает отдельных вечеров поэзии, дней поэзии и скрупулезного исследования творчества. Хочу сказать слова благодарности Станиславу Куняеву за его огромную работу и гранитную стойкость и твердость перед «многонациональным» лаем, который на него в последнее время обрушился. (...)

Наша критика сумела «поссорить» Пушкина с отцом, Есенина — с Россией. Мы дожили до страшных времен!..

Семьдесят лет назад Василий Наседкин писал:

Это плачут не дожди —
Неродившиеся дети.

А к чему мы подошли?! Сегодня русская мать поставлена в такие условия, что отказывается рожать! Мне трудно говорить это, поверьте!.. Хорошо, что сейчас наше дерево начинает сращивать некоторые отрубленные ветки. (...) Если вдуматься, ведь наш вечер сегодняшний — это поминки! Мы говорим о гласности. Она есть, но какая гласность?.. Пока ничего отрадного не произошло. Трибуна гласности предоставлена только черным силам, которые сплочены, сильны, едины — и физиология их едина.

Недавно я был во Вьетнаме. Со всех сторон один вопрос: как там у вас с Пастернаком? Поймите, я ничего не имею против Пастернака: это прекрасный национальный поэт, и я ценю и очень люблю его творчество. Но ведь Пастернак — это еще не вся русская культура и литература того времени. А об убиенных поэтах, представленных в этом сборнике, никто во Вьетнаме слыхом не

---

* Справедливости ради отметим, что позже Ст. Куняев добился отпечатки дополнительного тиража — отнюдь, однако, не насытившего книжный рынок. Книга эта — до сих пор вожделенна и недоступна для многих читателей.

слыхивал и знать их не знает! Мы обокрали себя не только у себя на Родине, но и за границей!..

Я должен сказать следующее: без нас, без нашей помощи им не возродиться — эти поэты умрут! Умрут во второй раз — и тогда, быть может, навсегда. И с ними умрет наша национальная гордость, наша духовность, наша культура. Подумайте, сколько у нас уже отобрано! Сколько раз нам пытались наглухо заткнуть рты только за то, что мы помним могилы наших отцов и матерей! Кого-то покупали страхом перед расправой, кто-то продавался, кто-то не выдерживал и ломался, а те, не смирившиеся, предавались искусственному забвению...

Голос из зала:— Так вы можете скатиться до человеконенавистничества!..

Валентин Сорокин:— Нет, не скачусь, потому что во мне никогда не жило это чувство. А на вашу реплику отвечу так: богоподобная жестокость и есть человеческая доброта!

В течение десятилетий из нас выколачивали память. Лжепоэты и лжепрозаики учили нас, как надо любить Родину. Чужие люди — совести нашей чужие!— убили Есенина, Клюева, Клычкова, других... Сегодня они убивают Белова, Астафьева, Ивана Акулова... (...)

Нам не хватает самозащиты. Нам нечем — мы отучены самозащищаться. А между тем мы уже подошли к краю. И если не воскреснет это чувство самозащиты в нас и в наших детях, то мы как народ — погибнем!

Юрий Прокушев:— ...В наш нескромный до нахальства век мы, русские, чересчур скромны. Преступно бываем «скромны». На обливание грязью наших святынь мы никак не реагируем, делаем вид, что ничего не происходит, а порой и поддакиваем нашим губителям*. Договорились уже до того, что Пушкин и Высоцкий — это для русской культуры явление одной величины. Да Бога ради, любите Высоцкого — это поэт, он заслуживает любви и поклонения. Но зачем при этом трогать Пушкина?! (...)

---

* Напомню, что эти слова были сказаны за два года до публикации «Чонкина...» В. Войновича, «Прогулок с Пушкиным» Абрама Терца (Синявского) и т. п.

В заключение хочу сказать: сборник «О Русь, взмахни крылами...» нужно выпустить массовым тиражом в «Роман-газете» и положить этим начало серии сборников «забытых» русских поэтов — под титулом «О Русь, взмахни крылами...».

Федор Бирюков:— Самый главный вывод из того, что сегодня здесь говорилось: надо правильно понимать патриотизм. Тот патриотизм, который был свойственен Есенину и Клычкову, был истолкован и преподносился в течение долгого срока с обратной стороны, не отражающей сути патриотизма, но преднамеренно извращающей ее. То есть в течение длительного времени преднамеренно, целеустремленно и целенаправленно из нас вытравливали патриотизм истинный. Виноват в этом не только Троцкий и его сподвижники (которого и которых в последнее время стараются обелить и возвести в ранг святых*), не только РАПП, который по существу рьяно проводил в жизнь установку Троцкого — уничтожить русскую культуру, виновата и писательская братия, допустившая это многолетнее кощунство и даже принявшая в нем участие. (...)

Нина Молева:— Я скажу о дне се-

---

* Тогда еще только велись разговоры на встречах в Политехническом музее, появлялись редкие, подготовительного свойства публикации в региональной столичной прессе. Сейчас, как может заметить читатель, нимб святого уже отчетливо и зримо витает над пышной шевелюрой Троцкого. Например, историк В. Старцев, предваряя публикации статьи Троцкого о Ленине, пишет так: «...вчитайтесь в эти строки, написанные на образном русском языке. И будет понятно, что Троцкий так же всецело принадлежит русской культуре и русской литературе, как, скажем, Рубинштейн—русской музыке, а Левитан и Леонид Пастернак — русской живописи». (Родина, 1989, № 7, с. 32). Не трогать бы профессору Левитана и Рубинштейна — да надо же под кого-то подпереться! Но — честно скажу: дух захватывает. Как, бывает, захватывает дух от чьей-то непомерной наглости или хамской выходки. Впрочем, каким-то боком и людоеда можно причислить к человеколюбцам... Не ставлю под сомнение искренность, с которой написаны эти строки доктором исторических наук В. Старцевым, но хочу при этом задержать его внимание на выступлении В. Я. Лазарева, приведенном ниже.

годняшнем. Только вчера новый предрика (пропущено название. — *В. М.*) района города Москвы — товарищ Горячев сказал, что сохранять последнюю квартиру Есенина в Москве, что в Померанцевом переулке, он не собирается и нам «не позволит»! Постановление о создании в этой квартире музея было согласовано с предыдущим председателем райисполкома. Товарищ Горячев на этот довод ответил: «То, что вы с ним согласовали, меня не волнует. Теперь хозяин — я, я и буду решать!»

Дом хотят сдать в капитальный ремонт. Но ведь стройкомиссия доказала, что дому не требуется капитальный ремонт. Все эти заключения, все документы есть у Горячева. Но он намерен переоборудовать квартиры в высококомфортабельные. Кто в них будет жить — не знаю, но список жильцов уже утвержден. (...)

Вы знаете, что уничтожен «Англетер», как по-свински устроили в последнем приюте поэта — по существу, на его могиле!— буфет. Вы знаете, что нет теперь и этого. (Сильный шум в зале.)

Подождите, это еще не все! Сегодня комиссия по сносу приговорила еще один — теперь уже последний дом Есенина в Москве: в Строгановском переулке, дом 24. Все разговоры, выступления по телевидению, радио, в печати закончились этим варварским постановлением. Когда-то, несмотря на наши протесты, дом был передан городскому туристическому бюро. Несколько лет эти туристы протянули с реставрацией, хотя и обещали постоянно. А реставрировать там — заменить пару венцов и обшить дом «вагонкой». (...) Теперь туристы съехали, дом сдали. Но нам его под музей опять не отдают. И этот дом решено снести! Молодежь из ближайшего ПТУ — которой, кстати сказать, чудом попала в руки эта книга: «О Русь, взмахни крылами...», оцепила дом, послала своего представителя в райисполком с предложением: отреставрировать за свой счет в свободное от занятий время. Им в этой просьбе отказали. «Оцепление» их было снято милицией со строгим предупреждением: близко не подходить «к аварийному зданию»! Они мне сказали: «Нина Михайловна, если у нас так можно с Есениным, то что же могут сделать с нами?..» Товарищи, я не знала, что им сказать. И сейчас я не знаю, что нужно делать, но делать ведь что-то надо! Ведь эти злодеяния творятся в открытую, на наших глазах...

После обсуждения ситуации и возможностей собравшихся было решено дать телеграмму на имя Б. Н. Ельцина (тогда — первый секретарь МГК), копию телеграммы — в Фонд культуры — Лихачеву, Мясникову и Горбачевой. Также собраны подписи в защиту двух последних квартир С. Есенина в Москве.

Владимир Лазарев:— ...Лозунг революционной Кубы «Родина или смерть!» был утвержден раньше — нашими крестьянскими, как их теперь называют, а по существу — просто русскими поэтами. Утвержден творчеством их, судьбами. Сегодняшнее время — время обретения и утверждения сильного характера. Сегодня, в определенном смысле, на дворе — те же 20-е годы, по всем приметам. Это время вернулось к нам, только в иной форме, в ином обличье. Не нужно быть особенно дальнозорким, чтоб это заметить и понять. Перед нами стоит тот же вопрос, что и перед русскими писателями 20-х годов: Родина или смерть!

Другая сторона одного вопроса: не начнем ли мы в горячке топтать своих же братьев? Пример, когда несколько лет назад литераторы скопом накинулись на Михаила Лобанова за его смелую публикацию в журнале «Волга», еще свеж в нашей памяти. Наша задача: не ошибиться в оценках и суметь выдержать все возрастающий напор «фанерных знаменитостей». Это трудно, тяжко. И в первую очередь потому, что ведь наш читатель воспитан ими же! Он порой уже не воспринимает настоящую литературу (Еще бы! Коль уже Троцкий у нас заговорил «образным русским языком»!..— *В. М.*). И не только читатель, но и свой брат писатель ее воспринимает с долей иронии. (...)

Есть такой термин «психика народа». Сейчас психика народа серьезно больна, она требует быстрейшего излечения. Думаю, что этот сборник — малая доза такого «лекарства».

Сначала уничтожали слово, которое всегда было тесно связано с архитектурой, потом — «Англетеры», теперь добрались до Есенина здесь, в Москве... И все это — с издевательской планомерностью, подкрепленной полной безнаказанностью. Я думаю, эта сатанинская пляска на дорогих русскому сердцу могилах не есть чьи-то «отдельные ошибки». Это — война. А мужской долг во время войны — быть на передовой. (...)

Закончу на этом цитирование стенограммы.

В 30-е годы в узких кругах передавали мрачного юмора гекзаметр:

Преданность вечно была в характере русского люда.
Кто же не предан теперь? Ни одного не найдешь!
Всякий, кто глуп или подл, восторженно Сталину предан,
Всякий, кто честен и смел, кровавому предан суду!

Естественно, автор неизвестен. Если пролистать сборничек стихотворений поэтов «крестьянской кузницы», то не найдем ни одного стихотворения «восторженной преданности». И не только Сталину. Культ Сталина — на нем нынче зациклены все поголовно — это продолжение ряда культов предшествующих и параллельных: были и почва, и фон. Культ революции (по простой схеме: раньше было плохо, теперь хорошо, а будет еще лучше), культ пролетариата (могильщик буржуазии, движущая сила революции, самый революционный класс — и т. д.), культ карательных органов и их «славных наркомов», начиная с Дзержинского (кто ж еще защитит от врагов завоевания революции!..), культ Троцкого («демон революции, всевидящий и вездесущий, организатор Красной Армии и ее побед), культ Ленина — самый очевиднейший и самый замалчиваемый (это беспристрастно отметили уже в 1925 году английские тред-юнионисты, посетившие Москву и Кавказ с дружественным визитом), культ партии и ее руководителей.

Представляя читателю несколько стихотворений Сергея Антоновича Клычкова (1889 — 1937), хочу особо отметить их житейскую, земную — в лучшем, первозданном смысле этого слова!— философичность, полное отсутствие фетишизации и восторженной «уры», так характерной для «комсомольской», демьяно-бедновской, маяковской поэзии, нетрадиционность мышления, отражающее кровную озабоченность судьбой России — отнюдь не в духе тогдашних передовиц центральных газет, а зачастую вперекор им.

Сергей Клычков никогда не писал стихотворения «к дате»— будь она торжественной, радостной или скорбной. В этом смысле стихотворение, посвященное памяти Ленина, — единственное. Опубликовано оно в мартовском номере журнала «Красная новь» за 1924 год, значит, написано вскоре после смерти великого вождя революции. Стихотворение это — не только свидетельство глубокой скорби от личной утраты, оно поразительно глубиной философского осмысления происшедших великих событий.

Знаток русского фольклора, ценитель его и хранитель, Клычков здесь перекроил былину, перестроил ее на новый лад, перевернул сюжетный смысл народного сказания. Прибегнем к сравнению.

1. Основа духовного стиха об Анике-воине — памятник древнерусской литературе «Прение Живота и Смерти». Жизнь (в устном предании ее олицетворяет богатырь Аника) противоборствует Смерти. Это главная отправная точка.

2. По записи П. Н. Рыбникова, «Оника-виоин» говорил «речь похвальную, господу противную»— то есть смел перечить самому Богу.

3. Желание Аники, который чуял в себе силу великую: «повернуть землю на сине небо, а сине небо — на сырую землю, и чтоб смерти не было, и чтоб народ был бы весь жив».

4. Господь наказывает Анику за хвастовство: кладет перед ним две переметные сумы — одна на небе, вторая — на земле. Аника по грудь ушел в землю, а сумочки не стронул. «И надорвал он свое ретивое сердецюшко».

5. Повстречав Смерть («чудо чудное»), Аника похваляется, что одолеет ее. Не тут-то было:

И упал на сыру землю:
И быдто век души не было.

Былинная суть такова: обладая богатырс-

кой силой, Аника затеял перевернуть мир, но не перевернул; думая победить смерть — не победил.

Иванушка-Аника у Клычкова — тоже богатырь: «в плечах — сажень», «крутая грудь — кузнечный сварень»*. В отличие от былинного Аники-воина, который замыслил мир перевернуть от избытка молодецкой силы, клычковский Иванушка смысл переворота народной жизни видит в освобождении народа от бед и унижений.

Цвет крови, цвет кумача — символ революции. Кумачом кровавым расшит ворот рубашки Иванушки-Аники.

Революция — в трех строках:

И потечет по полю кровь
И прорастет крапивой жгучей
Мечом запаханная новь...

Для поэта революция и гражданская война — это и есть «прение живота и смерти», в котором «живот» (жизнь) побеждает свою страшную соперницу. Трагическая сторона этого единоборства не затушевывает: течет «по полю кровь», смолкли песни, луна — и та спряталась за небосклон, вместо скворешен на шестах качаются вражьи (человеческие все-таки!) головы... Но у окон маячат тени замученных, напоминая о себе, о своих страданиях — и тем оправдывая бойню.

Осуждает ли Клычков Анику, ставшего во главе переворота, запахавшего новь мечом, а не плугом, и народ, идущий за ним на братоубийственную войну? Вот что сказано об Анике:

Но не для-ради злой потехи
Он будет ратовать и мстить...

О народе:

Как обвинить, что изнемог он,
Что черной дыбой изурокан,
Был свят и добр — и будет лют...

Былинный Аника похвалялся, что может перевернуть землю и небо (и не смог), Иванушка-Аника у Клычкова сделал это молча; при встрече со Смертью у Аники-воина «востра сабля с руки выпала», а у Клычкова —«И меч Аники не отвесть»; в былине Аника-воин погибает (и это подчеркивается как закономерность), Клычков же вообще не говорит о смерти Аники, ибо сам подвиг богатыря — это победа Жизни на земле. Бессмертно дело, и это главное.

Необычайный фольклорный образ, положенный в основу стихотворения, взят поэтом не случайно. Имя Аники, ставшее нарицательным, несет в себе только иронический смысл — по преданию. Для Клычкова Иванушка-Аника, и это нетрудно заметить,— еще и олицетворение русского крестьянства — грозной, могучей силы в годину свершений, а не «полуреакционной массы», как отзывались о нем в те годы. Это тоже своеобразная попытка переворота в области привычного мышления, укоренившихся представлений — как продолжение и завершение двух сюжетных: Аника-воин желал перевернуть мир, устроенный Богом; Иванушка-Аника перевернул жизнь, свергнув власть, «данную Богом», власть салтычих. Следует сказать, что не случаен и этот образ: Салтычиха жила в тех местах, где родился и вырос поэт, и преступления ее были широко известны в округе. В романе «Князь мира» С. Клычков описал злодейку-барыню по прозвищу Рысачиха (созвучие прозвищ наталкивает на сравнение).

Стихотворение «Мы отошли с путей природы...» написано в тот период, когда одной из важнейших тем творчества для С. Клычкова стала тема защиты природы от бездушного ее уничтожения. Сергей Клычков первым увидел угрозу экологической катастрофы, первым сказал об этом открыто и... был объявлен «бардом кулацкой деревни», пишущим «в тоне злобной анафемы» о тех новшествах, «что несет пролетариат в деревню»— и так далее. Русский поэт, ставший «кулацким писателем», нес это позорное клеймо до дня своей насильственной гибели в 1940 году.

В стихотворении «Душа моя, как птица...» Клычков с горечью пишет:

По лесу треск и скрежет:
У нашего села
Под ноги ели режет
Железный змей — пила.

---

* С. А. Есенин в стихотворении «Отчар» также упоминает, что Отчар «силой Аники наделен».

(Как не вспомнить есенинское: «...режет серп колосья. Как под горло режут лебедей»?) В романе «Чертухинский балакирь» есть такое пророчество, ныне почти сбывшееся: «Не за горами пора, когда человек в лесу всех зверей передушит, из рек выморит рыбу, в воздухе птиц переловит и все деревья заставит целовать себе ноги — подрежет пилой-верезгой...» А. К. Воронский (пожалуй, единственный, кто отметил важность этой проблемы) писал: «Сетования Клычкова на то, что человек вскоре уничтожит все живое, имеют свои основания; его протесты против механизации и стандартизации жизни тоже своевременны, и от них нельзя легко отмахнуться)».

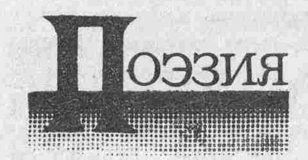
В поэзии и прозе Клычков неоднократно обращался к древнерусской мифологии, поскольку персонажи ее тесно связаны с Природой: лешие, водяные, русалки неотделимы от леса, воды, чистого воздуха. «Реакционность» этого приема не обошел почти ни один литературный критик 20—30-х годов. (Каково бы пришлось в ту пору Василию Белову, автору пьесы «Бессмертный Кащей»!..) Писатель был обвинен в возрождении религиозности и суеверия.

«Клычков необычайно талантлив»,— писал Воронский о постоянном авторе своего журнала. «Истинно прекрасный народный поэт» — так написал о Сергее Клычкове другой Сергей, не щедрый на раздачу поэтических бирок,— великий русский поэт Есенин.

Морозов Вячеслав Валентинович родился в 1954 году на Алтае. Служил в армии. Переменил ряд профессий.

Закончил Литературный институт им. А. М. Горького.

Живет в п. Северном Московской области. В альманахе «Сибирь» публикуется впервые.



Сергей Клычков

ДЕДОВА ПАХОТА*

М. Чайковскому

Помолился, снял одежу,
Положил на бугорок —
Огорбел он, зиму лежа,
Поясницей занемог...
В борозду на середину
Опустилися грачи
И вплелись ему в седины
Солнца раннего лучи,
Коня ивинкой сухою
Понукает он порой —
Славны думы за сохою
Ранней утренней зарей!
Сколько, сколько лет прожито,
Горсть у деда, как сусек,
Сколько ржи, овса и жита
Помолочено за век!
Запахал дед озимое,
Запахал и взборонил,—
Обходя кругом с сумою,
Хлебной крошкой обсорил! —
За день дед не сел у пашни
Распрямился и окреп.
Тепел вечер был вчерашний,
Мягок будет черный хлеб!
Не с того ли яровая
В поле скатерть за селом —
Будет всем по караваю,
Всем по чарке за столом!

ЛАДА КУПАЕТСЯ**

На рассвете крепко спалось,
А поутру у села
Лада в речке искупалась
И три косы заплела...
Лада плавает в затоне
И рукой на камыши
Брызжет, хлопая в ладони,
В очарованной тиши...
До плечей оделась тиной,
Притаилася за куст.
И кружится сон невинный
У лица ее и уст...
И в затоне, как в сулее,
Словно в чаше средь полей,
Лада краше, веселее,
Веселее и белей...
Окунулась с головою
И на пену стала дуть,—
Прибережною травою
Отерла лицо и грудь —
Будто камешки бросая,
Лада смотрится в реку.
И скользит нога босая
Снова в реку по песку...
Лада к ивушке присела,
Долго, долго меж ветвей
Зыбь туманная висела,
Пел в тумане соловей...

---

* Автограф. Хранится в Государственном Доме-музее П. И. Чайковского в Клину.

** Автограф. Хранится в Государственном Доме-музее П. И. Чайковского в Клину.

□ □ □

Упрятана душа под перехват ребра...
Душа — как торба, снаряженная в дорогу,

И разной всячинки в ней понемногу —
И медной мелочи, и серебра...

Один пешком, другой трясется на возу,
Всю жизнь, как по столбам, отсчитывая по дням.

И золото любви у всех в исподнем,
На самом дне завернуто внизу!

Равно мы все плохи... равно все хороши!
И часто человек лишь потому хороший,

Что за душою у него ни гроша,
А может, даже нет совсем души?

И потому есть люди, добрые со зла,
В себе того не замечающие даже,

У сердца нашего, как у поклажи,
Есть два конца от одного узла!

Упрятано оно под перехват ребра,
Как торба, взятая в безвестную дорогу.

И разной всячинки в нем понемногу.
И зла про всех, и про себя добра!..

1930

ИВАНУШКА-АНИКА

ПАМЯТИ ЛЕНИНА

Иванушка, рубаха-парень,
Кровь с молоком, в плече — сажень,
Крутая грудь — кузнечный сварень,—
Да ходит сваха — злая старень,
Ему высватывает пень...

Ему и святки, знать, не святки,
Не до гульбы, не до потех —
Эх, даже кудри — только смех,
Коли зипун — латы, да латки,
Да дыры черные прорех...

Коли у барыни в палате
Щенков выкармливает мать,—
А тяти нет — давно нет в хате:
Ушел он в каторжном халате
За суку барскую страдать.

Глядит в окно луна-сычиха,
В окно стучит сиротка-ель,
Грозит веревкою качель,
И гонит девок Салтычиха* —
Простоволосая метель...
Как в терему, под белой елью
Горит крещенская свеча,—
Сидит подружка за куделью,
И кровь с иглы на рукоделье,
Как нитка красная — с плеча...

Подруга шьет ему рубаху,
Обводит ворот чумачом,
Чтоб не тужилось ни о чем,

* Салтычиха — легендарная героиня крепостного права. До сих пор в наших местах еще ходят рассказы о ее жестокости: семьдесят крестьянских девушек она довела до безумия, пытая их иголкой, и столько же отправила на тот свет (*С. К.*).

Чтоб, коль судьба,— так уж без страху
На плаху лечь пред палачом.

Не лей, подружка, слез на кику,
Не порти белого лица:
Есть у Иванушки-Аники
Зубец от вил — острее пики,
Коса — вернее кладенца.

Над ним крещенской полуночью
Сквозь кровлю светится звезда.
В руках — луч месяца — узда,—
Как колокольчиком, стрекочут
Сверчком запечным повода...

Под ним — как конь, звенит подпругой
И пышет глиняная печь,
И мчит его в пургу и вьюгу,
И не зипун уж, а кольчуга
Спадает с богатырских плеч...

Закинет соху он за тучу
И на поля нахмурит бровь,
И потечет по полю кровь
И прорастет крапивой жгучей,
Мечом запаханная новь...

И руки вспружатся, как клешни,
И на устах замрут слова,
И там, где годы в сини вешней,
У хат качалися скворешни,
Качнется вражья голова...

Не будет песен и запевок,
Замолкнет колокольный звон,
Зайдет луна за небосклон,—
И семьдесят безумных девок
Стучатся будут у окон...

И встанет у хоромных окон
Дремучий лес — хребетный люд:
Как обвинить, что изнемог он,
Что дыбой черной изурокан,
Был свят и добр — и будет лют...

Он сменит пашню на заплечье,
И меч Аники не отвесть:
Как листопад, куда — невесть,—
На ветер жизни человечьи
Вскружит Иванушкина месть...

Но не для ради злой потехи
Он будет ратовать и мстить:
В полях заря поставит вехи,
Где оземь разломить доспехи,
Все позабыть и всем простить.

«Красная новь», 1924 г. № 3 (20),

□ □ □

Мы отошли с путей природы
И потеряли вехи звезд...
Они ж плывут из года в годы
И не меняют мест...

Теперь летаем мы, как птицы,
Приделав крылья у телег,
И зверь взглянуть туда боится,
Где реет человек.

Леса целуют наши ступни,
Со страхом обползает гад,
И ничего уж нет преступней,
Чем наш безумный взгляд...

И пусть нам с каждым днем послушней
Вода и воздух и огонь,
Пусть ржет на привязи в конюшне
Ильи громовый конь.

Пускай земные брони-горы
Покорно плавятся в печи.
Куем мы крепкие запоры,
А нам нужны ключи.

Закинут крепко синий полог,
И мы, мешая явь и бред,
Следим в видениях тяжелых
Одни хвосты комет.

«Красная новь», 1926, № 1

□ □ □

Стих ветер, заря уж погасла,
В туман завернулся курень,
И месяц закинул за прясла
Твою уходящую тень.

Уйдешь ты, слезы не уронишь,
А вспомнишь — не дрогнет и бровь,—
Страшней, когда из дому гонишь
Сам — мачеху злую — любовь!..

Не все ли равно теперь — снова
Чьи руки протянут кольцо:
Без боли не вымолвить слова,
Без муки не глянуть в лицо!

Стих вечер, а в сердце лучится:
Вернется... как прежде... к утру...
Да кто же теперь достучится,
Кому же я дверь отопру!

И мне уж не жаль и не любо,
Что, долго стуча у ворот,
С досады кусать будет губы
И в кровь кулачок изобьет.

Так часто глядишь и не веришь:
Над кровлей как будто дымок,
Как будто живут еще — с двери ж
Чернеет тяжелый замок...

«Красная новь», 1923, № 5(15)

□ □ □

От поля с мягкою травою
Я нежность получил в удел,
И долго в этот мир глядел
Упавшей с неба синевою.
В лучах и звездном изумруде
Мир так велик, а я так мал!
И долго я не понимал,
С чего же усмехались люди?!
Я разглядел, как в злой измене
Редеет и косится бровь,
И сам бросался на колени,
Ложь принимая за любовь!
Я сам стал лживо понемногу
И чувствовать, и понимать...
И вот с годами и тревогой
Мне даже почужела мать!

Запевши робко и несмело,
Я каждый лишний год и день
Следил со страхом, как тучнела
К ногам положенная тень...
Как полнилась по капле ядом
Душа, раскрытая до дна,
Когда, как тихая лампада,
Пред миром теплилась она...
Теперь оброс я крепкой шкурой,
Я, слава богу, огрубел,
И часто в сутолоке дел
Судьба мне смотрит в спину дурой!
...А мир все тот же, и на взгорьби
Все так же льется синева...
И в душу просятся слова
В венце и нежности, и скорби.

Сб-к «В гостях у журавлей», 1930

□ □ □

Меня раздели донага
И достоверней были.
На лоб приделали рога
И хвост гвоздем прибили...

Пух из подушки растрясли
И вываляли в дегте,
И у меня вдруг отрасли
И в самом деле когти...

И вот я с парою клешней
Теперь в чертей не верю,
Узнав, что человек страшней
И злей любого зверя...

Сб-к «В гостях у журавлей», 1930



Фирс Болонев

МЕСЯЦЕСЛОВ СЕМЕЙСКИХ ЗАБАЙКАЛЬЯ



Предсказыванием погоды... ведает больше земледелец, которому во время сеяния и жатвы — вёдро, во время ращения — дождь, благорастворенный теплотою, надобен.

М. В. Ломоносов

Для чего нужен календарь?

Наша жизнь обусловлена природными ритмами. Познание их — одно из условий существования людей. Земледельцы познанный ритм природы заключили в свой календарь, устный численник, или месяцеслов. Месяцеслов — значит слово о месяцах, о временах года, о чередовании сезонных явлений. Канвой и вехами для его запоминания на протяжении года служили даты и праздники, перечень которых содержался в святцах. Русский народный календарь древнее святцев, пришедших на Русь с принятием христианства тысячу лет назад. Месяцеслов — часть народной культуры. «Наряду с официальным счетом времени... во всяком обществе существовал народный счет, применяемый в быту и тесно связанный с хозяйственной деятельностью». (Пронштейн А. П., Кияшко В. Я. Хронология. М., 1981). Необходимость в аграрном календаре возникла на заре земледелия, т. е. в раннем неолите, у днепровских славян достоверно бытовал календарь во II—IV вв. нашей эры.

Поскольку дни календаря обезличены, то святцы с их именною канвой оказались очень кстати. Православные святцы, в которых каждый день года отведен памяти святым, были использованы русскими крестьянами.

Имена этих божьих угодников безграмотному крестьянину стали служить узелками на память, основой для запоминания важных в сельскохозяйственном производстве дат. Все святые угодники с небесных высот низведены на грешную землю и несут не только календарную, но и хозяйственную крестьянскую повинность, возложенную на них хлеборобами. Божьи угодники переосмыслены крестьянами сообразно их положению в календаре. Это отражено в их прозвищах. 24/I — Аксинья-полузимница (половина зимы пройдено, половина корма скормлено), 5/II — Агафья-коровница (оберегает коров от болезней), 5/V — Арина-рассадница (сеют рассаду); 13/VI — Акулина-гречишница (сеют гречиху), 23/VI — Аграфена-купальница, 24/VI — Иван-травник, Купала (время наивысшего расцвета растительности и животворящих сил природы, сбора лекарственных трав); 12/XII — Спиридон-солнцеворот и т. д. (Все даты приведены по старому стилю.)

Крестьянину необходимо предугадать заранее погоду, заглянуть в будущее с той целью, чтобы не припоздниться и не упустить сроки земледельческих работ в поле, в огороде, на лугу. Ему нужно было знать, «когда сеять, когда жать, когда скирды метать». Создание календаря было вызвано хозяйственно-производственной деятельностью

людей для лучшего проведения работ. Он вносил четкий распорядок в труд и быт земледельца и скотовода. Впоследствии месяцеслов стал своеобразной энциклопедией трудового опыта, совокупностью знаний народа о своем хозяйственном годе, о климатических и погодных условиях местности.

Народный календарь — удивительный памятник культуры. В нем заключена память народа, воплощен огромный опыт земледельцев, их хозяйственная сметка и мудрость, ярко проявлена наблюдательность за изменениями погоды в разные периоды года. Он определяет будни, насыщенные трудом, праздники, включает обычаи и обряды, поэтические и религиозные воззрения и народные знания. Праздники — главные вехи календаря, это, по словам В. Г. Власова, сгустки обрядовых действий, они составляли «каркас, на который крепился годовой обрядовый круг каждой религиозной системы» (Сов. этнография, 1988, № 3).

Особую ценность календаря составляют приметы, часто обусловленные практическим опытом народа, его наблюдениями над состоянием природы, пребыванием или убыванием солнечной энергии. Эта часть календаря отражает реальное видение мира.

Естественно, в народном календаре отражен синкретизм воззрений. В нем элементы стихийного крестьянского материализма тесно сплетены с религиозными представлениями. Когда-то такой плюрализм был в порядке вещей. Нетерпимость к подобному состоянию народной культуры началась в 20-е годы и продолжалась вплоть до нашего времени, когда люди призадумались над вопросом: «От какого наследства мы отказываемся?» или, вернее, «От какого наследства нас отчуждают?»

А нас много десятилетий насильственно отчуждали от родной культуры, раскрестьянивали крестьян, раскулачивали не только кулаков, под одну метлу расправлялись с неугодными или думающими крестьянами-середняками, отучали работать и жить по-хозяйски. Уничтожены были самые светлые головы, самые работящие руки. Значительная часть крестьян была ошельмована и выселена на новые места жительства, часто навсегда. Разъединены семьи, разрушены родственные связи, бытовой патриархальный уклад, традиционное крестьянское трудолюбие... Приумолкла деревня, а часть ее запела под несвойственную ей дудку. Разрушать не строить. Ума большого не надо. Начали с уничтожения святынь. А дальше пошло-поехало. Всемерная нивилировка многих культурных достижений и ценностей привела к тому, что их стали считать изжившими себя. Старая крестьянская культура, народные знания, обычаи, обряды — все было объявлено мракобесием и шарлатанством и все это якобы годится только на свалку истории.

Сталин и его приспешники (и не только из ближайшего окружения) наложили тяжелую лапу на все стороны народной жизни. Под каток командно-административной системы попадает и растаптывается все, что могло бы каким-то образом составить или вызвать противодействие установленному диктаторскому режиму.

В начале 1929 года за подписью Кагановича на места была направлена директива, в которой подчеркивалось, что религиозные организации (православные, мусульманские, иудейские и пр.) являются единственно легально действующей контрреволюционной силой, имеющей влияние на массы. Этим актом была фактически дана команда к широкому применению административных и репрессивных мер к борьбе с религией.

Вот тут-то радетели насильственного насаждения атеизма поработали на славу. Несмотря на свободу совести, провозглашенную конституцией, миллионы верующих познали прелести безбожного насилия. Рушилась тысячелетняя культура, утрачивалась специфика этнического самосознания. Прервавшаяся «связь времен» привела к нарушению нашей генетической памяти, к утрате нравственных устоев. Это не могло не сказаться на состоянии нашего общества в целом.

Деревню переделывали варварскими методами. Вожжами насилия тянули к лучшей доле. Все шло к тому, чтобы поставить крестьян-колхозников на колени перед управленцами, вытравить из них чувство хозяина, за-

хламить их культуру лозунгово-парадной самодеятельностью, растлить человеческое сознание. Человек стал никто, он обращался то в кадры, то в винтик в том страшном общественно-технологическом механизме. Отсюда наши самые страшные потери стратегического порядка. И общество до сих пор не может выйти из того хаоса, в каком оно оказалось.

Малограмотная Россия торговала хлебом. Теперь страна покупает хлеб за рубежом. Этот факт — главное обвинение всем преобразователям труда, быта, жизни советских людей. «Мы являемся единственной индустриальной страной с хронической нехваткой продуктов питания. Этим и надо измерять ценность наших идей. Правда требует мужества». («Сов. индустрия», 22 июня 1988 г.).

Жизненная сила нации всегда возрождалась в деревне. Как теперь достичь этого? Выручит ли нас арендный подряд, фермерство? При них надо работать с полной отдачей. К сожалению, многих устраивают явления застойного времени. Громадное большинство колхозов, совхозов не готово и не хочет менять укоренившейся системы хозяйствования, при которой можно жить, работая спустя рукава. Все равно плата гарантирована, даже тогда, когда хозяйство убыточно, но это происходит не всегда по вине или по нерадивости колхозников. Причин тут много. Виновны Госплан, Минфин, Агропром и другие ведомства, по чьей вине подрывалась экономика колхозов.

Цель нашего очерка в другом — показать фрагменты народного календаря семейских. Вкратце описать его стабильную часть — или праздники в числах.

Месяцеслов семейских — это вариант русского народного календаря. Есть в нем и своя специфика, выработанная этой этнографической группой в результате особенностей (географических, религиозных, исторических), в каких оказывались названные старообрядцы.

Так, семейские в результате гонений и нарушения ритма их жизни почти утратили календарно-обрядовые песни. Зато подробен и богат их месяцеслов; он насыщен приметами, поверьями, всевозможными обрядами и поэтическим осмыслением земледельческих праздников и дат.

Подвижные праздники (пасха, масленица, семик-троица) в очерке не описаны. Для них нужен больший объем.

Кто же такие семейские? Семейскими называют группу русских старообрядцев, которые после церковной реформы Никона (1653—1660 гг.) бежали в пределы бывших Черниговской и Могилевской губернии. Там, в районах Стародубья и Ветки недалеко от Гомеля ими было основано много слобод. Многие староверы ушли в Прибужье и Винницу. Во второй половине XVIII века по распоряжению русского правительства их, как ценную для колонизации группу людей, сослали в Забайкалье. Переселяли староверов семьями, поэтому за ними закрепилось название «семейские». В данное время численность семейских составляет примерно сто тысяч человек. Проживают они в Бичурском, Мухоршибирском, Тарбагатайском, Заиграевском Хоринском, Еравнинском и других аймаках (районах) Бурятии и Красночикойском районе Читинской области, в Приамурье и Приморье. В силу преданности искони русской старине, соблюдая заветы неистового протопопа Аввакума и других старообрядческих руководителей, они сохранили наиболее архаичные черты в верованиях, обрядах и обычаях, которые представляют интерес для истории русской и вообще славянской культуры.

Святки семейских

Святки были первым праздником, завершающим старый и открывающим новый год у восточных славян. Праздновали их с рождества до крещения, т. е. с 25 декабря по 6 января (ст. ст.), ибо церковь приурочила к святкам свои праздники, о которых славяне до принятия христианства не знали.

Происхождение святок уходит в дохристианские времена и связано с основным занятием древних славян — земледелием. От то-

го, каков будет урожай, зависело благополучие или неблагополучие древнего хлебороба. Для этого люди старались заглянуть в будущее и даже повлиять на будущий урожай при помощи разных заклинаний, магических действий и обрядов. Следует отметить, что эти обряды были приурочены к очень важному периоду в жизни земледельцев, к «возрождению» нового солнца, несущего тепло и свет всему живому и непосредственно влияющего на урожай. Но, не понимая природных явлений, люди одухотворяли многие явления и населяли своим воображением окружающий мир «неведомою силой», таинственными существами (домовыми, лешими, водяными, банниками, полевиками и т. п.), которые якобы участвовали в предсказании будущего и могли повлиять на благосостояние людей. К такому же разряду относился культ предков.

По верованию славян, умершие уходят в иной мир и там продолжают жить такою же жизнью, как и люди. Поэтому их нужно было вспоминать, поддерживать материально, кормить. И чем лучше их задобришь, тем большую пользу от них и получишь. Ведь духи предков, находясь в земле, оказывают, как думали древние земледельцы, большое влияние на ее плодоносящие силы. Поэтому древние славяне старались задобрить их угощениями, специально приготовленными для этой цели. На святках, чтобы вызвать «желаемое в грядущем», земледельцы и обращались за помощью ко всей этой «неведомой силе», совершая свои аграрно-магические обряды.

По мнению Д. К. Зеленина, известного этнографа, «этот праздник некогда представлял собой поминки, был посвящен культу предков» — свиаток. «Свиатки» в переводе с древнеславянского означает — души предков. В честь их и начало нового солнечного годового периода древние славяне готовили специальные обрядово-ритуальные блюда (кутью, яйца, блины и др.) в надежде призвать духи предков в помощники ради будущего благополучия. Поедание кутьи носило магический смысл. Зерна пшеницы, находящиеся в кутье семейских, служили символом нескончаемого кругооборота жизни. В животном мире зерну-семени соответствовало яйцо, как зачаток жизни и символ бессмертия. Поэтому зерна в кутье и яйца являются необходимой принадлежностью похоронных обрядов и поминок.

Ели блины и оладьи, которые, по поверью, вместе с хозяевами вкушают и покойники. Эти блюда появились тогда, когда человек еще не умел выпекать хлеб, и ритуальными они стали не из-за религиозных побуждений, а из-за простоты приготовления. «Примитивные формы приготовления еды консервируются обрядом, становятся ритуальными» (В. И. Чичеров. Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI—XIX веков).

Святки семейских начинаются с сочельника (24 декабря ст. ст.), который, завершая пост, отмечается весьма скромной трапезой. Некоторые старушки довольствуются только один раз в день хлебом и водою. Работа в этот день по хозяйству выполняется, но никаких «грешных дел» совершать нельзя. Кутью ели не во всех семьях.

С сочельника, вечерами подростки бегали по улицам сел, стучали в окна домов и спрашивали у хозяев: «Суженого-ряженого как зовут?» И хозяева в ответ называли самые нелюбимые, позорные имена или прозвища.

Слова «коляда», «колядовать» семейские помнят. Но святочный обычай ходить по домам «машкарадить», «цыганить», требовать подаяния существует до сих пор в Бичурском, Тарбагатайском, Мухоршибирском аймаках Бурятии и Красночикойском районе Читинской области. Холостая молодежь, женщины, мужчины надевают худую одежду, вывернутые шерстью вверх шубы, «личины» (маски), преображаясь в медведей, гусей, чертей, коз, в «цыган», «китайцев», стариков и старух с клюками в руках, со вставными зубами из брюквы, с лицами, вымазанными до неузнаваемости сажей, с приделанными бородами, горбами, хвостами и т. д., заходят к хозяевам в дом и говорят: «Мы люди бедные, сдалеку приезжие, устали, есть захотели, подайте что-нибудь поесть». Обычно просили хлеб, пироги, ощурки[1], капусту, позднее ста-

[1] Остатки внутренностей домашних животных, из которых вытоплен жир.

ли просить и рюмочку винца, причем не только себе, но и своему «старичку» или «цыганенку». Для этого у какой-либо «старушки» под полой была припрятана бутылка. В Большом Куналее ряженые ходили по домам и сеяли зерно в каждом доме. Все это должно было повлиять на будущий урожай и обеспечить хозяев достатком в грядущем. Хозяева просили их сплясать, и ряженые плясали, кто во что горазд. Получив подаяние, шли дальше. Если хозяева скупились, то просители просто требовали, угрожая: «Не подадите пирога, сведем корову за рога». Иногда старались оскорбить: «Кто подаст — у того золотой глаз, кто не подаст — у того поганый глаз» (вариант: банный, коровий). Такое требование — «это отзвук того, что колядующие приходят не скромными просителями, нищими, а коллективом людей, совершающих магический обряд, который должен вызвать желаемое в грядущем» (В. И. Чичеров.).

По сообщению 85-летней пенсионерки из с. Новосретенка Бичурского аймака В. Н. Исаевой: «У нас девчонки на святках наряжаются в вывернутые шубы, изображая медведя на коню, голову которого нарисуют и привяжут к палке, водят кобылку, цыганють, пляшут».

Весьма интересен святочный обряд в селе Фомичево Красночикойского района Читинской области, бытующий и в настоящее время. Там кобылку и козу водили и водят в прямом смысле. Лончака (жеребенка-двухлетка) наряжают в ленты, в мониста, увешивают платками и, посадив на него мальчугана, заводят прямо в избу, заранее приучив его к этому, прикармливая хлебом. Заходя в дом, справлялись о здоровье хозяев, о делах, желали им всяческого благополучия и в заключение, приплясывая, напевали: «Эх, пятка-носок, дайте сала кусок!»

Ряженые водили также и живую козу, которую шутя продавали, но не сходились в цене с хозяевами и, собирая куски хлеба со столов, шли в следующий дом.

Описанные выше церемонии, вероятно, воспроизводят обряд в его первоначальной форме. Еще бытовал обряд ношения «курицы». Кого-либо из колядующих наряжали «курицей», которую перетаскивали из дома в дом. Она, квохча, ходила по избе. Некоторые хозяева подпускали к ней курочку из курятника и, обращаясь к курице, просили: «У нас нет цыпляточек, так посодействуй, голубушка».

Вождение кобылки, козы, курицы когда-то преследовало магические цели. В использовании этих животных в святочной обрядности проявляются, по-видимому, пережитки солнечного культа плодородия, характерного для языческого мировоззрения восточных славян. Присутствие коня (кобылки) в святочной обрядности, отправление которой осуществлялось в честь зарождения нового солнца, вызвано стремлением повлиять на будущее плодородие людей, земли и животных и связано с тем, что конь в обрядности и мифологии многих индоевропейских народов был олицетворением быстроты солнечного света и самого солнца. Об этом свидетельствуют многочисленные источники и также поверья различных народов, неразрывно связывающие культ солнца с конем. Не случайно в русских сказках конь упоминается постоянно вместе с приложением — огонь. У немцев и славян коню или конской голове приписывалась способность предохранять от всяких бед и недугов. Отсюда широкое распространение коньков на крышах крестьянских домов, на крюках и кронштейнах. Конь — любимое изображение и на русских прялках и полотенцах. Недаром А. С. Фаминцын в книге «Божества древних славян» писал: «Вождение в маскарадном шествии коня (кобылки) на святках, т. е. в праздник возрождения солнца, тесно связано с мифологическим значением коня, представителя быстро несущегося по небесному своду солнца». Далее автор прямо указывает на то, что «фигура коня в связи со всадником в святочном и масленичном маскарадах несомненно служила олицетворением возрождающегося солнца».

Конь, замещая собою солнце, также может способствовать, по поверью древних славян, плодоносности растений и животных и влиять на благополучие людей. Еще более отчетливо такое аграрно-продуцирующее значение связано с образом козы (козла), что особен-

но ясно выражено в белорусской святочной песне:

Где коза тупою (ступою),
Там жито купою,
Где коза рогом,
Там жито стогом.
Где коза ходит,
Там жито родит.

То же самое аграрно-магическое значение имеет ношение «курицы», у которой просят содействия в увеличении поголовья кур. Словом, плодовитость и похотливость животных, используемых в святочной обрядности, стимулировали плодоносящие силы земли, чадородие женщины и, следовательно, способствовали благополучию и счастью людей.

Зооморфные маски (маски, представляющие животных) в святочной обрядности семейских: кобылка, коза, медведь, курица, гусь, и т. д. — это несомненно остатки старинных архаичных обрядов восточных славян, пережитки древних форм религии, когда люди представляли богов в образах зверей, сохранившиеся в такой реликтовой (остаточной) форме. Прообразы этих масок играли немалую роль в новогодней обрядности: являлись подателями плодородия, но и «маскирование под них способствовало различным вольностям, которые в другое время были не пристойны и осуждались» (В. Я. Пропп. «Русские аграрные праздники», Л., 1963).

А на святках у семейских такие вольности были распространены. На игрищах парни любили озороничать. Наряжались гусем и старались «клювом» так щипать девчат, чтобы им было не только больно, но и стыдно. Пачкали шапку сажей и просили девушку спрятать куда-нибудь кольцо, уверяя, что найдут его «нюхом». Девушка прятала, а парень, вынюхивая его, так запачкивал сажей лицо простачки, что присутствующие покатывались со смеху.

Эти грубые забавы, как и наряживание женщин мужчинами, девушек парнями, парней горбунами и старухами и т. д., имели когда-то эротическое значение.

Первый день рождества не гуляли, сидели дома. Готовили обильную еду: жаркое, пироги с рыбой, оладьи, пирожки с морковью, с черемухой, капустой, ягодами и т. д. За стол садились всей семьей. Родители благословляли разговляться скоромным. На святках вообще старались есть много мясного.

По свидетельству Г. Е. Заиграева (83-х лет), в с. Новая Брянь Заиграевского аймака «на игрища собирались днем, гуляли до солносяда, находиться там позже, чем до 10 часов вечера, не разрешали, маски одевать тоже. Игрища проводили, пока жили единолично. На посиделках же пряли, вязали и даже ночевали там».

На второй день начинались гулянья молодежи. Парни катали девушек на тройках вкруговую по улицам села. В доме солдатки или вдовы устраивали игрища. Каждая девушка приносила хозяйке дома по ведру зерна, а на праздники по куску мяса и сала. Парни снабжали дровами. На игрища девушки старались одеться как можно наряднее[1] и считали, что на святках 8 праздников и сколько дней играли, столько атласов и сарафанов меняли. Если сарафанов или шуб не хватало, то занимали их у богатых. Потом хозяевам за использование одежды отрабатывали, обычно мыли их избу перед пасхой. Парни тоже приходили на гулянье в борчатках хорошего сукна, опоясанных шелковым поясом, в шапках из лапок черно-бурых лисиц или бобровых. Так одевались, конечно, парни из богатых и середняцких семей.

На игрищах водили игры и, как выразился Г. Е. Заиграев, «приговаривали жениха», т. е. девушки находили свою судьбу. Девушки вставали в два ряда по 6-8 человек, и каждый ряд пел песни. Кланялись друг другу и просили: «Покажите нам жениха...» И другой ряд показывал им парня. В с. Куйтун Тарбагатайского района «круги водили», ходили кругом, взявшись за руки, напевая:

— Бояры, мы к вам пришли.
— Вы зачем пришли?
— Невесту смотреть (вариант: жениха смотреть).

[1] Так, на рождество девушки на голову надевали «гумашку» вроде короны серповидной, на которую наворачивали атласную или кашемировую шаль. Надевали ее, не прикрывая волос на макушке, в косу вплетали ленты и косник.

Затем их выбирали и вводили в круг. Девушку туда вводили, взявши за монисто (янтарное ожерелье) или за руку и говорили: «Стой, невеста!».

В Новой Бряни на игрищах водили хороводы и исполняли песни:

А мы лены чистили, чистили (вариант: А мы просо сеяли, сеяли).

Во лузях было во зеленых,
Во лузях вырастала трава.
Уж я млада, коня выкормлю,
Поведу я коня батюшке.
Ты прими коня, батюшка,
Да не отдай-ка меня, батюшка,
За старого мужья,
А отдай меня за ровнюшку.
Я со ровнюшкой гулять пойду,
А со старым я гулять нейду,
Нейду, нейду и не слушаюся.
Молодому я постелю постелю,
А старому я каменьев настелю.

В Десятниково была популярна следующая игра. Парня ставили в круг, и девушки, взявшись за руки, ходили вокруг него и пели:

Я вокруг-то столба хожу,
Я вокруг живота-то хожу,
Я не знаю, что столбу подарить,
Я не знаю, чем столба нарядить.
Подарю столбу столбовницу,
Красну девку сполюбовницу,
Свет Устинию Ивановну.
Подойду к столбу близнешенько,
Поклонюсь ему низнешенько:
Ты отдай-ка нашу умницу,
Ты отдай нашу разумницу,
Свет Устинию Ивановну...

Затем песню повторяют, изменяя имя девушки. В дальнейшем мы увидим, что хождение вокруг дерева заменяло в старину венчание.

Немалую роль в святочной обрядности семейских играл образ оленя. Вот как описывает игру под названием «олень» А. М. Станиловский, который видел ее у семейских с. Исток в 1905 году. «Один из играющих — «олень» становится посреди хоровода (олень в кругу. — Ф. Б.), который ему поет «оленя» (песню):

Под кусточком олень! Под ракитовым олень!
Тепло ль тебе, олень! Студёно ль тебе, олень!
Прикройся, олень! Призакинься, олень!
Тебе жарко, олень!
Со молодушки платок, со девушки венок,
С молодца-кудрявца — опоясочка.

По окончании песни «олень» отбирает у кого-нибудь из присутствующих платок, пояс и т. п. вещи. Песня поется снова и снова, пока фанты не будут отобраны ото всех. Тогда «олень» назначает кому что делать для выкупа своего фанта. Назначения бывают следующие: плясать, «свекрухин пуп показать», т. е. принести и показать заслонку, «свекровин сук показать», сделать что-то неприличное, мать Марею спеть. Девицам стыдно ее петь.

Мать Марея, отдай замуж скорее,
Так и так убегу, на пороге сижу
Жениха прошу[1]

«Олень в кругу» — это прежде всего зооморфный символ и олицетворение солнца[2]. В обрядности славян он выступает в роли доброго благодетельного божества, как устроитель свадеб, покровитель брака. Это наглядно видно из приведенного материала. Атрибуты этой игры: «свекрухин пуп», «свекровин сук», прошение невестой жениха, сборы платков, венков, опоясочек — прозрачно указывают на ее свадебное любовное и семейное значение. Это подтверждается и тем, что «олень» находится под ракитовым кустом». Начин песни не случаен. У древних наших предков в обряд венчания входило и трехразовое хождение вокруг куста или дерева. Это зафиксировано и пословицей: «Венчали вокруг ели, а черти пели».

Так, например, в былине о Добрыне Никитиче, записанной П. Киреевским, Добрыня с волшебницей Мариной «в чистом поле женился. Круг ракитова куста венчался». Подтверждение этому находим и в сербской песне:

Что блестит у зеленого леса?
Солнце это или месяц?
Это не солнце, это не месяц,
А два золотые рога оленя!

В русской свадебной песне тоже поется:
В тех ли лугах ходит олень,

---

[1] Станиловский А. М. Записки. «Труды ВСОРГО» № 7, Иркутск, 1912, с. 136—137.

[2] Окладников А. П. Запорожская В. Д. Петроглифы Забайкалья, ч. 2, Л., 1970, с. 145.

Ходит олень-золотые рога...
Олень говорит жениху:
Станешь жениться, я на свадьбу приду,
Золотыми рогами весь двор освещу.

Как видим, все игры на святках очень целенаправлены. Они подводят к выбору жениха или невесты и носят свадебный характер, оканчиваются поцелуями парня и девушки, которые выступали в играх в качестве короля, бояр, монаха, монашки или дремы.

На святках девушки могли вязать варежки, но на «самопрялках» прясть не разрешалось. Водку тоже на игрищах не пили.

К новогодним празднествам был приурочен ряд примет, связанных непосредственно с хозяйственной жизнью крестьянина. Из таких примет бытовали следующие:

солнце на лето, зима на мороз: году начало — зиме середка; если на рождество идет снег — к урожаю; на крещение снег — к урожаю; до рождества докормил — половина корма скормлено. На новый год дня прибывает на куриный шаг (на час). Темные святки — молочные коровы. Светлые святки — неские куры. До рождества коровушку лучше корми, а с рождества она к солнышку боком станет, корма меньше потребуется. С рождества у семейских цыган шубу продает.

Приметы рождались из долголетнего народного опыта и имели целью: предугадать будущее и подготовиться к нему. Но иногда случайное явление (кошка перебежала дорогу, женщина с пустыми ведрами повстречалась) совпадало с неудачей на охоте или в хозяйственных хлопотах, что в сознании суеверного человека возводилось в ранг приметы.

Большое распространение в святочной обрядности имели гадания или ворожба, которыми занимались девушки на выданье и холостые парни, стараясь предугадать свою судьбу. Ворожба продолжалась в течение всего святочного периода. Гадания начинались под сочельник. В это время они считались наиболее верными, ибо «черти еще не испортились», — как об этом говорили женщины в с. Большой Куналей. Особенно усиленно гадали в сочельник накануне крещения. Считалось, что в эту ночь неистово буйствует «нечистая сила».

В гаданиях все старания девушек были направлены на то, чтобы узнать, выйдут ли замуж, какой будет муж и какова будет жизнь в замужестве? Это основные мотивы гаданий.

Ворожили в степи, на росстанях, на развилке дорог, выбирали места, где страшнее: в подполье дома, в бане и даже на кладбище, в этих местах ворожба считается более действенной. Приемов гаданий существовало довольно много. Привожу только некоторые из них. Так, выходя в степь или на перекресток дорог, снимали нательные кресты, отдавали их кому-нибудь подержать подальше от места ворожбы. Клюкою очерчивали вокруг себя круг и спрашивали: «Суженый-ряженый, подай голосок». Или: «Круг, круг, скажи мне сущую правду, где моя судьба»[1]. Если почудится, что кто-то рубит, то муж будет плотник. Если топор стучит к востоку: то к худу, гроб делают. Если колокольцы звенят или песню поют, хорошо: сватать приедут с бубенцами. Стучали ложкой или поварешкой в паз новой избы и спрашивали тоже. Если чудилось, будто лед шумит, муж утонет. Откуда зашумит или залает собака, песня послышится, оттуда и сватать приедут.

Бросали через ворота валенки или дугу, куда носком или концами лягут, туда и замуж идти. На Новый год пекли блины, и с первым блином выскакивали на улицу: кто повстречается, за того или за его родственника замуж выйдешь. В субботу под воскресенье на Новый год предугадывали и по воде. В стакан наливали 3—5 ложек воды, чаще всего по количеству членов семьи, если вода убывала за ночь, то кто-то убудет из дому. В прорубь опускали рукав курмушки (верхней женской одежды) и наблюдали: если рукав замерзнет без инея, то жених будет бедный, если появится куржак, то — богатый.

---

[1] Круг, колесе (коло) — символы солнца, знаки коловратности судьбы. В данном случае круг выступает в качестве сакрального (священного охранительного) знака. Чертою круга стараются оградиться от христианской «святости» и приобщиться к «неведомой силе» с целью узнать свою судьбу.

Достоинство или характер будущего мужа узнавали так. Вечером сеяли через сито золу на ровный неистоптанный снег. Если на утро снег оказывался ровным, не лежал полосами, то полагали, что муж будет смирный, головешки или угли насыпаны — кузнец будет. Если зола была исхлестана, мужик сердитый будет. Вариант: ложились на снег спиной: утром снег оставался ровным, муж не будет бить, коли снег был смят — муж драчун.

В избах вечерами у девушек тоже гадания. Тут им судьбу пророчат петух и курица, которых помещают под сито. Обведя ситом три раза кругом, поднимают его и следят — в какую сторону пойдут птицы. Коль идут рядом в передний угол, то жизнь будет дружной. Если же петух шел к выходу, в сторону двери, то будет разлад в семье. Также в чашечки насыпали зерна, наливали воды, клали зеркало и древесный уголь. Если петух клевал уголь, муж кузнецом будет, станет пить воду — пьяницей, клевать зерно — богатым. Если петух клюнет в зеркало или посмотрится в него, то жених форсистый будет. Если же курица оставит помет на зеркале — это предвещало родить в девках. Если курица подойдет к петуху — жить будут дружно.

Гадающей девушке завязывали глаза, клали перед ней лестовку (старообрядческие четки), уголь, хлеб и ставили стакан с водой. Если она брала лестовку, это означало остаться в старых девах.

В подполье девушка опускала кольцо в стакан с водой и наводила зеркало на кольцо. Должен был показаться тот человек, за которого замуж выйдешь. Ложась спать, девушки снимали нательные кресты. Не молясь богу, мостили мосты из 12 лучинок (магическое число!) или делали колодец. Некоторые замыкали себя за рубашку, ключ передавали подружке или знакомой женщине и загадывали: «Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный ночь ночевать, по мостику гулять», или «Приди в колодец воды напиться». Того, кто приснился во сне (просил воды или ключ), нарекали суженым.

Иногда девушки ходили ворожить к бане, к окошку которой подставляли обнаженную часть тела. Если банник — дух, живущий в бане, трогал косматой рукой — к богатству, голой — к бедности. При этом информаторы рассказывают много трагикомических историй. Парни, узнав, где хотят ворожить девушки, подкарауливали их и дерзко над ними подшучивали.

Многие гадания похожи на приметы. И приметы, и гадания связывает единство цели — узнать будущее. Но в сути их большая разница. Приметы возникли из наблюдений над причинно-следственными связями в явлениях природы и жизни человека, которые совершаются независимо от воли последнего. В гаданиях же делается попытка вызвать будущее воображением и при помощи колдовских приемов, и основаны они на вере в сверхъестественную силу. Гадания производятся с реальными предметами, символика которых устойчива и прозрачна[1]. Святочные гадания семейских в основном варьируют тему личной судьбы человека и его брачного союза.

Новый год семейские ночью не встречали. Елку не наряжали. По старописьменным книгам Новый год у старообрядцев начинался с 1 сентября (по старому стилю). И все-таки к январскому новогодию готовились как к празднику. Отмечали его обильной едой. В некоторых семьях целиком жарили маленького поросенка. Это тоже магический прием. Кости целиком сжаренного животного древние люди закапывали в землю или развешивали на деревьях. Это, по их поверью, должно было способствовать сохранению поголовья скота или зверей, на которых велась охота. В с. Архангельском на Чикое у семейских, по сообщению Л. Е. Иванова (1889 г. рожд.), девушку, имеющую 2, 3 поклонников, старались сосватать в новогоднюю ночь, ибо существовало поверье: «Кто

[1] З е р н о, х л е б — символы плодородия, богатства, вечности жизни. К о л ь ц о — символ брака, солнца, неразрывных уз. Иней означает влагу, плодородие. К у р и ц а, п е т у х — символы брака и плодоносности. К л ю ч — символ брака, счастья, благополучия и т. п.

сосватает до Нового года — будет жениться 2 раза». Утром поздравляли друг друга с Новым годом. В этот день приезжали гости из других сел. Наличие обильной еды указывает на сохранение «магии первого дня». Обильный стол в Новый год должен повлиять на круглогодовой достаток.

Завершались святки крещением (6 января ст. ст.). Рано утром, чтобы никакая птичка не напилась, брали воду из проруби. Если святил ее поп или уставщик, то брали ее из молитвенного дома или из церкви. После того, как отслужат «Часы», такой водой «разговлялись» все члены семьи. О крещенской воде говорили: «светинá идет». Затем эту воду ставили в туеске в подполье, где она и хранилась до следующего крещения. Применяли ее в случае, когда необходимо было что-нибудь очистить.

Вся эта цепь праздничных обрядов пришла к нам из глубокой древности. Творцом и носителем этой своеобразной культуры является русское крестьянство.

Нас не должно не удивлять стремление первобытных людей заглянуть в будущее через посредство нечистой силы, определить свое место в нем, повлиять на плодовитость скота и произрастание хлебов пусть даже колдовским путем. Для этого нужна была огромная вера в эти обряды и силу своего слова. Но только благодаря такой живости воображения, фантазии и колоссальной работы ума древний человек проложил путь в науку. И при помощи последней стал превращать сказки в быль. Впервые человек поднялся в воздух мысленно, своим воображением, на ковре-самолете. А затем его знания стали его крыльями.

Так из недавнего прошлого, о котором еще сохранилась память старшего поколения семейских, тянутся ощутимые нити в далекую старину славянского язычества.

Январь — весне дедушка, февраль — бокогрей

Отошли веселые, озорные святки. И с самого крещения начинались свадьбы. Они продолжались в течение всего мясоеда — до масленицы. Недаром в старину еще в XV веке январь и февраль так и именовались «свадьбами». Новгородская летопись под 1402 год поведала: «Явися звезда хвостатая на западной стране и восхожаще с прочими звездами от свадеб до вербной субботы».

Недаром по архивным данным большее количество браков у семейских приходилось на январь месяц. В 1888 году у старообрядцев Мухоршибирской волости всего браков было заключено 43, из них 26 в январе. В следующем году из общего количества 39 всех браков на январь приходилось 15 (ЦГА, Бур. АССР, ф. 337, оп. 1, л. 4038, л. 71—72; д. 4100, л. 34).

В воскресные и праздничные дни иногда в одном селе у семейских справлялось по 5—10 свадеб. Продолжаются посиделки с обязательным рукоделием. Только на вечерках в праздничные вечера настоящий отдых и веселье, забавы, игры, песни.

Январь, исключая святки, февраль, исключая масленицу, обычно приходившуюся на этот месяц, приметами и обрядами скудны. Наиболее распространены следующие приметы и присловья. Чаще всего лето определяют по зиме. Какова зима, таково и лето. Старики записывали сроки, когда выпадал снег, и, перенося эти сроки на лето, ждали дождя. Декабрь соответствовал июню, январь — июлю, февраль — августу. Так, крестьянин села Н. Брянь Заиграевского р-на С. И. Жерлов (84-х лет) вел наблюдения и записи в течение 5 лет и говорит: что год на год не приходится. Примечали: коль зима снегом богата, весна — водой — будет хороший травостой. Февраль именуется бокогреем. На Чикое старики говорят о нем: «Февраль — бокогрей, бок корове обогрей, бок корове и коню и старому старику». Такая поговорка справедлива для Забайкалья с его ясными солнечными днями, когда внезапно наступают оттепели и засверкает веселая капель. Не случайно более сердитый март говорит февралю: «Был бы я на твоем месте — семигодовалым быкам рога свернул». (Вариант: быкутретьяку рог свернул.)

В феврале нами отмечены только два календарных праздника, к которым приурочены приметы: «На сретенье — (2 февраля) зима с

летом встретились». «Солнце на лето, зима на мороз». «Если сретенье теплое — весна хорошая». Второй праздник Власьев день (11 февраля). «Власий — след от полозьев как маслом мажет». Власий считается покровителем крупного рогатого скота. Он перенял у Волоса (Велеса), скотьего бога древних славян, его функции.

С 15 января по 1 февраля в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) проводилась ярмарка. День Касьяна (29 февраля) семейские не знают, но високосный год считают тяжелым для людей и для скота, ибо считали, что в такой год возрастает опасность разных эпидемий и эпизоотий.

Сохраняется ряд верных примет, наблюдений за погодой, за природными явлениями. Снег глубокий — зима теплая. Большие накипи в речках — к большому разливу. Большой снег — воды много будет.

В зимние месяцы у крестьян свои хлопоты: домолачивали хлеб, возили дрова, сено из дальних заимок, продолжали ямщину, начатую с покрова, починяли сбрую, готовили новую: плели узды, шлеи, мастерили хомуты, седелки и пр. сбрую. Основные заботы о скоте: сколько остается кормов, как рачительнее их остатки распределять. Но вот уже в конце февраля появились оттепели, повисли с крыш хрустальные сосульки. Яркое забайкальское солнце за короткое время осадило снег. На южных крутых склонах гор, на взгорьях и солнцепеках появились черные проталины. Наступает весна.

Весна-красна

Какова она будет? Теперь этот вопрос для крестьянина становится главным. Ведь от этого зависят многие хозяйственные сроки и заботы о завершении домашнего содержания скота и подготовка к севу. Совсем не случайно на март приходится много календарных дат, к которым заинтересованный земледелец приурочил уйму примет.

По юлианскому календарю, которого придерживаются старообрядческие старики, весну открывает день Евдокии. Этот день, посвященный блуднице, ставшей впоследствии святой, у староверов не считается праздником, но большое количество примет, отнесенных к нему, указывает на то, что он имел в хозяйственной жизни старообрядцев немаловажное значение. Возможно, память о нем имеет корни в далеком прошлом, так как до 1348 года Новый год у русских начинался с 1 марта. Затем при князе Семионе Гордом и митрополите Феогносте с 1492 года начало Нового года было перенесено на 1 сентября (семенов день, Семен — летопроводец) и при Петре Первом — на 1 января. У староверов же, по их книгам, Новый год начинается с 1 сентября, так как нововведения Петра I они не приняли.

Начало весны, как наступление ответственнейшей поры в жизни земледельцев, изобилует приметами, прежде всего, хозяйственного и метеорологического характера. Причем первые наблюдения, какой будет весна, ведутся с осени. Крестьяне примечали: если затяжная осень — ранняя весна. Если ранняя осень — поздняя весна. Если рекостав шершатый (неровный, глыбистый) — лето будет хорошее. Длинные сосульки — к затяжной весне. Если в колодце долго нет воды (не прибывает вода), то лето будет сухое. Если вода в колодце придет рано (до Егорьева дня) — лето будет хорошее. Очень многие приметы весны связаны с прилетом птиц: ранний прилет журавлей — к ранней весне. Гусь поднялся высоко — снег будет. Если турпаны (красные утки) и галки прилетят рано — холода не будет. Если их долго нет, то жди весенних холодов. Если утки прилетели жирные, то урожай на месте зимовки был хороший. Дружный прилет птиц — к ненастью и холодам. Если на Евдокею курица воды напьется — к теплой весне. Вообще-то весна на пеганке (или на пегой кобыле) ездит, то есть очень изменчива, то ненастье, то тепло. Синичка в марте запела — тепло ворожит. Турпан чаще всего прилетает на сóроки — о нем говорят: на летник явился. Дружная весна — жди большой воды.

Одним из лучших знатоков старинного быта старообрядцев является В. И. Семенов (1890 г. рожд.) из с. Большой Куналей Тарбагатайского района Бурятской АССР. Он

рассказывал: «Наша местность холодная, погода тут капризная. От нее всякое можно было ожидать. Но наши старики многие явления, изменения в климате научились предугадывать. Так, если февраль в первой половине дорогу не испортит; то во вторую испортит. Если первая половина испортит, то вторая направит. Если вторая половина дорогу испортит, то марту уже не поправить ее. Сколько бы снег ни шел, ему дороги надолго не поправить». Еще примечали: «Если на заговены нет санного пути, то на хлеб приготовляй косу: не жди хорошего урожая, То есть при плохом урожае ярицу и пшеницу скашивали — хороший урожай сожинали серпами. Если со столбов ветер не сдувает снежные шапки, то ожидается урожай на овес, вообще на поздний сев».

Крестьяне примечали, как просыпается природа, растения, в частности, много примет связано с распусканием почек вербы. Дотошные люди уверяют: «Если верба распускнется сначала на макушке — первый посев будет хороший. Пораньше сеять нужно. Если на макушке не распускнется — второй посев будет хорошим. Если верба сплошная — к хорошему урожаю. Если макушка без вербы — то хлеб будет ранний (рано созреет). Мелкая верба — к неважному урожаю (пшеница мелкой будет). Если кукушка кукует на голый лес — к неурожаю». Сильное цветение кашки весною — к дождливому лету. Если великим постом лес одевается кухтой (инеем), то год будет урожайным.

Март — февралю младший брат

Первое марта — день Евдокии — предшественницы весны. По этому дню старались предугадать, какой будет весна. Поэтому к нему как к первому дню весны (по старому стилю) было приурочено немало примет: «Какова Евдокея — такова весна». Евдокея теплая — весна теплая. На Евдокеи холодно, а скоту корму в обрез, поэтому так пристально всматриваются семейские в явления природы, утверждая, что если на Евдокею курица напьется, то весна будет теплой. Это же усвоили живущие по соседству буряты, говоря: «Курица не напилась — весна холодной будет». На Евдокеи клали на ночь под порог сырую судомойку (тряпку). Если последняя за ночь замерзала, то считали, что весна будет холодной. Отмечая в этот день неровность весенней погоды, говорят: «Авдотья на обедню шла — нос ознобила, а с обедни шла — хвост замочила».

В селе Куйтун Тарбагатайского района Бурятии удалось записать и скептическое отношение к приметам, приуроченным к Евдокеи. По сообщению Е. С. Кравцова, там говорят: «Дунька-то Дунькой, да гляди и на Алешку (Алексеев день), что даст». С Евдокеи в некоторых местах начинали готовить пахотные орудия, поэтому народ отмечал: «Пришли Евдокеи — мужику новые затеи — сошники точить, бороны чинить».

9 марта — сóроки — сорок великомучеников. Вероятно, эта календарная дата имела в жизни крестьян немаловажное значение. Хотя в старообрядческом уставе он отнесен к числу средних праздников, но старшее поколение относится к нему весьма почтительно. На сóроки прилетают птицы: «Турпан на летник явился». «Сороки и галки прилетели на сóроки — к теплу. Сóроки — теплые — сорок дней будут теплыми и наоборот. Холодно на 40 мучеников — жди холодных 40 утренников». Прежде чем сеять гречиху, нужно переждать эти сорок утренников. На сóороки день с ночью равняется. На сóроки синица запела — тепло ворожит.

17 марта — Алексей — божий человек, воду с гор пригнал. Если бывает холодно, говорят, Алексей дров не запас. Если — тепло, то запас. То есть к этому времени в селах люди заготовляли дрова в лесу на целый год. Если Алексей нашел огниво, т. е. стоит теплый день, то весна будет теплая. Если день Алексея выдался хороший, то Алексей потерял огниво. Алексей теплый — весна теплая. Алексей и воды распускает. Если на Алексея воды нет — лето плохое. Если на Алексея и Евдокею курица воды напьется, то год хороший будет. На Алексея покинь сани — снаряжая телегу. Алексей, выверни оглобли из саней.

В Новой Бряни Заиграевского района Бу-

рятской АССР говорят: «Алексей придет, огня накладет, и потечет вода с гор и ключей» (Заиграев Г. Е. 1887 г. рожд.). С Алексея мельницы замелют — божий помощник воду припас. Если Алексей теплый пригонит воду, то начинали пускать мельницу, молоть зерно, так как запас муки приходил к концу. Зима-подбериха сделала свое дело, опорожнила закрома и сусеки. Крестьянин рассчитывал, сколько было нужно смолоть зерна, чтобы еще и на семена оставить. У бедных крестьян запасы и вовсе подходили к концу. Они подумывали — к кому бы наняться в работу, да повыгоднее.

19 марта — Дарьи. На Чикое начинали холсты белить. В Бичуре холсты стелили для отбеливания с того времени, когда побежит канава (т. е. пустят воду по каналам).

25 марта (7 апр.) — благовещенье. Один из самых больших праздников — изобилующая приметами и запретами, важная сельскохозяйственная дата. С этого дня начинаются многие работы весенне-летнего характера, окончательно «весна зиму поборола». Но все те примечают: «Если благовещенье холодное — жди сорок морозов по утрам. На благовещенье либо неделю не доедешь на санях, либо неделю переедешь». Жители Бичуры следят за льдом на р. Хилок, по которому тоже либо неделю не доедешь, либо неделю переедешь. В этом случае нужны были надежные наблюдения, так как необходимо было перегонять скот через реку для пастьбы. Однажды недоглядели бичурцы и погнали скот через Хилок, лед не выдержал — сорок быков утонуло. По поверью крестьян змеи и медведи выходят из своих лежбищ и берлог. Щука хвостом лед разбивает. Если на благовещенье ночь ясная (чистое небо), то сей огурцы. Улья достают, смотря по весне. Иногда раньше благовещенья, иногда и позже. В Архангельске улья вытаскивают из подполья тогда, когда почки на березах появятся. С этого дня начинается деятельная подготовка инвентаря к весенней вспашке и посеву. В ряде сел (Бурнашево, Десятниково, Тарбагатай) этот день — начало срока пастьбы овец. Их пасут с благовещенья до Михайлова дня или теперь до годовщины Октября (7 ноября). На благовещенье запрещена всякая работа. В этот день, по поверью семейских, птица гнезда не вьет, девица косу не плетет. Девушки и женщины в старину даже не чесали волосы. Девчонки бегали «кошлатыми».

С. Л. Худяков (75 лет) из с. Архангельска сообщал: «К благовещенью приурочено много преданий, поверий и запретов. Например, существует предание, что несмотря на запрет выполнять всякую работу на благовещенье, кукушка свила гнездо в этот день, за это непослушание господь лишил ее своего гнезда. Если под благовещенье зародится человек, он будет не умный» (с. Урлук, М. И. Соболева). Если же на благовещенье муж с женою сотворят грех, то родившийся от этого греха ребенок будет или калекой, или утопленником, или убийцей. На благовещенье нельзя было спать днем — ягоды и грибы проспишь — не увидишь. В Тарбагатае до благовещенья открывали подполье, в нем зажигали тряпочку, чтобы блохи не велись (Л. Е. Иванов). Благовещенье на 40 дней благовестит (40 дней — 40 утренников). Благовещенье теплое до обеда — 40 дней тепло до обеда; холодное после обеда — 40 дней холодно после обеда.

На благовещенье из мест спячки вылазят зверушки, но не все, а ложатся они на покров. В день, на который падало благовещенье, в будущем нельзя было выгребать картофель из подполья, начинать пахоту, сажать овощи, сеять хлеб (Бичура. Е. И. Афанасьева — 58 лет).

(Продолжение в следующем номере).



ИРКУТСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

(ЛЕТОПИСИ П. И. ПЕЖЕМСКОГО И В. А. КРОТОВА)*

1775 г. Марта 18 приехал в Иркутск из С.П.Б. главным начальником в нерчинские заводы, ст. сов. Василий Вас. Нарышкин (тогда говорили, что он крестник Императрицы Екатерины), человек странного характера. 30 ч. сего месяца он выехал в Нерчинск и, по прибытии к месту назначения, ровно одиннадцать месяцев не выходил из дома, сидел каким-то затворником и не приказывал во все это время отворять оконные ставни. По прошествии этого времени, он вышел на свет и с сего времени он, вместо надлежащего управления делами, занялся какими-то странными действиями. Вначале стал тратить казенные деньги на угощение людей всех сословий, приказал раздавать безденежно вино простому народу и даже рабочим; многих служащих чиновников уволил от должностей и вместо их определил ссыльных и рабочих людей. Потом окружил себя всяким сбродом людей и крестьянами, сделав из них какую-то охранительную стражу, и с нею отправился в Иркутск. На следование в этот путь, взял с собою из Нерчинского казначейства более 16000 руб. денег, из гарнизонной артиллерии канониров, пушки и порох, а на проводины свои, сзывая народ колокольным звоном, пушечной пальбой и барабанным боем, бросал деньги и поил насильно взятым из питейных домов вином, уговаривая между тем охотников следовать за ним. Крестил силою тунгусов и хоринских бурят; тайше последних за ослушание грозил наказанием и набирал из бурят гусарские полки. Растратив все деньги, взятые из казны, он брал деньги насильно у зажиточных крестьян и купцов, а по недостатку их отнесся в Верхнеудинскую провинциальную канцелярию, с требованием о высылке к нему денег на счет заводов. Получив решительный отказ, решился удалить от должностей верхнеудинских воеводу и коменданта, определил и послал на смену их из своей свиты обер-гершворенов Бандера и Пенкина, но все его свитские и приверженцы разгадали сумасбродство Нарышкина, почему двое последние, уклонясь от него, советовали Верхнеудинскому воеводе Тевяшеву и даже сами способствовали к его арестованию. Когда Нарышкин прибыл в Верхнеудинск, тогда воевода пригласил его в церковь для слушания молебствия, по случаю его прибытия, а по выходе из церкви арестовал, посадил на лодку и отправил р. Селенгою в Иркутск, а отсюда в С.-Петербург.

Открытие ярмарок в Иркутске и по губернии относят к настоящему году, а Высочайший указ по сему предмету последовал от 19 августа 1768 г., в котором между прочим сказано: «о учреждении в городах Иркутске и Якутске торговых ярмарок быть во всем по представлению его губернатора Бриля, а именно, первая при самом городе Иркутске, которую продолжать каждогодно — во-пер-

* Продолжение. Начало в № 4—6, 1989 г., № 1—2, 1990 г.



Владимірская церковь въ Иркутскѣ.

Владимирская церковь в Иркутске. Возведена в 1775 году

вых, с 15 ноября по 1-е января, во-вторых, с 15 марта по 1-е мая, итого в каждом году по три месяца; вторую ярмарку учредить за Байкал-морем, в Селенгинском уезде, при гор. Удинске, а в какое время оную ярмарку иметь надлежит, о том на сей случай до воспоследуемой на представление его (Бриля) о бытии там провинции опробации остается без изъяснения, то и должно оную учредить, только не менее в каждом году двух месяцев; третью ярмарку необходимо и нужно учредить в гор. Якутске, время же на то определяется летом с 1 июня августа по 1-е число, да зимою весь декабрь месяц». Тем же указом повелено, чтобы во время ярмарок определялся один член от магистрата или ратуши да из купечества выборных по два человека для суда и расправы между торговцами и прочее. А известно, что о ярмарках по Иркутской губернии вел переписку с Сенатом ранее губернатор Фрауендорф, которому жаловались забайкальские служащие и военные чины, что они покупают там необходимые вещи дорогою ценой, для чего и от купцов было прошено о учреждении по местам ярмарок, чтобы иногороднее купечество привозило товары и продавало из первых рук. Следовательно, учреждение ярмарок в Иркутске и Якутске должно считать с 1768 — 9 годов.

В эти же года (1770) строго запрещалось всякое чародейство, суеверие, кликуши и им подобные случаи, таковых повелено навечно на галеры ссылать с вырезанием ноздрей.

Марта 30-го р. Ангара вскрылась, быв под льдом 100 дней.

Мая 21 проехал из С.-Петербурга премьер-майор князь Туркестанов с радостным известием о замирении с турками и о сборе по 10 коп. с души, на случай новой войны с ними. Тогда же получено повеление о разделении купечества от мещан, почему и открыто в Иркутске коммерческое комиссарство для приема товарных пошлин.

Июня 12 прибыл из Нерчинска бывший начальник тамошних заводов Суворов, сдав-

ший дела Нарышкину, а 17 уехал в Россию.

С 19 на 20 сего июня от молнии сгорели старый и новый гостиные дворы с тажомнею. Товаров спасена малая часть.

Сего года считалось обывателей 4175 душ муж. пола, не считая войск.

Июля 5 преосвященный Михаил выехал в селение Урик для заложения там каменной церкви во имя св. великомученика Димитрия.

Сего года учреждены и открыты комиссарства: в Селенгинске, Нерчинске, Баргузине, Куде, Илимске, Верхоленске и Тунке, а в Балаганске, Киренске и Якутске воеводская канцелярия.

1776 г. Генваря на первое число р. Ангара покрылась льдом, а 5-го марта вскрылась, простояв покрытою 64 дня.

Февраля 14 сгорела Иркутская консистория; при этом случае погиб камчатский архимандрит Пахомий, известный уже летописи.

Марта 20 губернатор Бриль кончил служение Иркутской губернии, определен президентом в московскую мануфактурную коллегию, и сего дня выехал из Иркутска с доброю памятью для здешних жителей.

Марта 29 на место Бриля приехал в Иркутск исправляющий должность губернатора бригадир Федор Глебович Немцов. В летописях Иркутских Немцов описан так: что он был человек неблагонамеренный, употреблявший непомерную строгость собственно для того только, чтоб более брать взяток и нажить более денег, с подчиненными служащими обходился неблаговидно и определял к должностям не иначе как взяв значительные подарки. У него был любимец фаворит, правитель его канцелярии, Михайло Мих. Дукучаев, который во всем управлении был его первый помощник и советник в делах и не менее его приобретал взяточничеством. В другом сказании записано следующее: что Немцов употреблял разные жестокости для своего корыстолюбия. Многих своих подчиненных бил своими руками. Какого-то Евстафия Бурцова приказал привязать к столбу за что-то и долго держал на этой привязи, дабы навести страх на других. Ко многим из горожан, за что бы то ни было, делал прицепки и тем насыщал свою алчность. Ходил в некоторые дни по городу пешком, с нужным числом полицейских служителей, для того, что ранее приказал жителям строить около домов своих мостики (тротуары), а где их не было построено, вызывал хозяина и перед его же домом наказывал, чем попало. Из такой же записи известно, что Немцов якобы имел знакомство с известным тогда разбойником Гондюхиным. Чтобы сделать отклонение в подозрении этого знакомства, Немцов приготовил разные съестные припасы, взял с собою несколько боченков разного вина, пригласил с собою несколько граждан и чиновников, отправился с ними погулять на Барабановские острова. Приплыли, расположились станом и вдруг слышат ружейные выстрелы, гости испугались, и тотчас являются разбойники. Посетители бегут с острова, едва переводя дух, а между тем все привезенное достается в руки хищников. Далее рассказывает бытописатель, что один из тогдашних разбойников, тот ли Гондюхин, или другой, называемый атаманом, в зимнее время тайно проживал в Иркутске, в доме купца Р..., а Немцов, под предлогом посещения хозяина дома, посещал жившего у него разбойника и подолгу беседовал с ним. Немцовым учреждена была в городе какая-то глухая команда, которая разъезжала по городу дозором, и вместо охранения делала разные буйства и грабежи. Вообще этот губернатор оставил по себе самую дурную память. Он даже тайно уехал из Иркутска. Вслед его посылались многие жалобы из Иркутска. Правление его продолжалось до 1-го февраля 1779 г. — 2 года и 11 мес.

Июня 29 прибыл из-за Байкала известный нам Нарышкин под присмотром. До времени отправки его из Иркутска, ему дана была здесь полная свобода, которой он воспользовался, чтобы делать разные глупости, к. т. ходил по питейным домам и харчевням, поил и кормил собиравшихся туда людей и расточал деньги без всякого смысла и расчета. Его считали помешавшимся в уме. 19 августа сего года он отправлен из Иркутска в Петербург за присмотром.

Сентября 4 скончался иркутский прокурор Петр Иван. Иванов. Отпевание его со-

вершал преосвящ. Михаил в Архангельской церкви, при которой и похоронил его.

1777 г. Проехал в Нерчинск управляющим в тамошние заводы бригадир Иона Венедиктович Аршеневский.

Заложен каменный гостиный двор на паях.

Заложен фундамент для заложения каменной Архангельской церкви, вместо прежней деревянной.

Озеров Данило Петрович уехал в Якутск воеводою, куда и был назначен.

С сего года в летописях наших прерывается записка о покрытии и вскрытии р. Ангары по 1781 год.

1778 г. В октябре месяце проехал из России в Кяхту директором Евграф Мих. Языков.

Ноября 21 освящен престол Входа во храм Пресвятыя Богородицы при Спасской церкви.

Декабря 24 последовал Высочайший указ, по недостатку служащих в присутственных местах определять на службу канцелярскими служителями семинаристов, в котором между прочим сказано: из Синода нашего объявлено, что в ведомстве его состоит такое количество детей церковнослужительских, что за пополнением всех праздных мест часть сих излишних обратить в замену недостатка людей, потребных для дел наместничествам, а чрез то подается им способ к собственному их с семейством содержанию и по мере способности, исправности и приложения к службе открыт будет путь к сопряженным с нею выгодам, состоянию их приличным и проч., так равно определять и из купечества, и из податных сословий только тех, которые не обложены еще податями; принимать воспитанников из академии художеств, воспитательных домов и из университетов по желаниям, все эти определения совершать посредством генерал-губернаторов, президентов академий художеств, главных попечителей воспитательных домов и кураторов Московского университета.

1779 г. Февраля 1 дня прибыл вместо Немцова вновь определенный губернатором в Иркутск генерал-майор Франц Николаевич Кличка и вскоре вступил в управление губернею. Он оставил в Иркутске по себе славу доброго и справедливого начальника, принимал и выслушивал всех ласково и благосклонно; словесные и письменные просьбы решал без отлагательства и без мздоимства; ссоры и споры старался прекращать дружелюбием и чрез посредников; смотрел внимательно и наблюдал за скорым и справедливым решением дела в судах. Помогал сиротам и неимущим, поощрял торговлю и, словом, благоразумием, добротою и благонамеренностью запечатлел в сердцах иркутских жителей надолго о себе славное воспоминание. С ним приехали на службу в Иркутск полезные деятели своего времени: майор Франц Францевич Ремякин, архитектор Алексан. Яковл. Алексеев, штаб-лекарь Грунд, адъютант генерала Христофор Егор. Лютвин и секретарь Иван Якимов. Кличка построил летний губернаторский дом в Крестовской роще (где ныне площадь около солдатских казарм и строящегося института) и каменный двухэтажный дом для публичной библиотеки, что ныне дом приказа общественного призрения. Кличка определена иркутским губернатором по указу от 24 октября 1778 года, управлял губернию по 11 июля 1783 года, которого определен курским генерал-губернатором.

Марта 10 прибыл в Иркутск вице-губернатор полковник Александр Юрьевич Цеддельман. Он в следующем году награжден чином генерал-майора. Служение его продолжалось в Иркутске по 14 марта 1783 года.

В мае месяце начали на приготовленный фундамент класть кирпичом Архангельскую церковь, на капитал, якобы хранившийся еще от построения деревянной Емельяна Югова 669 р. и вновь для каменной Василием Балакшиным пожертвовано 15 тыс. руб. В настоящее время храм этот заключает в себе престолы:

1. Во имя Успения Божией Матери (в верхнем холодном храме), освящен 1790 г.

августа 15 дня преосвященным Вениамином, архиепископом Иркутским, в первый год его приезда.

2. Там же придел на левой руке, во имя св. Жен Мироносиц, освящен 1787 года августа 22 дня.

3. В линию с престолом Мироносиц, престол во имя святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского чудотворца, освящен 1806 г. ноября 23 дня архим. Аполлоном.

Нижние два престола:

1) Во имя Архистратига Михаила освящен 1782 года сентября 6 дня.

2) На левой руке придел во имя священномученика Харлампия, освящен 1784 года августа 23 дня.

Многие иконы этого храма украшены серебряными под золотом ризами; имеется богатая церковная утварь и ризница.

Из пяти больших напрестольных Евангелий, украшенных серебряными под золотом окладами, одно имеет весу 1 пуд 9 фунтов.

Из трех приборов серебряных под золотом сосудов один прибор весит 7 фун. 88 золотн.

Из шести крестов серебряных под золотом один 4 фун. 10 золотн.

Три серебряных кадила, во всех весу 3 фун. 79 золотн.

В окладах и ризах св. икон имеется серебра более семи пудов.

Первый священник при деревянной церкви был из посадских людей Федор Михайлович Сухих. Он был поповским старостою (благочинный) до 1749 г., второй с 1750 года священник Андрей Петров, с 1757 г. священники Иоанн Седякин и Герасим Ларев, с 1760 г. священник Матвей Сухих священствовал при этом храме 34 года, а с 1785 г., по старости его, Федор, впоследствии архимандрит Забайкальского Преображенского Посольского монастыря.

В связи с храмом каменная колокольня, главный, так называемый, большой колокол весом 263 пуда 20 фун.

При сей церкви построен каменный деревянный (?) дом, устроенный на капитал умершего иркутского I гильдии купца Андрея Петровича Трапезникова.

1859 г. августа 23 дня совершено при сем храме, после значительных поправок, произведенных строителем И. С. Хаминовым, иркутским I гильдии купцом, освящение двух престолов, во имя св. Иннокентия первого епископа Иркутского чудотворца и св. Жен Мироносиц. 1-й освящал благочинный протоиерей Алексей Шергин за раннею службою, а 2-й преосвященный Евсевий, архиепископ Иркутский и Нерчинский.

Июня 21 было землетрясение.

1780 г. Открыта в Иркутске семинария, с назначением на ее содержание по 2000 рублей в год и вскоре начат для нее строиться каменный дом, где ныне духовное приходское и уездное училища.

Получено в Иркутске известие из Селенгинска, что там с 4 апреля сего года был большой пожар, истребивший много казенных и частных домов, о чем иркутский губернатор донес Ее Величеству, которая именным указом повелела, чтоб Кяхтинская таможня из доходов своих выдала единовременно на каждый погоревший дом по 20, на гарнизонную школу 100, на городовую школу 100, на богадельню 100, на возобновление аптеки 300, на построение каменной соборной церкви 1000 и на постройку шестидесяти деревянных лавок, на каждую по 20 рублей.

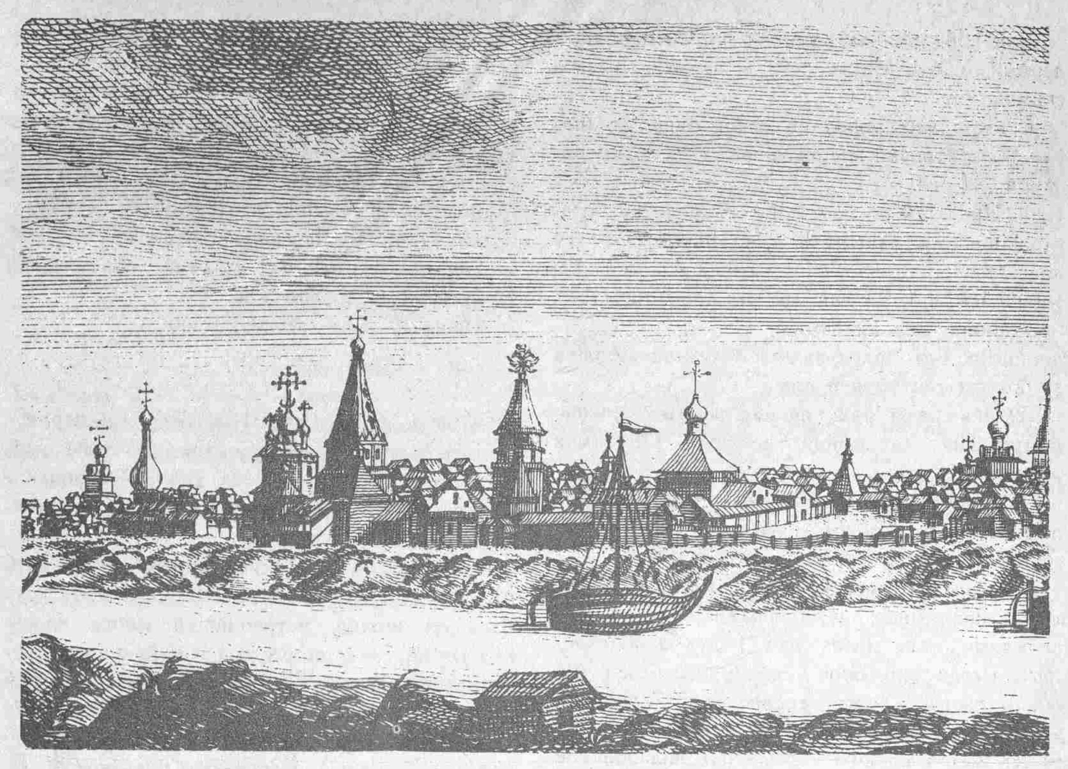
Иркутский губернатор объявил купечеству, что китайский император разрешил торг на Кяхте, о чем было от него особое предложение Иркутскому магистрату, и вскоре после получено известие из Кяхты, что там в мае месяце открылся и самый торг. По этому случаю в 27 чис. с. м. губернатор в летнем своем доме дал великолепный бал.

В декабре иркутский вице-губернатор Цедельман получил чин генерал-майора.

1781 г. Генваря 2-го р. Ангара покрылась льдом, а 5 марта вскрылась, простояв закрытою 62 дня.

Февраля 1 дня открыта здесь первая городская школа для обучения детей грамоте.

Ноября 13 губернатор Кличка сочетался



Иркутск середины XVIII века. Гравюра

браком со вдовою штаб-лекаря Ульяной Федоровной.

Сего года обнародована четвертая народная перепись.

1782 г. Сентября 22 торжественное открытие в Иркутске училища детей всех сословий, при чем иркутскими гражданами пожертвован каменный дом и на первое обзаведение деньгами 500 руб.

Сего же месяца, в 28 число, пополуд. было землетрясение.

1783 г. Мая 11 сильный пожар в Вознесенском монастыре, обнявший все деревянные строения; все пылало под убийственным огнем; чудом спасена только деревянная церковь Тихвинская Богоматери, заключавшая в себе залог спасения нашего, мощи покоившегося под алтарем ее св. Иннокентия, первого епископа Иркутского. Каменная соборная церковь сильно пострадала от этого пожара; она исправлена доброхотными деятелями и вновь освящена преосвященным Михаилом I, епископом Иркутским.

Губернатор Ф. Н. Кличка уволен от должности, а вместо него определен генерал-майор Иван Варфоломеевич Ламб, человек редких качеств. Впоследствии он не сошелся с генерал-губернатором Якобием и должен был просить о переводе на службу в другое место, которое и получил 1785 г. Ламб приехал в Иркутск 4 июля, а 15 сего же месяца Кличка выехал отсюда в Россию. Чиновники и граждане иркутские в благодарность бывшему своему начальнику устроили радушные проводы, и многие из них провожали его до селений: Жилкинского, Тайтурского и даже до Тулуна (за 363 верст.) и прощались с ним со слезами. Так иркутяне любили доброго своего начальника.

Сентября 9 приехал в Иркутск на службу первый определенный иркутским и колыванским генерал-губернатором, наместником сибирским, генерал-поручик Иван Варфол. Якобий. С Якобием приехало множество чиновников на службу, требовавшихся к открытию Иркутского наместничества. В числе служащих, приехал с ним в Иркутск в первых чинах Иван Семен. Зеркалеев, дослужившийся в Иркутске до чина действ. стат. советника, бывший потом председателем казенной палаты и управлявший несколько раз за иркутского губернатора. От привала нахлынувших в Иркутск служащих чиновников и многочисленной их прислуги, всего до ста пятидесяти человек обоего пола, жители города обременены были тяжелым постоем; одних якобиевских музыкантов было до сорока человек. 23 сентября Якобий уехал в Нерчинск, в 21 ноября возвратился, и вследствие Высочайшего указа от 6 марта сего же года, в 27 декабря торжественно открыл Иркутское наместничество. Высочайший указ, данный Якобию, состоял из восьми отделов, распубликован повсеместно; извлекаем из него следующее: 1) В Нерчинской области быть обер-коменданту, а в Якутской и Охотской комендантам с полным заведыванием управления сими вверенными им краями; 2) По отдаленности городов Иркутской губернии от Иркутска в соблюдении государственных доходов учредить экспедицию казенной палаты; 3) По обширности уездов, в пособие исправникам, определить заседателей; 4) Разным народам оставить свободу разбираться между собою по гражданским делам словесно, у своих старшин и выборных; 5) Тракт между Якутском и Охотском населять от пяти до десяти дворов на кажные 20 или 25 верст расстояния переселенцами из осуждаемых, преимущественно из губерний: Вологодской, Костромской, Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Пензенской, Казанской, Вятской, Симбирской, Уфимской, Пермской, Воронежской, Рязанской, Тобольской и Саратовской, отсылая прочих в Тобольское наместничество; 6) На содержание морской и других народных школ, ведомства приказа общ. призр., повелено в таможнях Иркутской губернии взимать, сверх установленных пошлин, с ценности товаров с каждого рубля с приходящих по 2, а с выходящих по 1 копейке, согласно Колыванской и Тобольской губерниям; 7) Касательно служащих в Иркутской губернии чиновников, за прилежную и усердную службу в Сибири в продолжение не менее шести лет жаловать и награждать зависеть будет от Высочайшей воли, и 8) Служащим в Охотске и Камчатке, по отдаленности края, офицерам производить двойное жалованье, а нижним чинам и служителям, не исключая сторожей и переплетчиков, производить провиант и потребные вещи давать в натуре, наблюдая при том, чтобы казна не несла напрасных убыток и не было тягости народной, и с ним же вместе Правительствующий Сенат на Иркутскую губернию составил надлежащие штаты для исполнения генералу Якобию и проч.

1784 г. На 23 марта сильный пожар в Иркутске, истребивший 8 домов, начавшийся с дома купца Защихина.

Профессор Лаксман в 48 верст. от Иркутска, вверх по р. Ангаре, на рч. Тальце устроил стеклянную фабрику. Впоследствии она перешла иркутскому купцу Якову Петр. Солдатову на посессионном положении; 1832 г. она куплена иркутскими купцами, основавшими компанию на акциях. Первыми директорами этой фабрики были иркутские купцы Никифор Трапезников и Петр Саламатов; в управлении их возродились несогласия между акционерами. Возникла тяжба, продолжавшаяся более десяти лет, и в это время благоразумием правой стороны фабрика приведена в должное совершенство и порядок. В последнее время (1857—8 г.), в управлении директора купца А. И. Молодых и управляющего фабрикою чиновника И. Е. Мальцева, фабрика еще улучшена и стала давать порядочные дивиденты; можно надеяться, что в скором времени акционеры возвратят свои затраченные капиталы. На фабрике этой выделываются следующие изделия: солдатское сукно серое, белое и крашеное, ценою до 1 руб. за арш.; серое и белое сбывается пре-

имущественно в Олекминском округе и Якутске, из них белое особенно уважаемое якутами; также выделывается фарфоровая, фаянсовая и стеклянная посуда; последняя, в огромном количестве, поступает в питейный откуп; стекло оконное, которым снабжается вся губерния, Ленский и Якутский край. Ныне (1859 г.) при фабрике устроен православный храм.

Июля 8 поставлен шпиль на колокольню Архангельской церкви.

11 того же месяца последовало наводнение от рк. Иркута.

Августа 20 сделалось холодно и два раза шел снег.

Декабря 8 губернатор Ламб уехал для обозрения Якутской области.

1785. Января 6 р. Ангара покрылась льдом, при чем последовало наводнение, а 22 марта она вскрылась, быв покрытою льдом 75 дней.

Марта 30 прибыл в Иркутск путешествующий по Сибири граф Андрей Андр. Мантейфель.

С 13 апреля начата постройка Благовещенской церкви, в которой к осени сего же года был уже готов и отделан один престол Трех Святителей и освящен 15 ч. ноября.

С 23 мая начался дождь, продолжавшийся неделю, от чего последовало большое наводнение в Ангаре, Иркуте и Ушаковке, на последней мельницу Глазунова сорвало и унесло.

Октября 8 установилась в Иркутске санная дорога, которая по здешнему месту считается очень раннею дорогою.

Ноября 3 скончался в Иркутске уважаемый старичок Никита Корюхов, отец известного в Иркутске бригадира Ивана Никитича Корюхова.

Сего года привезены в Иркутск типографские приборы со всеми принадлежностями, на два станка; один из них стоил казне 678 руб., второй 1005 р. 15 к., а оба 1683 р. 15 к. ассигн.

Станки эти послужили основанием типографии, принадлежащей ныне Иркутскому губернскому правлению.

1786 г. Генваря 5-го р. Ангара покрылась льдом, от которого произошло страшное наводнение: вода затопила всю набережную Троицкого прихода, вливаясь в дома, текла по улицам и доходила до каменного дома Резанцева, что ныне купца Зубова. Такого наводнения в Иркутске еще не бывало.

Марта 15-го р. Ангара вскрылась от льда, быв покрытою 69 дней. Того же месяца, в 20 ч. последовало от Ангары опять наводнение.

Губернатор Ламб Высочайше уволен от занимаемой им должности, с производством полного жалованья. На место его определен губернатором в Иркутск и правителем наместничества генерал-майор Мих. Мих. Арсеньев. В то же время уволен от должности вице-губернатор Бурцов, а на его место назначен колл. советн. Андр. Сид. Михайлов.

Апреля 28 пожар в Иркутске, истребивший пять домов.

Июля 10 Ламб выехал с семейством своим из Иркутска в Россию, оставив по себе память, как человек добрый, честный и бескорыстный.

Августа 3 определен в Иркутскую гражданскую палату представителем Федор Семенович Путятин.

Августа 5 была страшная гроза: молния, гром, дождь и град.

Октября 30 в 9 ч. пополудни было землетрясение.

Ноября 23 губернатор Арсеньев приехал в Иркутск.

Декабря 25 р. Ангара покрылась льдом.

1787 г. Января 1 торжественно открыта в Иркутске городская дума, в которую заранее выбранные члены, после принятия присяги, поступили на службу: городским головою степенный гражданин, иркутский первой гильдии купец Мих. Вас. Сибиряков и десять человек в гласные и в другие общественные службы, купцы: Петр Попов, Андрей Савате-

ев, Дмитрий Пуляев, Григорий Трусков, Петр Кузнецов, Алексей Фереферов, Михайло Родионов, Петр Расторгуев, Иван Масленников и Лаврентий Ишуткин. Причем иркутское купечество дало великолепный обед для всех чинов города и граждан, а к вечеру был бал с маскарадом и пушечною пальбою.

Марта 22 видимы были около солнца четыре радужные круга.

Апреля 3 повторился такой же вид около солнца, а 4 сего апреля р. Ангара вскрылась от льда, простояв под ним 100 дней.

Мая с 10 на 11 скончался Вознесенского монастыря настоятель, архимандрит Синесий (Иванов) 89 лет.

Сего же мая месяца, в 21 число, св. икона Богоматери из собора в первый раз торжественно вынесена, по случаю засухи на поля Кудинския, Хомутовския, Позняковския и Оекския, что продолжается каждогодно по сие время.

Июля 9 устроена на р. Ангаре машина для гранения цветных камней, которую в 25 ч. сего же месяца вырвало и унесло.

Августа 12 в вечеру совершенно во всех церквах города всенощное бдение, а назавтра литургия и молебствие с коленопреклонением, по случаю радостного известия о выздоровлении в августейшем семействе от корри Великих Князей и Княжен и о привитии им первой корьевой оспы. Во весь день продолжался колокольный звон.

Сентября 25 пал первый снег и был замороз до 27 ч., с которого сделалось оттепель и возвратилось совершенное лето до 10 ноября.

Ноября 1 курьер из сената привез два Высоч. манифеста: один о наборе рекрут с 500 дворов два человека, второй о войне с Оттоманскою Портою.

Декабря 13-го Ангара покрылась льдом, по наступившей теплоте вскрылась; в 15 уже число покрылась совершенно.

Сего года вся Россия и Сибирь праздновала совершившееся двадцатипятилетие благополучного царствования Императрицы Екатерины. По сему радостному событию обнародован был Высочайший манифест. Представляем извлечение из этого документа. После Высочайшего имени, он начинается следующим: «Совершилося уже двадесять пятое лето нашего царствования. Сыны российские, Нам верноподданные, да воздадут с нами хвалу Богу, укрепляющему Нас творить им благо и благословившему доселе все Наши о том, попечения» и проч. Далее: «Сим образом действует в душе Нашей признание к народу, делами предков и своими славному, и отечественные добродетели в себе хранящему: и хотя в течение царствования Нашего не преставали Мы благотворить оному, но воспоминая горячую любовь и преверженность его к Нам, наипаче же в самый сей день явленные, восхотели Мы сказать матернюю Нашу милость, распространяющуюся на различные состояния Наших подданных; и потому повелеваем: 1. Все недоимки подушного сбора по 1 генваря 1776 г. исключить. 2. Все недоимки подушного сбора, так же оброчных с поселян казенного ведомства, по 1 генваря 1786 г. в казну Нашу следующих, с начала 1788 года в течение двадцати лет в каждом году вносить поровну и даже вместо денег вносить хлебом, дабы более усугубить хлебопашество. 3. Служащих в войсках 25 лет, если они от начальств своих уволены, не облагать никакими податями. 4. Манифестом от 17 марта 1775 г. узаконено, всякое дело гражданское и уголовное, (которые) в течение десяти лет не сделались гласными, преданы вечному забвению; право сие распространяем на все гражданские дела как между частными людьми, так между ними и казною. 5. Отныне вперед с купчих крепостей вместо бывших шести процентов, брать пошлину по пяти на сто. 6. Помещикам сделана отсрочка по 1 генваря 1793 г. взыскания с них четвертой пошлины. 7. Преступников, которые осуждены к смертной казни, освободить и сослать в работу, а кои к телесному наказанию, освободя послать на поселение. 8. Содержащихся по делам казенным или уголовным долее десяти лет в тюрьмах, не мешкав, освободить. 9. Умерших, коих наследники по каким ни есть казенным начетам или недоимкам, под взысканием находятся, всех сих простить. 10. По казенным и частным делам

более пяти лет содержащихся, кои действительно заплатить не в состоянии, освободить. 11. Всех званий людям, отлучившимся из отечества, дать прощение, если возвратятся через год и два. 12. Неумышленные казенные начеты до 1000 р. простить. 13. По корчемным и соляным делам содержащихся под стражею освободить, а учиненные приговоры и начатые следствия оставить. 14. Каторжных, кроме смертоубийцев, освободить и поселить на землях, к тому назначенных. Всех, до сего числа оказавшихся в неисправлении или опущении должности, кроме взяток и других умышленных преступлений, простить в чаянии, что каждый из них трудом и ревностию потщится наградить свою неисправность» и проч. В конце сказано: «В прочем уповаем Мы, что верные Наши подданные соединят с Нами моления их к Богу, всех благ Подателю, да подаст Нам силу и помощь на грядущее время царствования Нашего, и что с трудом Нашим каждый из них совокупит и собственный труд, званием его на него возлагаемый». 28 июля 1788 г.

Получено известие из Петропавловского Порта (в Камчатке), что в Порт прибыли два иностранных фрегата под командою Лаперуза, который высадил на берег русского человека — Ивана Мартынова, уехавшего оттуда через Иркутск в Россию на родину.

1788 г. Марта 30 наместник, генерал-губернатор Якобий выехал из Иркутска в С.-Петербург, а потом вскоре уволен от должности. Иван Варфоломеич Якобий, генерал-от-инфантерии, кавалер св. Георгия 3 ст., св. Анны 1 ст. и св. Александра Невского, родился в 1726 году, воспитан в Сухопутском кадетском корпусе. Отец его Варфоломей Валентинович Якобий был комендантом в Селенгинске, куда прибыл к нему на службу сын его в чине прапорщика 1747 г. И. В. Якобий несколько раз ездил курьером с бумагами в Пекин; 1759 года он был уже майором, 1768 полковником. После кончины отца, Якобий выехал из Сибири в Россию и поступил под знамена полководца Румянцева-Задунайского, громившего турок. Якобий был в сражениях, а после мира с Портою (1774 г.) получил в награду 500 душ крестьян в Белоруссии. 1775 и 1776 года определен губернатором в Астрахань, 1781 г. открыл Саратовское наместничество, перемещен для исправления должности уфимского и симбирского генерал-губернатора и с тем вместе командира Оренбургского полевого корпуса и всех войск, по линии того края расположенных, бывши уже в то время генерал-поручиком (с 1779 года), в 1783 г. Якобий определен исправляющим должность Иркутского и Колыванского генерал-губернатора; открыл иркутское наместничество, пробыл на этом посту шесть лет, удален от должности и подвергнут ответственности. Имп. Павел пожаловал его в генерал-лейтенанты и вскоре в генерал-от-инфантерии, получил отставку с мундиром и пенсией. Скончался в С.-ПБ. 1803 г.

Якобий любил жить роскошно и открыто, особенно в Иркутске; содержал при себе сорок человек музыкантов, росту был высокого, с красивою и дородною наружностью. Оставил по кончине своей шесть тысяч душ крестьян.

Указом от 16 февраля Иркутская банковская контора закрыта, существовавшая в Иркутске около 19 лет.

Апреля 4-го р. Ангара вскрылась ото льда, простояв под ним 111 дней.

Июня 12-го пал иней, от которого замерзли огородные овощи.

Июля 27-го было землетрясение.

Августа 21-го отправлялось в Иркутске торжество по случаю одержанной победы над турецкими кораблями в 19-й день июня сего года. Сего месяца 27-го числа прибыл в Иркутск на службу представитель уголовной палаты г. Бобровский.

Ноября 1-го сенатский курьер Болотов привез указ о вновь определенном в Иркутск генерал-губернаторе, генерал-поручике Иване Альферьевиче Пиле.

Сего те ноября в 21-ое скончался иркутский купец Федор Дудоровский.

Декабря 27-го р. Ангара покрылась льдом.

Сего года в первый раз иркутские мясопромышленники отправили приказчика Трус-

кова в Красноярск и округ оного за покупкою рогатого скота, наслышавшись о его там дешевизне; но Красноярский магистрат воспретил Трускову делать закуп и посадил его под караул и держал до тех пор, пока продолжалась по сему делу переписка иркутского губернатора Арсеньева с тобольским, и сей последний предписал выпустить Трускова и отпустить в Иркутск с закупленным скотом и впредь навсегда разрешена свободная покупка скота иркутянами.

1789 г. С 26 на 27 марта скончался Ирк. Владимирской церкви священник Иоанн Громов, на 73 году от рождения.

Апреля 12-го р. Ангара вскрылась от льда, простояв покрытою 106 дней.

23 с. м. было землетрясение.

Мая с 10 на 11 число сильный пожар в Чудотворском приходе, истребивший два дома купца Федора Пономарева, два дома мещанина Брюханова, дом Василия Кузнецова и дом купца Ивана Малышева.

17 того же мая сгорела казенная палата, из которой всех дел не вынесли, их более половины сгорело. Дом этой палаты был на том месте, где ныне проживали иркутские губернаторы — Цейдлер, Евсеев и другие, что прямо гостиного двора, которому сильно угрожал этот пожар.

Сего же мая 22 скончался иркутский обер-комендант Иван Антонович фон-Линеман, 73 лет.

Июня 20 приехал в Иркутск вновь определенный генерал-губернатор Иван Алферьевич Пиль. Для приезда его были нарочито выстроены триумфальные ворота. Он въехал в них торжественно, встречен был многочисленною публикой при пушечной пальбе. На другой день своего приезда Пиль посетил преосвященного Михаила.

Августа 1-го, в исходе первого часа пополудни скончался преосвященный епископ Иркутский Михаил (Миткевич), 69 лет, 3 числа совершен торжественный вынос усопшего архиерея из келий в собор, где отпевание совершал Вознесенского монастыря игумен Илия с городовым духовенством. Тело преосвященного предано земле в придельном храме собора Казанской Богоматери, за правым клиросом.

Сентября 22-го, в торжественный день коронования Государыни Императрицы Екатерины, в Иркутске открыто торжественно народное училище в каменном доме, близ Тихвинской церкви.

Октября 9 спущен со строения на воду первый выстроенный в Иркутске гальот для хождения по Байкалу.

Ноября 11 установилась зимняя дорога.

Ноября 24 в 12 час. по полун. было землетрясение, которое назавтра в 8 ч. утра повторилось.

Декабря 9 в С.-Петербурге, в присутствии Высочайшего Двора, Александро-Невской семинарии ректор, архимандрит Вениамин (Багрянский) в придворной церкви Зимнего дворца посвящен в епископа Иркутского и Нерчинского.

1790 г. С 1-го января иркутский градской голова, иркутский купец Илия Андреич Сизой вступил в свою должность.

14-го с. м. река Ангара покрылась льдом, а 20 марта вскрылась, простояв под льдом 65 дней. Покрытие ее случилось в 8 час. того 14 ч. утром, а в 10 ч. лед прямо города двинулся и река вскрылась, в 12 час. ночи опять было движение льда, и наконец совершенно покрылась.

Февраля 23 генерал-губернатор Пиль уехал в Кяхту, а 3 марта возвратился.

Марта 10 прибыл в Иркутск на епархию преосвященный епископ Вениамин (Багрянский), которого Иркутское духовенство, чины и народ города встретили при колокольном звоне всех городских церквей у Владимирской церкви, где одели его в полное архиерейское облачение и при крестном ходе архиерей шествовал в собор пешком. Служил литургию, говорил речь и отправлял благодарственное Господу Богу Молебствие, после чего общество граждан угощало его обеденным столом в келии.

Апрель 10, сильная буря в Иркутске, затмившая солнце, сорвала со многих домов

крыши, опрокидывала заборы: с соборной церкви, с северной стороны, содрало железную крышу, изломало стекла, а в девичьем монастыре с соборной церкви уронило крест.

Начавшиеся дожди с 17, 18 и 19 июня повторились 3 и 4 июля, сделали наводнение в р. Ангаре, так что оборвало берег около городской башни и уничтожило пешеходную дорогу. От этого повреждения с 24 июля сломаны крепостные береговые башни.

Октября 5 при училище открыт класс монгольского языка.

Сентября 13 скончался славный иркутский живописец Федор Иванович Харинский.

В настоящем месяце окончена постройка каменного мещанского гостиного ряда, на паях.

Герб города Иркутска Высочайше пожалован первоначально 18 февраля 1690 г., а сего года в 26 октября Высочайше подтвержден. Он представляет в серебряном поле бабра, бегущего по зеленой траве в левую сторону щита и имеющего в челюстях своих соболя. Многие у нас разумеют сказанного бабра за бобра. Бобр (Castor fiber) — известное земноводное животное, шкура которого ценится очень высоко; а бабр (Felis pantera) — кровожадный, сильный и лютый зверь, живет в жарких странах. Он иногда забегает в Сибирь из Китая. Шкура его светло-желтоватого цвета с черно-бурыми поперечными полосами, с длинным хвостом. Этот-то зверь и изображен на гербе города Иркутска и всей Иркутской губернии.

Декабря 26 было северное сияние.

Сего года деревянный отдельный храм Преображения Господня в Знаменском девичьем монастыре по ветхости разобран, а вместо его сделана каменная закладка придела к главной соборной монастырской церкви.

1791 г. Января 11-го р. Ангара покрылась льдом, а 15 марта вскрылась, простояв покрытою 63 дня.

Марта 8 в Богоявленском соборе совершено таинство крещения депутата якутских родов; восприемником был преосвященный Вениамин, а восприемницею — ея превосходительство Елисавета Ивановна Пиль. Новорожденный* наречен Василием.

В день неожиданного вскрытия р. Ангары, в 15 марта, чрез реку переезжал крестьянин с возом на продажу хлеба, провалился с лошадью и возом; утонул.

Апреля 16 прибыл в Иркутск на службу обер-комендантом полковник Андрей Иванович Блюм.

На 18 апреля скончался в Иркутске правящий должность губернатора Михайло Михайлович Арсеньев. 58 л. от роду, 20-го совершено торжественное погребение у Тихвинской церкви, при чем отдана честь 21 выстрелом из пушек, а строй из 500 ч. солдат палил из ружей. Он оставил супругу, двух сыновей и восемь дочерей, из последних одну замужнюю. Память об Арсеньеве сохранилась в летописи не очень выгодною, что он был человек корыстолюбивый и наживал деньги карточною игрою, впрочем, человек был добрый и хлебосол.

Мая 7, в день преполовения пятидесятницы крестного хода не было.

Июня 1 начата поправка каменной соборной ограды.

Июля 3 поставлены на колокольню Спасской церкви боевые часы.

Сего лета окончен строением каменный дом иркутского купца Мыльникова. Дом этот впоследствии, около 1840 г., куплен купцами, братьями Трапезниковыми и Василием Медведниковым и отдан в распоряжение Иркутского градского общества, с тем, чтобы в нем, взамен натуральной повинности за их дома, квартировали девятнадцать штаб- и обер-офицеров; но цели этой совершенно не было достигнуто. Ныне** в доме этом помещается казенная палата.

Октября 9 прибыл из Троицкосавска в Иркутск определенный губернатором генерал-майор, а потом тайный советник и впоследствии действительный тайный советник Иларион Тимофеич Нагель, человек деятельный, трудолюбивый и строгой правдивости. Слу-

* В смысле духовном, т. е. принявший крещение.

** Т. е. в 1859—1860 гг.

жение его продолжалось в Иркутске по 1798 год. Однако ж Нагель кончил свое служение в Иркутске не без последствий и клеветы и что на него был какой-то неизвестный донос, по Иркутскому ли управлению, или по бывшему до сего служению в Кяхте и переговору с китайцами, который он окончил выгодно для торгующего там купечества, потому что китайцы часто запирали свои ворота и торговля прерывалась от разных неудовольствий, и, истории известно, что с 1744 по 1792 г., в течение 48 лет, кяхтинская торговля прерывалась десять раз, не без убытка для российских и сибирских купцов и, как говорили, по причинам совершенно вздорным. За Нагелем прискакал фельдъегерь, и — представьте себе состояние бедного Нагеля, везомого на перекладных в С.-Петербург. Он был представлен Государю Павлу Петровичу. Государь вначале гневно, но пристально смотрел на Нагеля и спросил: «не тот ли ты Нагель, который в таком-то году служил в таком-то гусарском полку?» Получив удовлетворительный ответ, он бросился на него, обнял и сказал: «Я знаю тебя, ты честный человек, на тебя солгали». И тут же поздравил генерал-лейтенантом, назначил военным губернатором в Ригу, а при расставании пожаловал Нагелю орден св. Александра Невского.

Ноября 10 установилась зимняя дорога, и езда на санях началась.

Декабря 30 прибыл в Иркутск генерал-майор Юргенсон для осмотра войск, по распоряжению князя Потемкина.

Сего года купец Мыльников устроил фабрику, для выделки козлов*, где и начали их выделывать.

1792 г. Января 12. Генерал Юргенсон, осмотрев войска, сего дня уехал в Россию.

Сего же января 18-го р. Ангара покрылась льдом, а 3 апреля вскрылась, простояв покрытою 75 дней.

Марта 4 начальством здешним составлена была за Ситниковой заимкой охота за козами, для которой собрано было 550 чел. бурят.

При вскрытии р. Ангары в 3 апреля, на одной оторвавшейся огромной льдине увлекло двух коров, одного теленка и двух собак.

Мая 18 начато новое укрепление берега р. Ангары, на которое было ассигновано 22000 руб. Работы эти были поручены члену Иркутской казенной палаты Андрею Худякову и архитектору Тимашевскому. Они укрепили берега 170 саж. и на работы употреблено 15691 руб. 92½ коп. ассигн.

Июля 22, в 12 час. ночи вспыхнул пожар в доме священнической жены Урлоцской, с которым сгорели еще три дома: Троепольского, Мичурина и Елезова. Все эти дома находились на месте, где ныне дома гимназии и провиантской комиссии.

Сего месяца в 26 число от сильной грозы в разных местах города загорелись три дома; из числа их один сгорел совершенно, — принадлежащий обер-коменданту, причем сгорела и кухня его.

1792 г. Сентября 14 буря затопила на р. Ангаре карбаз, следующий в Усолье с денежною казной.

Ноября 4 прибыл в Иркутск из России следующий в Троицкосавск на службу обер-комендантом Фридрих Вест-Фален.

Сего месяца в 7 число установилась в городе зимняя санная дорога.

Декабря 15, от поджога, в 1 часу ночи сгорели два дома иркутск. мещ. Тимофея Харинского и Михаила Душакова.

В этом году открыт при училище класс японского языка. То же училище получило пожертвованный г. Губановым минеральный кабинет; штуфы эти собраны им были в Барнаульских рудниках.

1793 г. С 1 ч. января вступили в городовые службы вновь избранные члены на трехлетие: градским головою купец Михайло Васильевич Сибиряков, в магистрат — бургомистром Степан Киселев, заседателями Дмитрий Пуляев, Тимофей Баснин, Петр Безруков и Петр Солдатов.

---

* Кож.

Сего января 5-го р. Ангара покрылась льдом, а 18 марта вскрылась, быв покрытою 72 дня.

11 того же января четыре арестанта, бежавшие из острога, остановив едущих по Верхоленской горе трех крестьян и трех женщин, всех их убили, а что было у них — ограбили.

Марта 12 приехал в Иркутск на службу новый вице-губернатор Похвиснев.

Прошлый 1792 год был неурожайный и хлебные запасы были недостаточны; генерал Пиль предоставил хлебным подрядчикам в настоящем марте месяце закупать хлеб с Иркутского рынка, а чтоб цена не могла возвыситься, установил таксу: 25 коп. асигн. за пуд ржаной муки. Этим распоряжением жители города сильно были стеснены, потому, что каждому вольному покупателю не дозволялось отпускать более одного мешка, да и за тем надобно было ходить по нескольку дней, а кто осмеливался заплатить цену выше таксы, такового садили под стражу. Между тем у некоторых купцов были порядочные запасы хлеба; о стеснении бедного класса жителей дошло к сведению Пиля, что были перекупы такими-то, и сего же месяца в 17 число Пиль лично отправился в дом купца П. С., раскрыл хлебные амбары и при себе приказал нагрузить двадцать возов ржаной муки и вывезти на рынок для вольной продажи жителям по таксе. В июле месяце не было уже хлеба никакого в продаже, жители терпели голод, градская дума заняла в казне муки и отпускала жителям по пуду и менее на семейство.

Июня 2, в день. Вознесения Господня, в Вознесенском монастыре, после бывшего пожара 1783 г., соборный храм после поправок сего дня освящен.

3 сего июня на р. Ангаре, на Московском перевозе бурею опрокинуло переплывавший карбаз с людьми; к счастью, всех спасли.

14 с. м., по случаю бывших неурожаев хлебов, по усердию крестьян Усть-Удинской слободы, отстоящей от города вниз по р. Ангаре на 200 верст, с благословения преосвященного, уплавили они из Богоявленского собора св. икону Богоматери, а 10 июля она возвращена с подобающею честию.

30-го совершено в Иркутске торжество, по полученному Высочайшему манифесту о обручении Великого Князя Александра Павловича с Великою Княжною Елисаветою Алексеевною. Трехдневное торжество с колокольным звоном сопровождало этот праздник.

Декабря 11 скончался в Иркутске артиллерии майор Василий Ильич Липовцев.

Сего года (в 11 сентября) заложена первая кладбищенская каменная церковь, во имя входа в Иерусалим Господа нашего Иисуса Христа, а освящена 11 ноября 1795 года.

Сего же года Тельминская фабрика, принадлежащая купцу Сибирякову, куплена у него казною, и первый ее правитель был кригсцалмейстер Новицкий, управляющий ею до 1802 года.

1794 г. Января 5-го р. Ангара покрылась льдом, а 25 марта вскрылась, простояв под ледяным покровом 79 дней. Первое покрытие совершилось 2 января, покрывший лед дошел до церкви Устюжских чудотворцев и потом сплыл лед назад и так продолжалось слишком два дня, в 5-ое уже совершенно покрылась.

13-го — первое торжество рождения Великой Княгини Елисаветы Алексеевны; после литургии молебен, сопровождаемый пушечною пальбою и целодневным звоном.

14-го получен указ о продаже хлебного вина в 4 руб. 97 коп. за ведро.

31-го приехал в Иркутск миссионер в Пекин, архимандрит Софроний (Грибовский) со свитою. Софроний родом из малороссиян, обучался наукам в Киевской духовной академии, вступил в монашество в Молчанской Софрониевской пустыни. В 1787 году Софроний пожелал продолжать еще курс учения, почему и переведен в Московскую духовную академию. 1790 год он посвящен в иеродиакона и определен законоучителем и в 30 день января 1793 г. — в архимандрита Пекинского. Ему сопутствовали: Семиезерской пустыни казначей, иермонах Иессей и иеродиакон Вавила, Раифской пустыни иеромонах Варлаам, церковники, из Казанской ака-



Харлампиевская церковь в Иркутске. Строилась в 1777—1782 гг.

демии ученики риторики: Василий Богородский и Козьма Коргинский, учитель Карп Круглополов, студенты: Иван Малышев и Стефан Липовцев и студент из Петербурга Павел Иванович Каменский. Сей последний был впоследствии архимандритом Пекинским. Миссия эта прибыла в Пекин сего же 1794 г. в 27 день ноября, в сопровождении пристава Игумнова. Софроний пробыл в Пекине более тридцати лет, выехал из Китая 1808 г. мая 11 дня с одним псаломщиком и тремя студентами; Круглополов и Коргинский по болезни выехали еще ранее из Пекина — в 1799 году, прочие скончались в Пекине.

Февраля 3 скончалась Знаменского девичьего монастыря игуменья Пелагея.

17-го было землетрясение.

19 февраля получен в Иркутске Высочайший указ, оправдывающий генерала Якобия, бывшего иркутского и колыванского генерал-губернатора и прикосновенных с ним лиц. Решение якобиевского дела и составление самого указа, как говорили в свое время, есть труд самой Императрицы Екатерины, есть весьма важный исторический документ, из слова в слово переданный летописью на память потомству. Он есть следующий:

«Указ Нашему Сенату».

«Читаны были пред Нами несколько тысяч листов, под названием Иркутских дел, по разногласию Сената Нашего второго департамента и общего собрания с неподписанным приговором, при докладе находившегося обер-прокурором, тайного советника Колокольцева взнесенных. Мы бы не жалели ни времени, ни трудов Наших, на рассмотрение сего дела употребленных, если бы в таковом множестве нашли что-либо к пользе службы Нашей или ко правосудию относящееся, но к крайнему сожалению нашему не видим Мы

ничего, с одной стороны, кроме сущих сплетней, с другой же — кроме несогласий и в самых мелочах канцелярских по второму департаменту беспорядков, излишностей и упущений, а также и самых некоторых господ сенаторов суждений, а обер-прокурорских заключений, несообразных ни с справедливостью, ни с приличными законами, ниже с правилами, от Нас утвержденными, чтоб никого не осуждать без ясных убеждений и точных доказательств и не отяготить наказанием паче меры преступления или погрешности. Наконец и к тому обратили Мы внимание, что второй Сената департамент, которому рассмотрение дел сих от Нас поручено было, если бы по явным доказательствам, а не на догадках основанным заключениям, находил преступления генерал-поручика Якобия, бывшего в должности Нашего генерал-губернатора иркутского и колыванского, то и тут не долженствовал сам собою присуждать его к таковым казням или наказаниям, каковы в мнениях присутствовавших в оном положены, но открыть, как выше сказано, из самого существа дел вин его, представить Нам, дабы Мы могли по рассмотрению того приказа над виновным держать суд и заключить приговор по законам. По таковом собственно Нашем рассмотрении всех помянутых дел, повелеваем: Первое: генерал-поручика Якобия по делу Мунгальскому, отнюдь не доказанного, чтобы он хотел завести войну с китайцами и чтоб он имел участие в сумасбродной переписке бывшего секретаря Осинина с генерал-майором Ладыженским, не почитать виновным, тем более что по пограничным делам, коих течение в Сенате и не есть ведомо, имел он от Нас, или по воле Нашей от коллегии иностранных дел, предписания, Нам в них отчет отдавал, и по течению их Мы никаких замешательств, которые можно было бы отнести на счет его, не усматриваем. Второе: по Баргузинскому и провиантскому делам равным образом не встречаем никаких преступлений с его стороны, ибо, если бы по отдаленности и сопряженным с тем обстоятельствам, какие-либо обряды и не в полной точности соблюдены были, то одно продолжительное столько времени следствие, при двукратно дарованном манифестами Нашими от 28 июня 1787 и 2 сентября 1793 г. отпущении в неумышленном небрежении должности, тому удовлетворяет. Коль же скоро ни ущерба интересам Нашим, ни ропота народного, ни расстройства в губерниях, ни гнусных взятков, ниже другого рода угнетений подчиненным не оказалось, то и осуждать его тут не следует. Третье: отрешение или отлучение от должности оказавшихся в неисправности или упущении должности — ни учреждениям Нашим, ни наказу губернаторам, в 1764 году данному, противным почитать не следует; что же касается до перемещения чинов, оное также извиняется отдаленностию губерний и необходимостию для самой пользы службы, дабы иные места не оставалися праздны и от сего не произошло в делах и интересах казенных упущения или замешательства; но относительно сего пункта Сенат должен иметь рассуждение и Нам представить, каким образом таковое перемещение, разумея в необходимости и отдаленности, в какие именно должности дозволяемо быть может, соглашая то с учреждениями и с наблюдением, чтоб младший заступал место старшего, и о том к Нам взнести на рассмотрение и решение. Четвертое: не оправдываем Мы означенного генерал-поручика Якобия в переписке его с Сенатом Нашим, где и когда отступал он от должного к сему главному правительству уважения, ибо, если бы он в указах, к нему присылаемых, находил какое-либо степени, должности и лицу своему оскорбление, в таком случае мог отозваться к Нам, ведая, что Мы конечно охранили бы честь как его собственно, так и звания, от Нас на него возложенного, но дело сие также оставляется, на основании помянутых манифестов, даровавших отпущения в ненаблюдении должности, а при том не можем оставить без подтверждения Сенату, чтоб в переписках с подчиненными наблюдаема была надлежащая вежливость и благопристойность. Пятое: генерал-майора Ладыженского, бывшего в Троицкой крепости обер-комендантом, хотя он и подлежал ответу в том, для чего он пред вышним начальством формально не обнажил сумасброд-

ной секретаря Осинина переписки, в уважении, что он всякое дальнее по той переписке последование прекратил, и вследствие вышеозначенных манифестов, оставить без взыскания. Шестое: Иркутское наместническое правление, палаты казенную и половную и Колыванскую половную же в ненаблюдении по делам порядка и в не дельной переписке с правившим должность генерал-губернатора — силою тех же манифестов от всякого взыскания освободить. Седьмое: дела до генерал-поручика Ламба, бывшего правителем Иркутского наместничества, яко не доказанные, оставить без уважения. Осьмое: коллежского советника Резанова отпустить из Иркутска и по взыскании из утраченных расходчиком, под смотрением его бывшим, трехсот двадцати пяти рублей, что на его часть причтется, причислить к герольдии, а в прочем касательно несоблюдения формы в даче им предложения уголовной палаты о присылке ведомостей о колодниках, по которому указы прямо из палаты по всей губернии разосланы были, в том освободить его от всякого взыскания как по долговременному его под следствием и в Иркутске задержанию, так и по часто поминаемым манифестам, но что принадлежит до принятого Сенатом в основание к поводу к отрешению его, Резанова, от должности, письма его к генерал-поручику Якобию, писанного в 1786 году, в оном ни хитрости, ни неблагонамеренности, замеченных по словам, в мнениях господ сенаторов употребленным, не усматриваем. Девятое: коллежского советника Путятина, осуждаемого в Сенате к выговору за намерение его торговать ясашною мягкою рухлядью на товары и деньги пятьсот шестьдесят рублей, от него посланные, равным образом освободить от всякого взыскания. Десятое: бывший в Иркутском наместничестве губернским прокурором надворный советник Будищев, за недоказательство разных его отчетов Сенатом обвиненный и оказавшийся в поощрении чиновников и присутственных мест к не дельным перепискам и к ненаблюдению должного к начальству уважения, клеветавший на генерал-поручика Якобия бездоказательно в пристрастном будто бы им отправлении должности, и сам нашедшийся виновником в упущениях, о каковых доносил на других, хотя и подверг себя тем строгости, но уважая сказанное в должности прокурора, 1722 года апреля 27 изданной повелеваем отрешить его токмо от настоящей должности а как дело об нем, Будищеве, касающееся до взятков, не окончено, то и приказать ему для оправдания явиться, где следует, и в рассмотрении и решении того дела поступить по законам. Первоенадесять: что касается до следующих чиновников, и именно: Еналеева, Штевинга, Бушуева, Есипова, Фаберта, Никитина, Наркуса, Воронецкого, Штольца, Бабичева, Зеленского, Пупкова, Постоева, Кузнецова, Пишкова, Степанова, Хитрова и Львова, оные все и по долговременному дела продолжению, и в сходство манифестов июня 28-го 1787 и 2 сентября 1793 г., от дальнего взыскания освобождаются. Солдата также Ламаева за неправое свидетельство, исключа из воинского звания, обратить на поселение в Иркутской губернии. Второенадесять: по доносам титулярного советника Леве, согласно приговору общего собрания Сената, те из них, которые касаются до упущения казенных польз, и именно: 1) о невзыскании штрафных с разных чинов десяти тысяч рублей, 2) о беззаконном сборе с крестьян тысячи трехсот тридцати рублей, 3) о запущении за прежние годы недоимки, 4) о ложных реестрах и ведомостях казенным податям, якобы учиненных в Нерчинской казенной экспедиции, — исследовать и по исследовании поступить по законам; что же касается до прочих его не дельных доносов, оные оставить. Третьенадесять: доносителя Парфеньева, в доносах его нашедшееся бездоказательным, обнаружившееся, что он на клевету сию поступил из неудовольствия на генерал-поручика Якобия, за отлучение его от канцелярии, и нанесшего как Нам, так и Сенату Нашему напрасный труд и другим делам остановку, хотя и следовало по законам подвернуть казни, в них изображенной, Мы, однако ж, соединяя милость с правдою, облегчая его жребий, повелеваем: его впредь, яко недостойного никакого вероятия, к делам не определять и не избирать и въезд в обе

столицы Наши ему запретить, имея присмотр за ним в той губернии, где он жительствовать будет. В прочем долгом неусыпного Нашего бдения о сохранении законов и отправлении нелицеприятного правления побуждаемся подтвердить Сенату; прилежно и беспристрастно разбирать дела, искать в них истины, а правого виновным или виновнаго правым не делать, либо отягощать присуждением наказания паче меры преступлений или погрешности: смотреть, чтобы течение дел происходило по точности регламентов и других узаконений о порядке канцелярском и производстве дел, предупреждая распространение всяких злоупотреблений немедленно приговорами и самым наблюдением в исполнении их, не так, как по сим делам оказывается, что касательно о незаконной торговле Бурцовой, как через три года указы по определению Сената не посланы были; в случае надобности, по сомнениям или по разности голосов, доклады, Нам подаваемые, составлять ясно, не упуская в них, с одной стороны, ничего важного, требующего разрешения Нашего, а с другой, не наполнять их к делу не принадлежащим и излишними обстоятельствами, и наконец, имея совесть и истину перед глазами, помня долг присяги и держася силы и слов законов, стараться единодушно и единогласно решать дела, избегая разногласия, которое, затрудняя Нас, отъемлет время, для блага государственного нужное, и дает повод к заключениям, предосудительным для тех, которые в мнениях их отдаются от прямого смысла и слов закона. — Декабря 9 дня 1793 года, в С.-Петербурге».

С 13 марта сделалась быстрая оттепель, продолжавшаяся до 17 числа с. м.; от растаяния снега вода потекла по всем улицам и сделала непроходимую грязь.

Сего же месяца в 24 число прибыл в Иркутск миссионер, архимандрит Иоасаф (Болотов), следовавший в Америку, на остров Кадьяк. Ему сопутствовали три инока из Валаамской пустыни. О Иоасафе Болотове летопись в своем месте не оставит сообщить своим читателям много интересного, так сказать, полного его жизнеописания, со дня рождения до несчастной гибели в Восточном океане.

Мая 2-го архимандрит Иоасаф со свитою своею выехал из Иркутска в следующий путь — в Америку.

10-го числа с. м. в 6 час. утра было землетрясение.

На 24-ое число пал снег, не причинивший вреда растениям.

С 6 числа июня начата постройка каменной ограды в Знаменском девичьем монастыре, в Иркутске.

Сего же июня в 23-й день состоялся Высочайший манифест о пятой народной ревизии.

По распоряжению начальства, для безопасности города, кожевенные, мыловаренные заводчики начали переносить свои заведения за речку Ушаковку — в предместье Знаменского монастыря.

12-го сего же июня была страшная гроза, дождь и град.

На 30 число июля из Иркутской градской думы неизвестным похитителем выкрадено денег 3.020 руб. 13 к., которые и не были отысканы.

Августа 4-го Высочайше конфирмован план города Иркутска, по которому главные улицы должны быть 12, а прочие 8 саж. ширины.

Октября 26 установилась санная дорога.

28-го сего же месяца в Богоявленском соборе на св. икону Богоматери Казанской, с подобающею честью, возложена серебряная под золотом и каменьями риза и венец, деланные в Москве. По этому случаю в 1-ое число ноября отправлялось церковное торжество.

Ноября 26-го получен в Иркутске указ об увольнении от службы правящего должность генерал-губернатора Пиля. По письмам это известие получено здесь 21 числа. Служение его продолжалось в Иркутске 5 лет 6 мес. и 26 дней.

Декабря 22, при —17° по Реом., р. Ангара покрылась льдом, причем последовало возвышение воды на $4^1/_2$ ар. против уровня.

В этом году закрыты в Иркутске школы монгольского и японского языков.

(Продолжение следует)

Составители В. В. Козлов, М. И. Тугова
Художественный редактор А. Г. Маклыгин
Технический редактор Л. А. Жернова
Корректор Г. В. Горшкова

РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

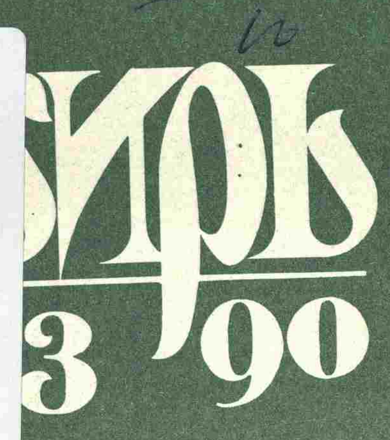
Адреса редакции:
664000, Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Союз писателей, телефон 24-56-76.
672000, Чита, ул. Богомягкова, 23. Союз писателей, телефон 3-45-78.

ИБ 1671
Сдано в набор 1.03.90.
Подписано к печати 30.05.90.
НЕ 01819. Формат 70×90 1/16.
Бумага типографская № 2.
Усл.-печ. л. 10,53.
Уч.-изд. л. 13,29.
Усл. кр.-отт. 11,59. Тираж 12 000 экз.
Заказ 1641. Изд. № 6386. Цена 70 к.

Восточно-Сибирское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 664000, Иркутск, ул. Марата, 31.
Типография издательства «Восточно-Сибирская правда». 664009, Иркутск, ул. Советская, 109.

7338Д
16

70 к.



В следующем номере читайте:

Гражданская война в описаниях белогвардейцев.

Допрос А. В. Колчака. Протоколы

Русские за рубежом. Интервью с А. М. Ермаковым

Индекс 73380